

ТОЙВО РЯННЕН



МОЙ ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Оглавление

| | |
|---|-----|
| Глава I - ИЗГНАНИЕ..... | 3 |
| Глава II - НАШ ХУТОР «ПЁННИЁ»..... | 9 |
| Глава III - ВЯТСКИЙ ПЕРЛОВЫЙ СУП..... | 18 |
| Глава IV - НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ..... | 22 |
| Глава V - ПО ЕНИСЕЮ НА АНГАРУ | 28 |
| Глава VI - ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО. ДОРОГА В ТАЙГУ | 34 |
| Глава VII - МОЯ ГИМНАЗИЯ | 40 |
| Глава VIII - СНОВА ВМЕСТЕ | 43 |
| Глава IX - САЛАЗКИ АНГЕЛА СМЕРТИ | 46 |
| Глава X - ВЫЖИТЬ! | 53 |
| Глава XI - В МОСКВУ ЗА ПЕСНЯМИ | 61 |
| Глава XII - БРОСОК НА ТРОПУ УДАЧИ | 68 |
| Глава XIII - СЛОВО О СЛОВАХ..... | 78 |
| Глава XIV - ДОМИКУ ПОДНОЖИЯ ГОРЕЛОЙ..... | 86 |
| Глава XV - ДОЛГОЕ РАССТАВАНИЕ | 95 |
| Глава XVI - ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ | 105 |
| Глава XVII - ЧТО ДЕЛАТЬ? | 119 |
| Примечание | 124 |

Глава I - ИЗГНАНИЕ

- Незванные гости.
- Свидание в хуторе бабы Анны.
- Причалил к ярмарке обоз.
- Слагаемые вагонного комфорта.
- Впервые на нарах.
- Ненормальная тишина.
- Большие никто не запел.
- Кто Яшку накормит на хуторе?
- Когда рождается душа.

В апреле у нас еще зима, но тяжелые сугробы уже напитаны влагой западного ветра с Финского залива и как бы излучают сырое дыхание весны. Тот первый запах весеннего ветра я не забыл и, наверное, не забуду никогда. Запах той весны 1931 года замешан был не только на ожидании радости, но и холоде необъяснимой тревоги.

...Несколько дней подряд мы ждали возвращения родителей из Питера, куда они уехали как-то неожиданно, оставив на наших мальчишеских плечах заботы о беспокойной артели животных маленького семейного хозяйства. Их надо было вовремя кормить-поить, выпускать на прогулку, под вечер загонять обратно в свои стойла и даже доить.

Брат Хейкки с этим делом справлялся достаточно умело. Когда он шел с голубым молочным ведром к крыльцу, его уважительно встречали не только кошки, но и пес Меркки приветствовал его веселым лаем.

В мои обязанности входило следить за обувью меньших братьев - Суло и Вьяне. Они свои облепленные снегом валенки бросали где попало, и мне приходилось их заставлять класть обувь к теплой печке.

Возвращение родителей из города с подарками нас обрадовало несказанно. Мне достался похожий на настоящий тяжелый пистолет. Я и днем не мог расстаться с ним, и на ночь положил его под подушку. Сначала отступили беспокойство и неясные тревоги, но сон у меня был все же прозрачен - я слышал, как сопит заложенным носом Суло, и даже видел в полумраке ночи, как оглядывал нас старший брат и поправил одеяло на ногах Вьяне. Он даже попытался вытащить из-под подушки мой пистолет, но я, оказывается, сжимал его так крепко, что Хейкки не смог разжать мои пальцы.

В эту полусонную игру стал вдруг вторгаться голос матери, он мне спросонья показался голосом чайки-лаклы, зовущим меня и братьев: - Вставайте, дети. Вставайте! Беда пришла, одевайтесь.

В комнате было довольно темно, хотя уже проступала через восточное окно розоватая полоска света со стороны моря. Обычно этот свет меня будил утратами, вселял уверенность и бодрость, каждый раз предвещая новый деятельный и счастливый мальчишеский день. Но сегодня он показался мне беспомощным и тусклым. В приоткрытую дверь я увидел желтый свет и услышал странно звучащий голос отца - никогда прежде его голос так не звучал. Отец, он пытался говорить спокойно, но я чувствовал, что не было совсем на душе у него никакого спокойствия:

- Покажите разрешение, кем оно подписано? Почему мы должны отдать паспорта? Вы не имеете права лишать нас гражданства.

... А мама металась из угла в угол, выбирала наши пальтишки, варежки, что-то еще, укладывала все в мешки, затем почему-то вытряхивала вещи на пол и снова укладывала. Мне никогда до этого не приходилось видеть мать такой резкой, бестолковой - она словно ослепла, действовала наугад.

- Дети, ваши ботинки в этом полосатом мешке. Эти свитера наденете сейчас. Умывайтесь, пейте кофе. Скорее, скорее!.. - повторяла мать, и улетучились куда-то остатки моего сна.

Я выскочил в желтый свет большой горницы, где как на киноэкране двигались люди и их тени. У окна - и откуда он взялся? - стоял серый солдат с винтовкой. Мой пистолет как-то самостоятельно прицелился ему в грудь, и тут же огромная тень метнулась в мою сторону. Пахнуло тошнотворным запахом махорки, и моя рука словно попала в барабан молотилки: пистолет тяжело стукнулся о пол. Качнулся свет нашей большой лампы, что-то липкое охватило мне горло и подбородок, и я уже издалека, как из другого мира, услышал до высоты взлетевший голос матери: - Отпусти, дурак, ребенка испугался! Собака - игрушки боишься!



Наша семья за год до высылки, 1930 г.

То липкое и противное, что давило мое горло, наконец, отпустило меня. Сквозь слезы, заставшие мне глаза, я не сразу узнал нашего деревенского гармониста Арво Урбанена. Обычно веселое и красивое лицо этого рослого парня было сейчас злым и бледным. Неужели он не узнал меня? Он бывал у нас иногда по воскресеньям, очень нежно играл на нашей гармошке печальные финские песни... В наших местах он появился как-то незаметно. Тогда я не знал, что капиталистические страны были охвачены кризисом и что в поисках работы в Советский Союз приехало много канадских финнов, а из соседней Финляндии перебежало в Союз много неустроенной молодежи - многие из них нашли затем «социалистический рай» в сталинских тюрьмах и трудовых лагерях Сибири и Урала.

Я разглядывал сидящих за нашим столом незнакомых людей. Одного из них, пожилого, я видел раньше, он с землемером приезжал к нам, пил у нас чай. Поздравив присутствующих с добрым утром, я стал искать свои валенки. Сидящие, сделав вид, что меня не заметили, неловко отводили глаза.

Из спальни вышли Суло и Вяйне: совсем еще малыши, они не понимали, что происходит, и тарашили глаза на незваных гостей, переминаясь на тонких голых ножках. Вяйне поднял уроненный мной пистолет и, поднимая его двумя руками, стал прицеливаться в сидящих за столом. Это развеселило пришельцев. А отец уже более спокойным голосом объяснял нам, что происходит.

- Сыны мои, помогите маме собрать одежду. Все теплые шубы нужно надеть на себя. Нас повезут на Север - строить город Хибиногорск. Есть такое решение Совета народных комиссаров. - Он горько усмехнулся. - Только вот почему-то забыли нам об этом сообщить заранее... Вот приехали добрые люди нас провожать - целый обоз пустых саней пригнали. Так что не волнуйтесь - мы все вместе. Брата Эйно прихватим в Ленинграде. Руки у нас крепкие, все мы молоды. Будем живы - построим город Хибиногорск. А там видно будет, что к чему.

- А Яшку запрежем? - вставил я свой вопрос, но отец не успел сам на него ответить.

- Был Яшка ваш, а теперь будет наш! - весело перебил гармонист, все засмеялись, но тут же, словно поперхнувшись, закашлялись и замолчали.

Мама тем временем принесла кусок сала величиной с Библию и серый круглый хлеб. Достала из стенного шкафа корзину со стаканами и кружками:

- Кофе на плите, пейте на здоровье.

Незваные гости кофе пить не стали, а вынули две прозрачные бутылки со спиртом.

- Можно, дорогие хуторяне, мы выпьем за ваше здоровье, - это говорил старший из неожиданных пришельцев. - Простите нас, так получается. - он сделал неопределенный жест. - Мы сами ничего не знали, как не знаем, что с нами будет завтра, простите.

И незваные гости со вкусом опрокинули в себя спирт. Мама кинула на стол большой хлебный нож и сказала:

- А я знаю, что с вами будет. Сожрете наше добро - и за нами подадитесь! В Канаде вас быстро раскусили, из Суоми вы тоже едва ноги унесли, вот приехали в Россию - и коммуны развалили. Что, думаете, Ленинград прокормите с наших каменистых лоскутов? Не надейтесь. Вилле, - обратилась она к отцу, - упакуй швейную машину, а я пойду скотину еще хоть раз напою. Господи, подохнет же она без меня.

С этими словами мама вышла из горницы. В ней повисло оглушительное молчание. Гармонист Арво попытался нас развеселить финской полькой, но старший из незваных прервал его, и уложил гармошку в футляр. И тут мы от него слышали. Оказалось, что и швейная машинка, и гармонь относятся к недвижимому имуществу и потому подлежат конфискации - изъятию, как наши дом, рига, сарай, сено, сельскохозяйственные машины и прочее, прочее. Отец, выслушав все это, заявил твердо, что спорить он не собирается, но не признает грабеж в такой степени - и уверенно упаковал машинку и гармонь, чтобы взять с собой. Сильным взмахом ножа он отсек упаковочную веревку, со вздохом расслабил руку и, подавая мне нож, приказал собрать в берестяной кузов рубанок, стамески, центровку, топор средний, ножовку с тремя лезвиями:

- Шевелись, я проверю!

Под тяжелыми, исподлобья, взглядами новых «хозяев»-самозванцев мы, меньшие мальчики, беспрепятственно выскакивали во двор по своим делам и поручениям отца. Но когда выходил Хейкки, за ним следовал и один из незваных, коренастый, длиннорукий, державшийся за кобуру пистолета.

Хейкки попросил отпустить его на часок - он на лыжах слетает в деревню Гавань проститься с Лизой, иначе нельзя - непорядочно. Кроме того, торопливо объяснял брат, он обещал именно сегодня, в воскресенье, навестить ее.

Мне стало горько от слов Хейкки: зачем он, крепкий мужик, показывает слезы этому таракану? Но сказать брату я ничего не смог: сдавило горло.

- Отольются вам свинцовыми и кровавыми слезами наши слезы, - ни на кого не глядя, причитала мать.

- Мы же все вместе, - успокаивал ее отец. - Не в первый раз начнем с кола и первого венца. Ребята на подходе, не пропадем.

В свое удовольствие позавтракав, наши незваные гости стали дружно нам помогать в сборах. Старший все поглядывал на часы и на отца, тыкал пальцем в циферблат - к обеду должны быть на станции Грузино.

Вначале нас рассадили отдельно по саням, потом все-таки маме разрешили взять себе под шубу Вайне. Мы с братиком Суло уселись спиной к лошади в передке саней среди мешков и узлов. А возчик - он же конвоир, стоя на коленях, правил, иногда захлестывая и нас расслабленными вожжами.

Мне не верилось, я не мог понять, осмыслить, что покидаю навсегда наш дом, березовые и ольховые рощи между полями, где мы, ребяташки, любили играть и где пасли коров и овец, и эту старую ель над колодцем, в могучих ветвях которой было у меня свое гнездо, ниже вороньего - о, не такое, конечно, уютное изнутри, как у вороны, но все же хорошее гнездо с надежным тайником! Никто, даже брат Эйно - а ему я доверял многое - не знал, что оставалось у меня в тайнике. И как же можно было от этого уехать? Навсегда? И кто мог понять все это?..

Наши незваные провожатые спешили в утренних сумерках проскочить село Верхне-Миккула, чтобы неожиданный этот отъезд не вызвал нежелательных слухов и расспросов. Но доярки возле длинного низкого коровника, завидев наш скрипучий спешащий обоз, припали друг к другу, затоптались в каком-то непонятном хороводе, словно не желая видеть печальной реальности, нагрянувшей в родные места. Но тут же они кинулись к нашим саням, что-то спрашивали, кричали.

- Но-о, веселей! - кричал на темную лошадку конвоир с первых саней, подгоняя вожжами умное животное, которое, по-моему, понимало, что вот недалеко, на краю соснового бора, все равно нужно будет обязательно остановиться: напротив нового дома с горбатой крышей и большими чистыми окнами. И не послушалось конвоира!..

Выбежали нам навстречу тетя Лиза и тетя Варбу. Старая баба Анна смотрела в окно, прильнув седыми космами к стеклу...

Не плакала только моя мама. Она пыталась увести в дом полураздетых трясущихся сестер, как-то утешая их.

Я передал тете Лизе холщовую сумку с учебниками. Ими пользовались мы совместно - Матти Хагана и Юсси Кессель. Книги я всегда брал на субботу и воскресенье домой, чтобы выучить уроки будущей недели...

Я просил тетю Лизу сходить в школу, отдать книги Алине Ивановне, ну и рассказать, что видела.

Наверное, надо было сказать всем что-то на прощание, но я тогда и думать не думал, что мы никогда уже больше не встретимся, что опустеет большой дом Кольенен - родовой дом моей мамы. Да и кто мог тогда предположить, что умрут от голода в доме инвалидов в дни фашистской оккупации где-то на Селигере Лиза и

Варбу. Что дядя Давид после трехлетней соловецкой каторги и архангельской ссылки тайными тропами проберется в Финляндию, а младший брат мамы - Юхани сгинет в дебрях дальневосточной тайги после первой же своей весточки со строительства туннеля в горах Дуссе-Алиня...

Первым вынужден был покинуть родные места дядя Семен. Еще в мятежном 1919 году он был схвачен нагрянувшим карательным отрядом «красных» и как заложник назначен к расстрелу ноябрьским утром, когда сгонят для устрашения жителей села, разграбленного и наполовину сожженного. Трудно представить, как Удалось бежать тогда Семену, но ходила в народе молва, что двух конвоиров с одной винтовкой он закрыл в холодном продуктивном чулане и налегке - в одном белье и носках - ушел в темную пургу. Пришлось утром командиру отряда и комиссару расстреливать собственных «добровольцев», потерявших революционную бдительность при виде доброго куска сала и мешка припасенных сухарей.

Семья Кольенен была работающей и считалась удачливой. Мужики возвращались домой из турецких, японских и германских войн с крестами и медалями, только дедушка Танели потерял руку где-то под Мукденом, но и одной левой лихо управлял тяжелой лодкой в крутых волнах Ладоги. Рыбачить он был мастер, вот только... Сиг и нерка, как известно, идут в сети как раз в самое ненастье, а в такие дни у деда Танели болела рука, которой не было. Я помню, как в такие дни он темной ладонью уцелевшей руки поддерживал и укачивал пустой рукав, шагая из угла в угол, но неизменно отправлялся на свою трудную мужскую работу, к своей лодке-добычнице.

...Старший конвоир требовал, чтобы мы уселись в сани, а мы все никак не могли расстаться. Тетя Лиза заплаканным лицом прижималась к меньшим братьям, которые, тихо скуля, просили, чтобы их подняли пописать. Теплыми струйками, как делают это звереныши, они отметили вековую сосну - последний рубеж родных мест перед дальней дорогой в неизвестное.

Хутор бабы Анны остался позади. Размеренный бег лошади, скрип саней, монотонная бессмысленная песня конвоира обволакивали меня неустойчивыми сновидениями. Я то и дело впадаю в мутную волну безразличия, но тут же тревожно просыпаюсь, кажется, за санями бежит мой добрый друг конь Яшка и что-то силится сказать мне. В страхе и ожидании открываю глаза - нет Яшки! Остро тут же вспоминаю все случившееся сегодня с нашим домом, со всеми нами и невольно представляю себе, как кто-то чужой будет пытаться оседлать Яшку, но он станет обязательно сопротивляться, пятиться, раздувая ноздри, пытаясь увернуться от воняющего махрой кулака властного негодяя. Прости, Яшка! И хорошо бы ты наподдал этому негодю копытом.

На развилке дороги в лесную деревню Катумаа к нам присоединился обоз, не совсем такой как наш: в нем были только старушка с молодой женщиной и двумя детьми и несколько конвойных, подвыпивших и веселых. После деревни Коркинен догнали еще такую же группу. Мои родители, оказалось, знали эту семью - и мама требовала ответа от плачущей старухи, как будто та должна была знать, за что Бог наказывает и эту семью лишением Родины.

На станции Грузино, когда мы туда добрались, творилось непонятное и странное, под полуденным апрельским солнцем вдоль бесконечного состава кирпично-коричневых коротких вагонов что-то куда-то двигалось и крутилось, словно в день весенней ярмарки, и все было ярко - цветные шали и шерстяные шапки, - только не было ощущения праздника. Не те были голоса, не тот шум. Где-то, захлебываясь, рыдала гармошка, а невысоко над суматошной людской массой сердито кричали вороны.

В эту живую беспокойную массу то и дело въезжали конные подводы, груженные мешками, старухами и детьми. К невеселой этой, словно невольничий рынок, ярмарке причалил и наш обоз.

После долгой дороги мы неловко выбирались из тяжелых одежд, чтобы пробиться к маме. А мама поскорей достала из-под шубы корзину с пирогами и молоком.

- Дети, ешьте! Привыкайте есть, когда дают и что дают. Видит Бог, мы с отцом двадцать лет стараемся наладить жизнь, а ничего не выходит - второй раз отнимают все... Ой, что это?!



Моя первая учительница Алина Вехвиляйнен, 1929 г.

В этот момент, чуть не подмяв нас под копыта, на наши сани налетела конная подвода, которую не смог удержать пьяный и весь не в себе парень. Подоспевший отец и какой-то военный вдвоем оттеснили коня и скрутили плачущего парня. Из его извинений поняли, что он ездил в гости в деревню Вуоли, а когда вернулся, родной дом оказался пустым. Куда-то увезли его родителей и младших братьев и сестер. Ему кто-то посоветовал поспешить на станцию Грузино - может, еще и найдет своих. Военный направил парня в голову состава, где уже началась посадка по вагонам. И он же передал отцу какую-то бумажку и показал на помеченный мелом вагон № 17:

- Садитесь сюда. Соберите семьи по этому списку. Запаситесь кипятком, туалетным ведром, я скоро... - и он, этот вежливый военный, так плохо говоривший по-фински, куда-то убежал.

Во время посадки в вагон к отцу подошли молодые люди, парень с девушкой. Объяснили, что они тоже в этом списке и должны ехать в этом вагоне и попросили закинуть в вагон их вещи - мешок с постелью и чемодан. Самим им на часок надо съездить в Ленинград, где одна остается их старая тетка, - надо предупредить ее, проститься...

Пахнувший каменным углем и карболкой вагон N17 был снабжен новыми двухъярусными нарами из сырых плах. Нашей семье был отведен участок нар на длину раскинутых отцовских рук, но, как выяснилось, нам придется потесниться. Нас, мальчиков, пересадили на верхние нары, где мы и устроились полулежа. Сидеть мог столбиком только маленький Вяйне.

Пусть простят мне мои земляки, кто дожил до этих воспоминаний, что я не помню их фамилий и имен, не помню, из каких они хуторов и деревень. Но помню, пока жив, их молчаливую покорность судьбе, терпеливость и организованность: ни проклятий, ни причитаний, ни слез отчаяния. Каждый старался помочь устроиться соседу, детям и старикам. Оказалось, у одной семьи есть фонарь «летучая мышь», остальные же слагаемые комфорта - чугунная печка-буржуйка, несколько мешков чурочек и мелкого угля, ведра для туалета и кипятка - были от советской власти...

В наступающих сумерках еще раз лязгнули дверные задвижки. Чуть приоткрылась дверь, и в синем проеме появились головы в островерхих шапках. Потом один человек в такой шапке поднялся на порожек двери, быстро оглядел вагон, сидящих на узлах и мешках сгорбленных людей и утвердительно сказал:

- Сюда больше нельзя, хватит. Сколько вас тут? По списку все?

- Сорок три человека, - ответил отец. - Восемь семей. Детей до двенадцати лет - одиннадцать человек. Две семьи - без продуктов.

С грохотом закрылась дверь, лязгнула защелка замка и наступила тишина. Она была долгой и тяжелой, как ожидание чего-то неизведанно страшного.

Эта грозная утомительная тишина поселилась в каждом из нас, подперла горьким комом горло, обволакивала призрачным желтоватым светом фонаря согбенные спины. Эта зыбкая тишина светилась усталыми глазами в провалах теней, дышала осторожным шепотом, тихими вопросами без ответов. И была она, эта ненормальная тишина, началом бесконечного терпения, первым шагом в непонятную действительность тех лет, где нам - одному за другим - предстояло проваливаться в небытие, оставляя друг друга в мерзлых ямах на необъятных окраинах Сибири...

- Возьми шубу, накрой Вяйне, шапку поправь, - шепнула мать и подала меховое одеяло, пахнувшее на меня запахом дома и ласковой безрогой коровы.

На миг моя душа отлетела к оставленному дому. И в этой накаленной горем тишине я услышал и увидел, как зовуще скулит пес Меркки, которого пришлось посадить на цепь, чтобы не сорвался за нами...

Увидел совершенно четко, что вхожу в полутьму конюшни, и мой конь Яшка радостным ржанием приветствует меня, просит, чтобы я побегал с ним по тальму сугробам.

Но всего этого нет, нет. А есть тишина, которую разрезал вдруг залиvistый гудок паровоза. Тишина дрогнула и развалилась в обрывках протяжного лязга гулких буферов и стука вагонных сцепов.

Нехотя застучали колеса. В остатках разлетевшейся тишины послышались всхлипы женщин, сдержанная ругань и вздохи мужчин - и вдруг словно ниоткуда возник звук нежного голоса, необычно высокого, чистого... Как мне представлялось, таким голосом должны петь ангелы.

Нестройные вначале женские голоса подхватили эту молитву отчаяния. Со второй строфы к женскому хору присоединились мужские голоса - и ни шарахание вагона на стрелках, ни поскрипывание вагонных стен и дрожь мутного света не могли помешать стройному полету общей песни, обращенной к Высшему Судие, финскому богу по имени Юмала, как иск в последнюю инстанцию за поправленную справедливость:

*О, Юмала, взоры твои обрати
На нас, потерявших дорогу!
Как долго страдать на тернистом пути
К твоим сияющим чертогам?*

Может быть, не совсем такие были слова, но за содержание ручаюсь. Помню душевное состояние свое - очищение через боль. Помню взоры наших спутников, обращенные в темное пространство к апрельским звездам, которые нам казались за плотным, обитым железом потолком вагона.

Впервые в жизни тогда я оказался на краю какой-то пустоты, от которой холодела душа. Теперь я точно знал, что у меня есть душа и она болит.

А песня лилась и лилась. Иногда ослабевала и снова ярко вспыхивала, поднимая меня к небесным золотым чертогам и опуская в потоке коричневого ветра снова на землю, где все так вероломно и обманчиво. А поезд куда-то летел сломя голову, вскрикивал тревожно в темноте от страха, как человек, и снова мчался, грохотал.

И мне представлялось: а если врежемся в такой же вот сумасшедший поезд, бегущий нам навстречу?..

Кончилась эта первая дистанция нашего бега на станции Мга. Чей-то голос на улице произнес это название и повторил еще раз - видно отвечал на вопрос. Кто-то стучал звонким молотком по колесам. Потом наш состав пятился назад, затем рывками дергали вперед и еще вперед, словно колеса не могли попасть в нужную колею.

Когда поезд, наконец, успокоился, мы ждали, что вот откроют дверь, и мы увидим станцию, но дверь не открылась. Состав нехотя потащился снова вперед, медленно входя в ритм своей обычной работы.

Песня больше не звучала. Всех охватила полудрема, а кто впал в тревожный сон. Оконные люки были закрыты, но все же в какие-то щели проступало утро. Мне грезился рассвет, луч солнца. И так захотелось посмотреть в окно, на новое небо и на другой лес - на все то, что раньше было за пределами моего привычного мира, очерченного зубчатой стеной леса за нашим хутором.

На станции Волхов открыли, наконец, дверь, и первым кого мы увидели, был веселый солдат с винтовкой, в длинной шубе. (Как часто во всех наших последующих скитаниях солдат с винтовкой был привычной деталью любого пейзажа).

- За кипятком двое! Быстро одеться! В колонну по двое!.. - скомандовал он.

Пока дверь была открыта и вниз прыгивала наша, с пустыми ведрами, делегация, отец не отходил от двери, выглядывая кого-то, высовывался за край двери, что-то спрашивал. Когда дверь закрыли, и мы понемногу вновь привыкали видеть в вагонном полумраке, отец рассказал, что на станции Мга наш поезд вырос в длину раза в два -наверное, около сорока теплушек. Так что мы не одни, здесь не только Карельский перешеек, но и Стрельна, и Дудергоф, и Келто, и Всевожск, говорил он. Как будто масштабность этой акции могла быть нам утешением! И еще рассказал отец, что мы стоим на пути, с которого поезда идут на Вологду.

Значит, везут нас не в Хибиногорск, не в Кольскую тундру? А если в Вологде не повернем на север на Архангельск, значит - поедem на Урал, а возможно и в Сибирь. Я не понял, почему упоминание Сибири обидело нашу унылую компанию.

- И ты, Вилле, нас тоже за воров считаешь?

- Вообще, ты же представитель Советской власти, объясни, что происходит?

- Почему и ты, Вилле, оказался здесь с семьей в нашем телятнике?

Отец от объяснений уклонился, но чтобы поддержать разговор, начал с вопроса соседу:

- А сколько у тебя, Михаил, детишек сейчас с собой? Я насчитал только пятерых, а помню, лет пять тому назад у тебя было уже пять девочек?

- Девочек у нас семь, но есть и парень! - немного развеселившись, Михаил из-под вороха шалей и пальтишек вытащил розового мальчугана, еще меньшего, чем наш Вайне.

Ребенок кулачками протирал глаза, кривил рот, собираясь заплакать, но видимо устыдился любопытных взглядов незнакомых людей, неизвестно зачем уставившихся на него и сквозь слезы улыбающихся, и притих. Мать ребенка, а может, бабушка, бережно взмахнув помятой шалью, снова закутала мальчика, но он тут же с любопытством вынул из темного кокона, его светлая головка, такая шелковистая, казалось, излучала свет.

Снова загромыхала дверь, и следом за парившими горячим паром ведрами забрались в вагон посланцы за кипятком. Вздволнованные, запыхавшиеся - казалось, их распирало от каких-то важных новостей.

Загудел паровоз. От затяжного рывка дрогнул состав и нехотя застучали колеса на стыках рельсов. Закачались, снова понеслись неизвестно куда забитые унынием и тоской вагоны.

Больше никто не запел. Молча доставали корзины и баулы с едой. Появился большой синий эмалированный чайник для общей заварки, который много раз потом на горьком нашем пути объединял всех за тихой беседой, пробуждал чувство предупредительности друг к другу - одинаково униженных, по-разному оскорбленных.

Есть какая-то вселенская мудрость в том законе Природы, что человек не знает, что с ним станет завтра. Не знали и мы, куда отгромыхает этот невольничий поезд: к какой-то счастливой станции - или в никуда?

Люди, в ожидании доброго конца старой сказки, веруя в чудо, не совершают неправильных поступков, которые при ином повороте судьбы могли бы оказаться порывами благородного подвига.

Из чьих-то тихих слов, обрывков фраз, произнесенных шепотом, стало известно в нашем вагоне, что ребята, у кого не отняли паспортов, собираются незаметно оставить поезд. Бежать домой? Арестуют, отправят догонять этот поезд. А могут просто дать тюремный срок - все просто.

Не знаю, что случилось бы, если бы мой старший брат Хейкки знал, что он никогда уже не увидит свою невесту, никогда не вернется домой в родные места, а будет двадцать пять лет подряд ударно трудиться на сибирских лесосеках, дробить кайлой и ломом скалы на строительстве таежных дорог к золотоносным карьерам ангарской тайги. Наверное, тогда в апрельской предрассветной мгле он мог уйти на лыжах по торосам ледяной пустыни Ладожского озера через финляндскую границу. Может быть, мог просто сбежать в деревню Гавань к невесте, проститься с ней, затем догнать нас на станции Грузино.

Но возможно, Хейкки выбрал самый правильный путь, сделал верный ход в своей жизни: не покинул мать и нас, меньших братьев.

Вяйне был еще совсем несмышлениш - три года. Вижу как сейчас: мы все жалеем его, он сидит на руках у Суло, завернутый в одеяло. А Суло сам еще маленький и ничего не понимает. Спрашивает меня: - Зачем мы здесь? Здесь холодно.

Вяйне притих и молча выполняет просьбы матери, а я с тревогой думаю о брате Эйно. Хотя он старше меня на четыре года и в свои четырнадцать лет уже крепкий парень, но как же это он останется один в большом городе, где так много чужих людей? Он часто приезжал из Питера за пирогами и маслом. Я видел, как мама давала ему бумажные деньги, которых у меня отродясь не бывало, да и зачем они мне были нужны тогда. В этом году Эйно заканчивает седьмой класс, а что с ним будет дальше? Без нас? Я боюсь об этом спросить отца - мне жалко его. Да и что он может ответить.

Мама распределяет нам завтраки: по куску хлеба с маслом и по чашке теплой воды, заправленной медом. Только поднес кусок ко рту - и рука опускается: как там на хуторе мой конь Яшка? Его надо поить чистой теплой водой, когда он набегаётся, догоняя пса Меркки, а потом - сухое сено. Такой завтрак у Яшки. Но кто теперь его накормит?

Наверное, человек становится взрослым, когда у него болит душа. Но почему же не болела душа у тех, кто нас выселял? Почему эти люди, такие беспечные и веселые, пили спирт и даже подсвистывали, совсем неуместно, мотиву финской польки сыгранной на моей, на нашей гармошке? Почему? Почему мне так хочется громко выстрелить из пробкового пугача любому из них прямо в нос. Не в глаз, а именно в нос.

Значит того, о чем мечталось, не увидеть и никогда не сбыться планам - не построим мы круговую велосипедную дорожку по границам нашей земли, не увидим новый дом в Верхне- Миккула?..

Наверное, неведение тоже имеет мудрый смысл. Мы не могли знать, что наш длинный поезд, напичканный разбитыми мечтами и проклятиями, только на восемнадцатые сутки дотащится до берегов Енисея. За эти дни у всех была возможность не раз перелистать свою жизнь - от туманных дней детства до ярких и жестоких событий вчерашнего дня, столь долгого.

В пути многие пожилые люди умерли - как будто нарочно - сидя тихо в углу нашего тряского вагона, и может быть, не от болезни, а от безысходности своей судьбы.

Мертвых оставляли на краю перрона с привязанной к руке запиской: имя, место рождения и даты жизни.

Глава II - НАШ ХУТОР «ПЁННИЁ»

- От зеленого до голубого мира.
- Визит белых халатов.
- Спасибо, Юмала, я вижу парус!
- Молнии бьют по высоким елям.
- Матти, которого мы потеряли.
- Как не стал я бандитом.
- Записка для тети Лизы.
- "Сейте лен на молочной базе!"
- Этапы трагедии.
- Конец дупла дятла.
- Дракон, объевшийся горем.

Наверное, на том долгом пути в жестоком поезде, лишившем нас детства, я заново прожил и перечувствовал всю замечательную и полную ежедневных открытий свою дозрослую жизнь в родном хуторе «Пённиё». Наш дом, я представлял, всегда стоял на этом месте - среди полей и небольших перелесков, недалеко от настоящего леса с седыми елями, замшелыми валунами и живыми медведями, с порхающими рябчиками. За валунной грядой, за островерхим краем леса сверкало море - Ладога.

Если подняться на старую ель за колодцем, то станут видны даже пароходы на самом горизонте - это от нас на восток.

На западе, где-то за лесами и болотами, большой город Пиетари. По-русски - Питер. Темными ночами в той стороне нащупывает облака белый луч «Кронштадтского фонаря». Там большое море, там Эстония и Финляндия.

На север - тоже граница, она совсем недалеко. Застава в устье реки Авлоги. Туда мы, мальчишки, ходим смотреть кино. Иногда для нас, местных жителей, показывают настоящие спектакли, где солдаты, переодетые в костюмы князей и графов, бьют плетками других солдат, одетых в костюмы русских крепостных крестьян. Я плакал над судьбой слуги Андрея, затравленного собаками, хотя он золотую табакерку не брал, не воровал, но правда открылась слишком поздно, чтобы Андрея успели спасти.

Тогда мне казалось, что я всю жизнь пас коров. Вернее, подменял в пастьбе взрослых, но пастушьи доспехи - бич, рожок и сумка с баклажкой для молока у меня были всегда наготове. Их передал мне брат Эйно. Он подключался в эту работу во время каникул, в самую жаркую пору лета. В солнечные тихие дни, когда злые пауты набрасывались на все живое, нам разрешали менять маршрут стада. После полуденной дойки мы загоняли не только коров, но и телят и овец в мелководные заливы моря, в молодые поросли камыша, на новый корм, где паутов и слепней было меньше.

Маршруты стада были определены людьми, но животные с видимым послушанием и удовольствием ими пользовались - не забирались в посевы и неогороженные поля репы и моркови. Но в иные периоды стадо выходило из повиновения, когда после теплых туманных ночей появлялись молодые грибы - подберезовики. Смешно было смотреть когда серьезные дойные коровы с расторопностью собаки обегали березняки, вынюхивали каждый куст, на бегу слизывая шершавым языком попавшийся гриб, и неслись дальше.

Потерять корову было невозможно, недопустимо. Потерять корову - это позор и убыток для пастуха. Пастух отвечал за конечный результат, как принято теперь говорить, - за молоко, свежее, хорошее. Если же корова целый день носилась за лакомыми грибами, а домой являлась с полным выменем только под утро - такое молоко годилось лишь для телят, ягнят и собак.

Отбившаяся от стада корова - это беда. Ведь ты не знаешь, разорвал ли медведь это беззащитное животное, или глупый бычок сам залетел в болотную трясину, где растет какая-то травка, любимая коровами, - лекарственная, видно, трава. Вот и попробуй отыщи коровушку, если она увлеклась этой травкой. Но я всегда надеялся на Меркки, который никогда не подводил.

Своей дружкой с собакой Меркки я очень дорожил. Этот умный пес



Наш дом - мы все в сборе, 1930 г.

знал, как выгнать недисциплинированных коров с турнепсового поля или из полосы клевера, а самое главное - он не боялся медведя, чувствовал зверя на большом расстоянии. Как-то я подшутил над ним: резко остановился и крикнул: - Меркки, карху! - и мой пес буквально взлетел вертикально метра на полтора над полем и успел

быстро осмотреться вокруг, где он, этот негодяй карху? Но на краю поля находилась только старая женщина, местная колдунья, собиравшая какие-то цветы и корни. Медведя не было, и Меркки посчитал себя обиженным,

обманутым. Он плелся за мной шагом, отводя глаза и даже не обращая внимания на следы барсука, которого он обычно частенько трепал за шиворот и выгонял с овсяного поля.

Я, конечно, понял, что обидел моего друга. Мне было стыдно: я любил Меркки.

Не все мне нравилось в сельском труде: я совсем не хотел собирать колоски ржи и ячменя после жатвы, не любил выкапывать картофель из грязной земли, неожиданно схваченной ледяной коркой раннего мороза. Но из уважения и жалости к матери я эти работы выполнял, хотя и тяготился в душе этими бесполезными, как мне казалось, занятиями.

Зато ненастными осенними днями, когда меня освобождали от ковбойской романтики, я много рисовал, вовлекая в этот интереснейший процесс меньших братьев и даже Хейкки, когда он был свободен. Любил я вырезать из мягкой древесины ольхи игрушки для Вяйне - коров и лошадей. Их я навыврезывал целое стадо. Мы каждую такую игрушку привязывали шнурком за шею и таскали от печки к обеденному столу это гремящее на полу стадо.

.Сухие пластины дерева гремят и звенят каждая по-своему. Мы улавливали в этих резких звуках какой-то интерес, возможно, ритмическую закономерность, которая существует во всем в природе. Резбе по дереву меня учил отец, он даже обещал купить в городе инструменты для этой работы, но что-то ему всегда мешало выполнить свое обещание. И я забросил это интересное ремесло в самом начале.

Не помню, когда сделал свой первый рисунок, но как по глупости испортил рисунок зайца я запомнил - это был настоящий конфуз.

Заяц, вернее его контур, был нарисован карандашом на серой мятой бумаге, а раскрасил я этого зайца имеющейся у меня акварельной краской - пальцем, кисточки у меня не было.

Мама огорченно смотрела, как заяц теряет свои очертания, как вместо него расплывается сырое и бесформенное красное пятно. Я был уверен, что когда рисунок высохнет - все станет на свои места, и убеждал в этом мать. Но я невольно обманул ее. После высыхания из-под сплошной красной кляксы высывались только кончики ушей и длинных задних лапок.

Было очень горько, и я долго сидел в углу, глядя невидящими от слез глазами в полумрак своей тени. Наверное, мне было тогда года четыре.

В конце недели после этого мама пожелала поехать в город вместе с отцом. А в воскресенье! Утром! На стуле рядом с моими штанами и свитером сверкала коробка акварельных красок и лежали две немислимые драгоценности - две кисточки с блестящими цоколями и лакированными черешками. И еще там была длинная тетрадь из белой и толстой гладкой бумаги.

Этого альбомчика мне хватило на несколько дней. В конце недели мне уже помогал Суло. И надо сказать, что его зайцы были психологически более разнообразны, чем мои, и я великодушно ему это прощал - уж так он старался, поджав ноги на полу, чуть ли не носом водил по рисунку.

Мама нас в открытую не хвалила, но отцу тетрадь показала, они довольно улыбались, и мне показалось, что мои родители красивые и не такие уж старые люди.

. На третий год нашей сибирской ссылки Бог прибрал Суло - было голодно и не было лекарств. Вяйне еще не подросток, и я рисовал один. Мама издала молча смотрела на мой труд и никогда не отрывала меня, даже если я целый день рисовал. Так было потом всегда - когда я работал, она ко мне не обращалась ни с какой просьбой, даже когда была уже безнадежно больна и слаба.

В детстве у меня были два удивительных мира - белый зимний и летний зеленый. Это в общем.

В белый мир входили еще и черные тетерева, зеленая ель за колодцем и синий лес в стороне заката. Это был молчаливый мир. Я боялся далеко уходить в глубину леса, до неузнаваемости заснеженного, подступающего с юга к самым нашим окнам. Хотя я знал, что медведь спит где-то в пещере, в хаосе больших камней и ветром поваленных старых елей, - все же страшила молчащая таинственность зимнего леса.

Восточная сторона белого мира не была молчаливой. Шумело и даже грохотало море, особенно ноябрьскими и декабрьскими днями и ночами. Нагромождениями льдин забивало заливы, на каменных рифах сердитый морской властелин городил ледяные дворцы, тут же разрушал их и снова строил со звоном и гамом на многих километрах до черной беспокойной воды почти у самого горизонта.

Море успокаивалось только к солнечному марту. За белыми торосами и снеговыми полями виднелись синие полосы открытой воды и черные размазанные точки тюленей.

Туда, в зелено-голубые и белые нагромождения я ходил вместе с Суло. Он был младше меня, однако его лыжи наступали на пятки моих лыж - я не сердился, но старался оторваться от него. На ровном месте он быстро меня догонял по моему следу, в ледяных же торосах я скоро уходил от него, хотя мои лыжи были тяжелее и длиннее. Если Суло начинал морщиться и кривить замерзшие губы - так он без слез плакал, тогда я шел ему навстречу и помогал развернуть лыжи. Обменивались, для лучшего сугрева пальцев, рукавичками и бежали домой, когда очень хотелось есть. Бежали и даже чувствовался запах и вкус капусты, тушеной с кусками баранины и луком!..

Вспоминается одна история, связанная с тушеной капустой. Мы поставили лыжи к стене дома, не почистив их от снега. Побросали валенки на печь, умылись теплой водой - и за стол. Очень хороший аппетит мы нагуляли, ведь в тот день чуть-чуть не дошли до открытой воды. По пути к берегу забирались на высокие, заметенные снегом нагромождения льда, скатывались вниз и снова забирались на самые высокие волны торосов, чтобы затем с замиранием сердца слететь с них вниз.

. Не успели мы справиться с капустой и мягким черным хлебом, как увидели людей в белых халатах за окном, выходящим в западный лес. Кто-то заглянул и в южное окно, закрыв собою на короткий миг свет солнца. Я резко повернулся в эту сторону, и тень отпрянула от окна за простенок. В этот момент распахнулась дверь, и целая толпа белых больших людей ввалилась вместе с холодом в нашу горницу.

Мама как раз выставляла из печки на ухвате большую сковороду и чуть не уронила ее от неожиданности, но удержала и плавным движением метнула на стол, не подложив запятнанную сажей овальную доску-подставку, как делала обычно.

Вышла неловкая немая сцена. Я не сразу заметил пистолет и две винтовки, наведенные неизвестно куда выше наших голов, но они тут же сникли, куда-то попрятались под халаты. И мы увидели сконфуженно улыбающиеся лица молодых солдат, краснофиолетовые от тяжелого бега и отхлынувшего напряжения.

Солдаты вышли из горницы, аккуратно закрыв за собой дверь. Оставшийся, по-видимому, командир, с длинной кобурой для тяжелого парабеллума, что-то говорил маме, подкрепляя слова выразительными жестами. Мама показывала наши сырые валенки, провела любопытного гостя по комнатам, даже подвела его заглянуть за печь и в холодный чулан. С печи подал голос маленький Вайне. Или он проспал неожиданный визит белых халатов, или притих от испуга - не знаю. Мама приказала нам одеться:

- Покажите этим скобарям, как надо ходить на лыжах!

И мы показали! Командир даже побегал на моих лыжах, потом что-то объяснял солдатам, показывая на просмоленную беговую поверхность лыжи, заполированную до блеска и писка. Их всех очень удивила гибкость и легкость наших лыж.

Я мог бы им рассказать, как делаются лыжи, но они ничего не понимали по-фински, а разве по-русски объяснишь такое сложное дело? У наших гостей были широкие тяжелые лыжи с плохими размокшими ремennыми креплениями и никак после пилены не зачищенной рабочей поверхностью.

Жаль, что мы не понимали друг друга. Можно бы пригласить их на воскресенье, развести во дворе костер, довести смолу до кипения и, добавив в нее немного бараньего нутряного сала, пропитать этим составом рабочую поверхность лыж; отполировать лыжи надо тоже над костром, широким куском пробки - поплавром от сивовой сети или старой кожаной рукавичкой. Только когда лыжи начинают от натирания пищать и весело вскрикивать, работу можно считать законченной. Затем нужно остудить лыжи до такой степени, чтобы палец не прилипал к полированной поверхности дерева. И вот тогда можно стать на лыжи, они понесут тебя словно на крыльях, и твои старания и тяжелый труд обратятся началом нескончаемой радости.

. Мама вечером, смеясь, рассказывала отцу и старшему брату, как следы наших лыж к морю и рядом два обратных следа пограничники приняли за след шпионской группы, которая вынырнула из синей полыньи Ладоги и, покатавшись на торосах, направилась есть тушеную капусту в нашу горницу.

Когда меня спрашивают, как я понимаю счастье, не слово, а всеохватное чувство, состояние души - я вспоминаю, даже отчетливо вижу зеленый и голубой с белыми цветами мир моего детства. Все было естественно и просто - я понимал этот мир. Он входил в мою душу, а может быть, наоборот - моя душа искала постоянной встречи для наполнения всем прекрасным, что предлагает мир.

Не все было гладко в этом зеленом мире. Даже спустя долгие десятилетия, находясь в невообразимой недоступной дали от тех дней, я порой чувствую, как ко мне снова подбирается липкий страх, пахнущий морскими водорослями. Страх за брата Суло, которого уже нет давно, страх за пастуха Матти - великого затейника необдуманных поступков, который погиб когда-то на моих глазах.

. Из выброшенного прибором деревянного хлама мы соорудили маленький плотик, и, отталкиваясь шестами, плавали от камышового залива до черных камней - рифа, за которым было открытое море. К вечеру поднялся сильный западный ветер и как щепку погнал наш плотик дальше каменного рифа. Шестами грести против ветра не хватало сил, а каменистое дно ушло куда-то вниз. Поднявшиеся волны гнали нас к горизонту, захлестывая холодной водой из донных глубин. Мы взлетали вверх, уцепившись за проволочные кольца, которыми был связан наш плот, потом падали вниз, и нас с головами накрывала волна.

Не просто оказалось усидеть на этой развалине. Но мы заплакали только тогда, когда не стало видно нашего берега - ни коров, ни синих елей на валунной гряде.

Солнце, прорвавшееся сквозь багровые рваные тучи, оказалось почему-то совсем не в той стороне, где надо, и - очень низко! Это Матти виноват: не надо было нам высовываться за камыши. А теперь он сам начинает дрожать и еще спрашивает, знаю ли я молитву моряка. Дурной парень, хотя ему четырнадцать лет. Мне ни его, ни себя не жалко. Жалко Суло, он тихонько плачет, обессилел совсем. Мама спохватится поздно

вечером - почему не слышно колокольчиков и ботал? Кинется к заливу, а там коровы шарятся в камышах, а нас нет. Она узнает, что наше стадо и стадо дедушки Федора смешались, и только тогда догадается, что снова этот баламут Матти подбил нас на постройку плота.

Конечно, мама верит, что с нами ничего худого не случится, но нам так плохо, так безнадежно, и выхода никакого я не вижу. Если ветер будет гнать наш утлый плотик на восток с такой же быстротой, нас только завтра может прибить за морем к олонецкому берегу. Если же ветер утихнет, мы будем болтаться среди моря. И если даже запоздалый буксир пойдет от Валаама в Неву и в Питер, он может нас не заметить. Нас вообще может затопить, и молитва моряка не поможет. В молитве между прочим сказано: «Спасибо, Юмала, отведи свои заботы, я вижу парус!»

Из-за черных волн долетает до нас прерывистый гул мотора, и это вливает в наши души горячую радость. Вот уже на гребень волны взлетает нос катера, и, не сбавляя скорости, кругом обходит нас - серый, длинный. Еще круг, и нас за шиворот выхватывают с плота на борт и на руках спускают в моторный отсек. Как тут тепло! Нас переодевают в большие бушлаты, но штанов не дают, а мокрую нашу одежду забирает парень в морской куртке.

Пока мы пьем горячий и очень сладкий белый кофе, который нам налили из длинной сверкающей посуды, старый матрос с красной шеей и прозрачными глазами задает нам всякие вопросы.

Вскоре нам вернули нашу одежду, теплую и отглаженную. Мы не спрашивали, куда нас везут, нам очень захотелось спать, море совсем укачало. Прозвучали два выстрела, и наверху в открытом люке в темном небе сверкнули, падая, белые ракеты. Потом тише стал звучать двигатель, и мы слышали рокот другого более сильного мотора и громкие непонятные слова, усиленные металлической трубой. Матрос в белой куртке вручил нам по синему бумажному мешочку. Затем нас пересадили в качающуюся лодку, а из лодки в другой катер, который уже в светлых сумерках ночи доставил наш «экипаж» на заставу.

Прожектор с катера высветил причал и длинный барак с высоким балконом и красным флагом. Дальше все было уже не интересно. В бараке мешочки наши открыли. В них оказались галеты - сухое печенье и по горсти блестящих шариков - конфеты. И вдруг в противно пахнущий куревом зал, где мы расположились, вошли улыбающийся отец и мама, утирающая слезы!

Матти, на всякий случай, встал между мной и отцом, но отец обнял нас обоих, а потом взял Суло на руки, и мы вышли в прохладные сумерки синей ночи.

Через несколько дней из сельсовета принесли бумагу, согласно которой отец должен был заплатить штраф: десять рублей. Тогда это была большая сумма для крестьянской семьи, но меня родители не упрекали, старались как-то отвлечь, занять работой на ткацком станке. По каким-то признакам со дня рождения я не считался долгожителем, по мнению какого-то знахаря или прорицателя должен был погибнуть в море или в другом несчастном случае, но связанном с водой.

Полагаю теперь, что маму тревожили неотвязные печальные думы не только обо мне. Она постоянно была занята хозяйством - скотом и урожаем, она даже, почти засыпая вечером, продолжала вязать нам чулки или фуфайки с закрытыми глазами. Но все-таки она учила нас читать и петь. Неудачное плавание забылось, и мне снова доверили пастушью сумку и рожок.

То лето было грозovým. Еще в дни февральских метелей бабушка Варбу говорила, что лето будет с громами и градами. Почти каждый день над морем вызревала высокая с розовой размытой верхушкой грозóвая туча. После полудня она низвергала ливень и стремительные молнии.



Семья моего деда Ф. Ф. Раннеля: бабушка Варвара, тети - Мария, Ева и Лиза, дяди - Иван, Давид, Михаил, Егор и пастух Матти, 1930 г.

Нас, мальчишек, предупреждали, что молния бьет в самые высокие ели - так что лучше сидеть на открытом месте, перетерпеть ливень, или с подветренной стороны спрятаться за высокий камень, как обычно делают овцы. На этот раз гроза застала нас на каменном рифе, где мы загорали на жарком солнце в абсолютном безветрии. Неожиданно гром грянул прямо над нами, мы сразу скатились в воду и кинулись плыть к берегу.

Я поддерживал брата Суло, отталкиваясь от песчаного дна залива, но все же волны захлестывали нас с головой так часто, что дышать было нечем и сильно резало в груди. Потом что-то случилось, что - до сих пор понять не могу: накрывшая нас волна резко ударила в уши, казалось, кто-то сильный проткнул мою голову острым шомполом, как раз от одного уха до другого. Я выпустил Суло, но в тот же миг поднял его скрюченного от боли - он зажимал ладошками уши и хватал воздух и воду открытым ртом.

Матти все время плыл впереди нас, но тут я его как-то потерял из виду. Казалось, вот-вот он вынырнет из воды, замахнет руками и взлетит на макушку волны, оглянется и улыбнется. Но Матти не появился.

Мы с Суло едва добрались до берега. Последние метры буквально ползли, расшибая колени. Потом мы долго кричали, звали Матти, но ветер и волны гасили наши слабые надорванные страхом голоса.

- Беги, Суло, к дедушке Федору, скажи - Матти утонул! - и уже вдогонку мелькнувшим розовым пяткам: - Тетя Ева пусть идет, мне не управиться с их стадом.

Коровы действительно сбились в дружную кучу и стояли в камышах - видно, тоже были напуганы разрядами грозы. Вооружившись шестом, обкатанным прибором, я побрел в глубину залива, осторожно нащупывая дно, чтобы не наступить на Матти. Я искал его - и очень боялся, что найду здесь, в воде. Но не ждать же до утреннего восточного ветра, пока волна не выкатит его на мель. Так жаль Матти - неужели действительно утонул?!

Родителей своих он не помнил, но слышал, что их убили в девятнадцатом году. Из детского приюта Матти взяли давно. Он жил в разных семьях: его пытались занять самым скучным для мальчика делом - сторожить маленьких детей, кормить их и высаживать вовремя на горшок. Он перебивал на нескольких хуторах, пока не оказался в доме деда Федора.

Тети мои, Ева и Лиза, пытались учить мальчика молитвам, чтобы как-то привить ему смиренность. Дядя Егор учил его играть на мандолине, но Матти увлекался больше силовыми играми и в свою очередь учил меня кататься на пустой бочке, стрелять из лука и метать ножи. Озорного этого парня я любил, хотя он иногда в проделках не чувствовал меры.

Мне и мальчику Антти с лесного хутора он поручил украсть ременные вожжи из желтого мягкого ремня у кузнеца Кессели. Получился бы из этих вожжей отменный бич, который хлопал бы как выстрел из ружья. Им

можно было бы спокойно отогнать медведя, да и коровы бы с большим уважением относились к моим командам, подкрепленным подобным бичом.

Задумано - сделано. Наше преступление открылось сразу, так оно было страшно и необычно для наших мест. Маленький Антти при виде взволнованной матери с ремешком в руках сразу показал на меня.

Матти спрятался в сарае - пришлось мне одному стоять перед судом отца и плачущих от позора теток.

Я выставил руки на край стола. От первого удара гибким ивовым хлыстом мои руки немного дрогнули, но я удержал их на месте, стиснув зубы. Второго удара я уже не боялся, но вспышка боли закружила голову. Все же я удержался в «стойке смирно». После третьего удара, когда на пальцах выступила кровь, тетки навалились отцу на руки, причитая в плаче и уговаривая:

- Отведи зверя от дитя божьего! Жестокость породит злобу и месть, бойся Бога, брат! Я не убирал руки с края стола и ясно видел, как синие следы ударов превращаются в красные. Я смотрел на свои руки, но краем глаза увидел замешательство на лице отца и затуманенные слезами глаза.

Отрезвила всех хладнокровная до жестокости истерика матери: она положила на стол молоток, а рядом поставила банку с гвоздями и спокойно сказала отцу:

- Ты, может, прибьешь его к стене сарая рядом с вялеными щуками. Пусть искупает наши грехи и жестокость, он же сын божий!

Тетушка метнулась к маме:

- Бог все видит, Евдокия, успокойся.

Дальше уже я не выдержал. Я вышел из дому, меня тошнило. Меркки кинулся ко мне с виноватым лаем. Я погладил его и прижал к своей мокрой щеке его добрую морду. Затем я поднялся на чердак и лег на голом топчане, прижавшись к покатой теплой крыше. Там пролежал остаток дня и всю ночь. С рассветом мне стало легче. Впрочем, я на отца не сердился: он был прав. Но мне было больно и стыдно за его приступ малодушия.

Утром Матти принес мне теплую картофельную лепешку под толстым слоем масла. Эх, зря тогда я ударил его.

И теперь, когда Матти не стало, я готов был выть от бессилия среди мутных волн залива. За сеткой дождя увидел бегущих к заливу деда Федора без картуза, испуганного дядю Мишу и теток - они несли на перекладине невод.

Матти выловили первым заводом невода. Был он еще теплый, но уже не живой. Выше лба в волосах, почти у темени, была дырка от удара молнии, с синими запекшимися краями.

Выход этой случайной смерти мы нашли в потрескавшейся пятке Матти. Могла же она, смертная молния эта, ударить мимо, просто в воду!.. Выходит, есть у каждого своя судьба? Вот тетки говорят, что перед Богом все равны - значит, он мог бы и меня прибрать, если бы захотел?

Стоя над Матти, все плакали, дед даже сгорбил, вроде ниже стал и коренастей. Только я не плакал. Видно, исчерпал свои слезы, когда ногами обшаривал залив, боясь наступить на лицо Матти.

Зато горе потом из меня выходило медленно и трудно. Я ходил как пришибленный, боялся случайной смерти, несмотря на убежденность бабушки Варвары, что ангел-хранитель вечно будет со мной.

Маршруты стада перевели на ближние перелески, чтобы нас могли в любой момент навестить мама с маленьким братиком на руках, который еще боялся высокой травы и кузнечиков.

В наши однообразные заботы пришло неожиданное обновление: с юга со стороны Гавани или Шлиссельбурга над лесами и над морем в сторону Олонца в небе плыла большая серебряная рыба с красными большими буквами на боку - "НОРГЕ". Под брюхом у этого чуда-юда был прикреплен плоский дом, тоже серебряный и с длинным рядом черных окошек.

Казалось, что из окошек нам в ответ машут, приветствуя, незнакомые люди. Летят без крыльев и радуются. Кто они, летящие в синем воздушном океане?

Серебряный дирижабль быстро растаял, оставив в небе слабо доносящийся рокот моторов.

С открытыми ртами мы смотрели на маму, но объяснение получили не такое, какого бы желали:

- Приедет отец, привезет газеты, и узнаем все.

Так по газетным сообщениям, по разговорам заходящих на хутор людей, по тем слухам, которыми полнится земля, мы узнавали, что за нашим окоемом ворочается, кружится и летает незнакомый нам мир, наполненный как враждой, так и добром. Летят в ледяные пустыни дирижабли, летят ученые спасать других ученых. Мчатся поезда в далекую Маньчжурию на войну с Китаем. С запада грозит нам кулаком похожий на бомбу президент Пуанкаре, злобные статьи против развивающегося в первом пролетарском государстве социализма печатает где-то Троцкий. Но главные, самые страшные слухи ходили по нашим одиноким бедняцким избам - Финляндия собирается напасть на нас. Прошлой зимой отец и Хейкки были на общественных работах - возили песок, цемент, железо на строительство долговременных огневых точек.

Мамин брат дядя Давид давно и долго работал непосредственно на укладке стен этой крепости. Тогда же он был арестован и сидел в лагере на Соловецких островах, да еще получил на три года ссылку куда-то в лесную деревню Архангельской области. О нем у нас дома говорили шепотом. Он вошел как легенда в мои воспоминания о моем зеленом мире детства.

Уходя в поле или на другие утренние дела, мама нас не будила - нас будило солнце. или голод. Завтракали мы сами - теплое молоко и овсяные пироги были всегда под рукой. Появлялась мама и заставляла нас умываться заново, проверяла наши уши, доставала чистые рубашки. Для нас это означало: возвращается отец, а может, пойдем в церковь.

В тот день мама причесала маленького Вяйне и пригладила его волосы так красиво - не иначе отец привезет из города фотографа.

- Возьмите гармонь, - сказала мама, заглядывая в зеркало и убирая кончиком платка набежавшую слезу.

И мы направились на край леса, где обычно собирали чернику у больших стрелчатых кустов можжевельника.

Суло сыграл по просьбе матери песню про бедного зайца, а потом танец «яблочко», который мы с Вяйне пытались танцевать в неуклюжей паре, но он наступал мне на ноги или подставлял свои желтые туфельки мне под шаг. Когда я посадил его себе на плечи и уже по-настоящему в хорошем темпе прошел по кругу, мама улыбкой одобрила мое старание и как бы невзначай глянула в сторону густых елей, что темнели на краю леса. Мама просила отдать ей «тяжелого парня», а мне подала в руку свернутую бумажку:

- Не беги, а просто иди в деревню, отдай это тете Лизе. Никуда, смотри, не заходи, иди прямо к ней. Если нет дома - найди!

И я побежал, вначале по лесной дороге, потом свернул на болото - на тропу, которая сокращала половину пути.

Сжимая в ладони записку, я вошел в дом Кольененов, Лиза оказалась дома и очень удивилась, что я в будничные дни был одет в голубые штаны, сшитые из маминой юбки-джерси, и в новой рубашке. Посмотреть на меня вышли и бабушка Анна, и тетя Ваппу. Я подал записку Лизе. Она глянула на бумажку и заторопилась:

- Дайте мальчику поесть, пусть отдохнет здесь, - и отвела меня в угол за обеденный стол.

Я пил кофе, ел малосоленого сига с картофельной шаньгой. Подошла тетя Ваппу и с дрожью в голосе просила рассказать, что у нас произошло и куда побежала Лиза. Я рассказал все, как было. Баба Анна сказала:

- Не криви рот, Ваппу, достань корзину с бельем, посмотри в чулане давидкины крепкие ботинки, может ему пригодятся. А Тойво пусть идет домой, пусть ни к кому не заходит, особенно к Хаагана.

И я пошел прямо домой, через поля и болота - уж очень меня тревожили неизвестность и мамин спектакль с танцами. К той поляне я подошел со стороны леса, где под старой елью была большая охапка сухого сена. Ни окурка, ни спички я не заметил, а сено было сильно примято. Я вытащил сено и собрал его в небольшую копну. Пусть пограничники гадают, зачем здесь сено, и пусть ищут окурки финской сигареты «Сайма». В доме меньшие братья кинулись ко мне:

- Где ты был? Что принес? Что в кармане? Мама спросила:

- Не встретил ли тетю Лизу на болотной тропе?

Я ответил, что не встретил, что шел правее, сухим болотом и что, кстати, там много молодой клюквы. Очень меня разбирало любопытство, но ничего спрашивать я не стал. Не доверяют - не надо. Сами потом расскажут.

Я стал чаще отлучаться к дальним санным сараям. После возвращения стада стал уходить в лес, где сидел подолгу и прислушивался. Нет, никто не пробирался к нашей поляне. Барсуки иногда натывались на меня и тут же убегали, оставляя дурной запах норы.

Вскоре пришло письмо из Хельсинки от дяди Семена. В письме фотография - группа печальных людей у гроба, где лежит пожилой человек со сложенными накрест костлявыми руками на черном пиджаке.

- Смотри внимательно, - сказала мама, - верхний ряд смотри. Узнал?

- Да! - я узнал стоящего в заднем ряду дядю Давида, такого же худого и высокого, как и до ареста.

Теперь я понял все. Я вспомнил, что еще в апреле тетя Лиза и Хейкки ездили к Давиду, отвозили сало и сухари в его голодную деревню, где ему полагалось прожить-протомиться еще долгих три года. Я уткнулся в плечо матери.

- Ты относил записку Давида тете Лизе!

Откуда мне было это знать? Я знал, что нельзя читать чужие записки - это грех! Не знал, но догадывался, что тетя Лиза прибегала проститься с Давидом. Они уже больше никогда не встретятся. Крестьянский парень, Давид лесами пробрался в соседнюю страну, не заходя к любимой сестре, обходя за версту родную деревню, недостроенный дом, не простясь с бабой Анной, поднимавшей его после тифа, принесенного с гражданской.

С каждым днем все тревожнее что-то непонятное входило в нашу жизнь - то обыски (искали оружие), то аресты отца. Сам отец относился с юмором к этим неприятностям. Как-то в беседе с городскими охотниками он говорил:

- При царе Николае сидел в 1914 году за опоздание воинского эшелона на пять минут на Финляндском вокзале Питера: уволили, сдали в армию. Зеленые чуть не расстреляли, как заложника - наши деревенские за масло выкупили. Прокатилась продразверстка, нет хлеба - к стенке! Саботажник!

По рассказам отца, услышанным тогда, я понял причину его основного конфликта с реформами тех лет, с руководством района, с партийным активом.

Исторически сложилось так, что наши пригородные районы, в которых в основном проживало финноязычное население, оказались основной продовольственной базой многомиллионного города. Каждый крестьянин-хуторянин знал, чего от него ждет городской рынок; кооператоры-заготовители, государственные маслomoлочные заводы давали хуторянам и колхозам конкретные задания на поставку продуктов.

И вдруг «сверху» был спущен план на область, а областью на наш Куйвазовский район план на производство льна! Если даже все пригородные районы засеять льном, а все население согнать на прополку льна, все равно этот план был невыполним.

Отец выступил на каком-то активе против этого плана, назвал его ошибочным, а авторов обозвал дураками. Выступил он также против общественного фонда в помощь бедным крестьянам и нищим колхозам. По его мнению, к общественным деньгам прилипли воры и растратчики. Он предлагал, чтобы к нему под шефство дали три бедняцких хозяйства, обещал их обустроить, накормить и научить работать.

И это все ему зачлось как саботаж и оскорбление общественности. Мне запомнились многие встречи отца с городскими охотниками. Говорили не об охоте - загонах и облавах, а все о том же - как обустроить жизнь, что делать? Кто виноват? Наши извечные российские вопросы и проблемы.

- За сколько лет вам, Василий Федорович, удалось поднять это хозяйство? Обработать землю, поднять дом, хозяйственные постройки, вырастить скот, наладить производство и сбыт продукции? - спросил гость, наливая коньяк отцу в его же, охотника, серебряно-золотую рюмочку.

- За десять лет. Работали мы в основном с женой, вот подрос сын, с парой коней хорошо справляется. Если не будут мешать, за пять лет новый участок осилим, поставим новый дом. Видите, какие мужики растут?

Эти встречи «охотников на привале» была, наверное, в 1929 году в августе, тетерев был уже на крыле, и меня готовили в школу.

Осуждение отца как врага народа и наша внезапная высылка теперь уже не кажутся такими случайными.

Выселение российских финнов из Ленинградской области проводилось в несколько этапов. Первые наглухо закрытые поезда ушли на Кольский полуостров в 1930 году. Наш «золотой эшелон» ушел в Сибирь в 1931 году. В 1933 и 1934 ушли поезда в Казахстан и в Среднюю Азию.

В 1936 году были закрыты финские школы, редакции газет, целиком переселены колхозы в Новгородскую, Вологодскую и другие российские области. Не только приграничные с Финляндией селения были ликвидированы начисто, но и южнее Ленинграда так называемые Ингерманландские районы были выселены. Не буду приводить здесь тексты Указов и Приказов, их даты и номера, они рассекречены и ждут издания.

Но те «товарищи», которые надеялись получить сладкую жизнь на наших еще теплых разоренных гнездах, вскоре сами были изгнаны оттуда. Кто-то из них стал просто «зеком» за кражу. Кто-то был также записан во «враги народа» и сгинул в Карлагах, Дальлагах, Енлагах и прочих адресах ГУЛАГа.

Не знаю, откуда название нашего хутора «Пённый». Мне кажется, мои древние предки так называли гнездо-дупло лесного дятла, черного, с красным хохолком на голове. Но знаю, что после нашего отъезда там постоянно никто не жил. На лето на наши поля сгоняли колхозный скот. Главной дояркой была назначена Аня Сиетонен, наша бывшая помощница матери по дому. Кто-то потом ее застрелил.

И кто-то невидимый насылал порчу на скот, страх на пастухов. Вовсю разгулялись медведи - не боялись среди белого дня нападать на отбившихся телят. Засорились дренажные канавы среди полей, мелкий березняк и тальники пошли в наступление на бывшие пашни. В низинах пошла по травам болотная ржавь. Размыло дороги.

Все же нас не лишили права на переписку. Нас как-то извещали о всех событиях жестокой драмы, разыгравшейся в родных местах; по сути гражданская война там и не кончалась. Она проходила в постоянном противостоянии «великих идей» и вековой мужицкой практики, в вечно живом антагонизме трудяги и лентяя.

Революция вызвала к действию не только демонические силы стадности масс, но и уничтожила личность индивидуума! Кто был ничем, мог без труда - силой локтей и приклада - стать действительно всем! Процесс распада легче всего просматривается в малочисленном народе. За три-четыре года пересажали и расстреляли нашу интеллигенцию - писателей и учителей, духовенство. Разрушению подверглись не только

церкви, но и кладбища, сожжены были учебники и рассеяны библиотеки. Дома культуры если и не уничтожали, то превращали в склады и другие хозяйственные помещения.

Малым утешением для российских финнов были страдания и потери других народов. Всех нас уравнило общее несчастье. В скоплении низких бараков на высоком берегу Енисея, во временном накопителе на красноярской переселенке одновременно оказались не только мы - ленинградские финны, но и украинцы с Полтавщины, немцы из-под Житомира, буряты и маньчжуры из Читы и Нерчинска, казанские татары, русские из-под Воронежа и Смоленска.

/ как-то не проследил по малости лет, куда растолкали всю эту людскую массу. Все тогда терялось в каком-то тумане неясности. Многому объяснение пришло спустя долгие годы.

А пока наш поезд, как одноглазый длинный дракон, объевшийся людским горем, с лязгом и грохотом двигался на восток, на восток, на восток.

Глава III - ВЯТСКИЙ ПЕРЛОВЫЙ СУП

- Если удел человека - смирение, то откуда же взялся Спартак?
- Песня под черным парусом.
- Учим невольничьи слова: "шмон" и "сверка списков".
- Почему корова осталась дома?
- Свернулась наганом всесильная власть.
- Первыш в жизни пайковыш обед.
- Бельге и черныге клавиши души.
- Вытазка Эйно на родной хутор.
- Ведро картошки за альбом картин.
- Целебная сила материнской молитвыг.

В Вологде наш поезд не повернул на Архангельск. Значит - Сибирь. Бежал бродяга с Сахалина сибирской дальней стороной. Где золото роют в горах. В дебрях не тронул прожорливый зверь. На тихом берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой. По строкам этих песен я и представлял Сибирь.

Эти песни, как и многие русские народные песни, давным-давно переведены на финский язык. Сборник революционных песен, купленный у бродячего книготорговца, соседствовал на полке с аккуратным томиком финских церковных песен. Революционные песни мы пытались петь в школе большим хором.

Здесь в качающемся тесном мирке вагона никто не смел, не догадался поднять и окрылить могучие, как выдох народа, песни о судьбе, грезах и свободе.

Религиозные песни женщины заводили одну за другой изо дня в день, но эти песни наводили на меня какую-то унижающую боль. Неужели я такая малая песчинка, что только по воле Всевышнего могу катиться в вагоне с закрытыми окошками навстречу смерти, избавляющей нас от земных страданий, чтобы обрести вечную жизнь и радость в мире ином?.. Нет, это смирение не по мне, не по душе, неправильно это! Так не должно быть.

А если все-таки удел человека - это смирение и страдание, шаг к смерти через этот неведомый порог в сияющую радость - бессмертие? Что же тогда исторический опыт рабов древнего Рима?

В прошлую зиму учительница Алина Ивановна читала после уроков книгу о Спартаке - это была самая лучшая из книг, и мы ждали послеурочного часа, чтобы сочувствовать до слез обреченным, но смелым людям.

Что же делать сейчас? Бежать подальше от этого смрадного вагона, хоть на Везувий. Как бежать? Оставить маму и отца, маленького братика Вяйне и моего верного Суло? Хейкки обойдется без меня, а остальные - нет! Нельзя бежать, надо смотреть, что будет дальше.

Суло сидит, обняв гармонь. Глаза его закрыты, но губы шевелятся, словно он читает про себя, а может повторяет молитву, которую мать с ласковой настойчивостью внедряет в наши сердца. Суло заметил, что я изучаю его немой разговор с кем-то мне невидимым, медленно растянул меха гармошки, и из легкого дуновения воздуха возникла мелодия, очень знакомая.

Не знаю, откуда и как в наши края залетела песня матроса Микко Андерсона. Она как-то сама собой запомнилась. Шутливый сочинитель текста подогнал эту песню под мотив известного в Скандинавии церковного песнопения. Гармонь уже вывела вступление, и сейчас ее повтор должен пойти с текстом. Надо запеть четко и громко, чтобы слова Микко направить выше церковного текста, который знают все. И с резким первым аккордом мы запели громко, неважно, что пискляво:

От отчего порога

*Дальняя дорога
Гонит нас в чужие страны!
Яркий свет лазури,
Яростные бури
Ждут на гребне океана!
Не грусти, не плачь, подруга моя!
Только объеду суши и моря,
Если Бог позволит,
Дьявол не засолит, Привезу и сердце, и
мозоли!*

Песню нашу подхватили робко, как бы нехотя, но припев уже повторили дружным в основном мужским хором. Только мама наша, закрыв лицо руками, тихо покачивалась, освобождаясь от облепившей ее неловкости.

*Завтра за ненастьем
Засверкает счастье
Кораблю и нам, корсарам, тоже!
Ну, а коль потонем,
Вас на небе вспомним,
Если Бог забраться нам поможет!
Не грусти, не плачь, девчонка моя,
Мы только залетим в богатые края -
Наполним трюмы ромом
И направим к дому
Черный парус с молнией и громом!*

Эта песня гуляла по белому свету в разных вариантах, как и другие народные баллады и песни финских бродяг. Стоило нам с братом немного упустить свой вариант, как мужским хором завладел новый текст, в котором уже фигурировали знаменитые ленинградские тюрьмы «Кресты» и «Озерки» и бастионы Кронштадта, и подвалы Соловецких штрафных казематов.

Не совсем уместная матросская песня в спрессованном горем вагоне как-то незаметно перешла в жалобу на судьбу, а потом в гневный протест с упреком к Богу.

Ах, если бы Бог действительно посмотрел сверху на наш невольничий поезд, он простил бы нас как невинных случайных участников суеты сует, безнравственных процессов и гримас все той же гражданской войны.

Поезд пошатывало на стрелках, подкидывало на стыках, подхлестывало тенями столбов и ферм по узким полосам света в закрытых окнах. Свистки и гудки паровозов как бы готовили встречу с большой станцией. Крики металлических громкоговорителей, непонятные сердитые команды, лай собак - все шло куда-то мимо нас, назад, и к нам не имело никакого отношения.

Поезд дернулся и остановился, залязгали запоры вагонных дверей. Загрохотала и наша дверь в заржавленных пазах, и уличный свет вместе с холодом ворвались в вагон, загоня темноту под нары, за мешки и выюки.

- Пять человек на выход, четыре ведра, мешок под хлеб - быстро!

Дверь вагона снова закрылась, стало темно и тихо. Но тут же загремел поезд на соседних рельсах, дудел металлический рожок. Вдали что-то громыhalo, стучала-спешила жизнь, бежала мимо нас в двух противоположных направлениях. И снова с грохотом двери ворвался к нам холодный свет. Появились ведра над порогом вагона, с паром и запахом супа, за ведрами - мешок с хлебом и розовые лица наших снабженцев. Один из парней быстро перебрался через дрова и мешки к отцу.

- Вилле, что делать? Ребята из первых вагонов ушли. Может, конвой и не спохватится. Или будет подробная проверка по спискам?

Отец отвечал растерянно:

- Шмон будет, и сверка списков, и допросы свидетелей. Поступайте как можете, как хотите, если паспорт при себе. Имейте в виду, что вы плохо говорите по-русски. Это главная ваша вина. Затаскают по этапам и тюрьмам. лучше потерпите .

- Эх, - глухо простонал парень, - и ты, дядя Вилле, проповедуешь терпение? Ты же ничего не боялся.

- Себя надо бояться, дурень, своих необдуманных поступков. Вспомни отца: чем его горячность кончилась? Потерпи, душа отойдет. Жить надо, хотя бы посмотреть, чем это все кончится. Разливай суп, пока поезд стоит. Ничего, что перловый, привыкайте.

Нашлись добровольные помощники делить мясо и хлеб. От большого сырого каравая отделилась верхняя корочка и этот выпуклый серый круг пришлось делить отдельно. Рыжеволосый Армас отмерял куски коротким лезвием ножа и при этом выдавливал из себя, как молодой петух, хриплую песню:

*Эх, яблочко на четыре части - Хорошо живет
народ при советской власти! Эх, красный
петушок гуляет в поле чистом, Затяните
ремешок на шее коммуниста!*

- Ребята, кончайте, вас могут неправильно понять. Даже у пустого вагона есть уши. Берегите здоровье, ешьте суп.

Забастовал маленький Вяйне: он просил манную кашу. Отвечаем - нет молока.

- Почему нет, почему?

- Корова осталась дома.

- Почему осталась дома?

- Ешь, маленький, - умоляет мама, берет братика на колени, перебирает его светлые волосы, разглядывает голову, украдкой смотрит в сторону отца.

- Не помнишь, Вилле, куда мази и лекарства заложили. Краснота расходится. Меду надо бы купить.

Лязгают затворы, как челюсти железного великана Пейкко, открывается дверь. На нас смотрят конвоиры - мрачные военные и краснолицый и белоглазый штатский в черном полушубке:

- Кто старший? По списку все?

- По списку все, - отвечает отец, - а старшего нет, не назначали, не выбирали. Краснолицый пытается улыбнуться, грозит пальцем отцу:

- С тебя спрошу, ты отвечаешь, я тебя назначаю. понял? - и долго смотрит на отца немигающими слезливыми глазами, растягивает рот в натужной улыбке и хлопает себя дважды по карману, где свернулась вороненым наганом всесильная власть, готовая решить любой вопрос революционно: - А разбегутся твои бараны - расстреляю.

- Все понял, закройте дверь, детям холодно. Пришлите врача на следующей станции, а не то расстреляю, - с натужной улыбкой пытается отшутиться отец.

Загрелась дверь, нехотя тронулся поезд. Отец, глядя в потолок, спрашивает мать: - Где я видел эту шавку?

- Суп остывает, ешь! Где видел? Да их тысячи, они уже слились в одно лицо. Где видел? Лучше бы не видеть, - и уже совсем спокойным голосом мать продолжает, - ешь, маленький, больше ничего нет. Боже мой, хотя бы за неделю сказали, испекла бы хлеб, набила бы масла, сала бы заготовила. А Миша, твой братец, сельский исполнитель, наверняка знал, что мы в этом списке, недели две глаз не казал. Нет, ты посмотри, вспомни какие счастливые лица были у этих скотов. Расселись за столом праздновать наше изгнание! Ладно бы казенные люди - русские или татары, а то финны! Кто бы мог подумать, что безделье и зависть могут так испортить человека.

- Успокойся, Ауне, - дрогнувшим голосом говорит отец, - мы еще молоды, ребята подрастут, отстроимся снова; оставаться здесь больше было нельзя, попомни мое слово. Жаль Эйно отрывать от учебы, мал еще, пропадет один в Ленинграде.

- А как запрут куда-нибудь, где ни школ, ни книг, ни света - куда его заберешь?

- Надеяться надо на лучшее.

Из одной большой металлической миски мы ели вятский станционный перловый суп с редкими волокнами разваренного серого мяса.

- Ешьте, ребята, что дают. Привыкайте.

Не мог я тогда подумать, предвидеть, что этот первый в жизни пайковый обед я буду иногда вспоминать как благо. Что пайки разного достоинства в разные годы и периоды будут определять мне цену и положение в обществе и мне бесконечно долго придется с топором ли, киркой ли в руках отрабатывать неоценимое благо - жить. Выжить, не потеряться «во глубине сибирских руд».

По очереди мы забираемся на верхнюю нару, где приоткрыта заслонка окна, чтобы посмотреть, какие дома, какие здесь деревья в вятском краю, какие поля и леса.

Идет мелкий снег и серая мгла окутывает весь мир... Проплывают вместе с тонкоствольными березами и осинами завихренные заснеженные конусы можжевельника, такие же как в наших лесах.

Что-то осторожно трогает в душе струну тревоги. Почему-то я так представляю душу - многострунно. Брат Эйно считал, что душа состоит из белых и черных клавишей. События жизни как бы невзначай наступают на них, терзают резкими и неожиданными сочетаниями звуков. Я видел, и сейчас вижу как он, мой добрый брат, простаивает у морозного окна и водит кончиком спички по снежным кружевам. Так же долго и задумчиво он смотрел, бывало, у нас дома в вечерних сумерках на танцующие ленты огня в открытом зеве печи.

Бедный Эйно, он не знает, что нас увозят! Представить только, в субботу он утренним поездом прикатит из Питера на станцию Грузино. Мужики из деревни Гавань и Носово попутно его доставят до сворота на наш хутор Пённиё. Они, конечно, знают, что нас выгнали, увезли, а может и не знают - промолчат. От сворота один километр до нашего хутора. Вот и синий дымок виден за редкими березами над нашей крышей. Топится печь - возможны овсяные блины и цикорий с молоком.

Но почему же пес Меркки лает как-то нерадостно, с завыванием в конце выдоха, будто его привязали? Так оно и есть. «Другим накормленный, меня укусит у ворот». Эйно любит читать вслух. Эйно расстегивает замок ошейника. На крыльцо выходят чужие люди, непричесанные, жующие, красные от водки.

«Хо! Это же хозяйский сынок! Сбежал что ли? Или тебя оставили? Или ты не знаешь, еще в прошлое воскресенье ваших с почетом раскулачили и с почетным конвоем отправили аж не знаю куда. Знаю, что на Грузино их заперли в телячьи вагоны - может до Хибиногорска, а может и в Сибирь. Куда же ты теперь? Ты этого зверя привяжи, а то опять покусает наших, не подпускает к коровам, уже хотели застрелить. Проходи, поешь, а там обсудим как с тобой быть.»

Эйно слышит мычание Бодрика и Вало и вместе с Меркки направляется в коровник. Оказывается, Полосатая отвязалась и лезет в чужие пустые кормушки. За сеном надо подняться на верхний ярус сеновала, сбросить по наклонному лотку пару охапок душистого клевера. Эйно очень удивляется, что сарай наполовину пуст - значит, кормят одним сухим сеном?

«Ты, парень, здесь не хозяйничай, это колхозное теперь добро. Тебя нет здесь. Понял? Нет!»

Пес Меркки вырвался, но незнакомец смело обороняется вилами, и Эйно удается схватить собаку и прижать к себе.

«Ты, парень, отваливай отсюда. Коровам мы даем еду раз в сутки. Пойло уже давали сегодня - пусть зря не просят, не положено».

Все происходило именно так, как мне представлялось. Мы получили об этом письмо от Эйно, когда уже находились на Ангаре в селе Рыбном. Он описал свою печальную вылазку на родной хутор. Письмо это, к сожалению, не сохранилось. Возможно, отец уничтожил его перед очередным обыском, но я помню, читали и плакали отец и мать! Мне казалось, что Эйно уже взрослый, ведь ему шел уже пятнадцатый год, но для родителей он по-прежнему оставался хорошим мальчиком.

В письме Эйно были более печальные подробности, о которых я не догадывался, да и сейчас боюсь писать.

А пока наш поезд отсчитывает километры в сторону Сибири - по белым холмистым полянам северной России. Пока что бегут навстречу белесые и прозрачные леса, среди которых изредка показываются низкие крыши редких деревень.

Я еще несколько строк посвящу рассказу о брате Эйно. Мне казалось, что он жил во мне, в моих добрых делах - рисунках, посильной помощи матери, в заботах о младших братишках. Я все пытался сделать так, как сделал бы он. Я не помню, о чем мы говорили при нашей последней встрече, но я еще долго верил в чудо, что он отыщет меня, появится однажды и возьмет с собой в город Ленинград и покажет собрание картин Зимнего дворца.

Мне казалось, что многие картины я знаю, возможно, они приснились мне. Мать мне рассказывала, что в год моего рождения она выменяла за ведро картошки альбом картин великих художников, а назывался этот альбом «История в картинной галерее». Эйно вспоминал со слезой во взоре это редкостное издание, которое я растерзал и уничтожил на втором году жизни в неумном интересе к запретным вещам.

Ко времени моей сознательной жизни этот альбом был только легендой, но я хорошо помню, что видел картину, где Христос в сиянии солнечных лучей возносится в небеса в развевающихся светлых одеждах. После одного печального случая мне стало казаться, что брат Эйно похож на юного Христа. Он лежал несколько дней, после тяжелой головной травмы, не подавая признаков жизни - бледный, почти голубой в белых повязках и простынях.

Я боялся, вдруг эти простыни обернутся сияющими крыльями и он улетит. Но я очень хотел, чтобы он не улетал.

Сельский врач Андрей Андреевич - военфельдшер первой германской - осторожно отодвигал меня от Эйно, когда я пытался отозвать его из глубокого сна на краю смерти.

А стряслась беда на спортплощадке. Эйно отбрасывал ядра в центр сектора -тренеру. Так мы и не узнали, у кого сорвался бросок этой полупудовой железной игрушки, как подвернулся Эйно, как подставил голову. Где же ты был, ангел-хранитель, мог бы и отвести шальную руку?

Врач не отлучался от лежанки, и мне помнится, он даже спал сидя на стуле. Он был уверен, что правильная повязка и абсолютный покой принесут спасенье. Совершенно серьезно, я был готов умереть за брата, но на восьмой-девятый день Эйно ожил.

Он не мог говорить. Открывал глаза, но зрачки откатывались в сторону зашибленного виска. Когда Эйно стал нас узнавать, врач уехал, но продолжал нас навещать каждую неделю. Врач расспрашивал меня, и я пытался во всех подробностях рассказывать ему, какие изменения происходили в возвращающейся в наш дом жизни. И я про себя думал, что в какой-то мере помог брату освободиться от объятий смерти.

Конечно, помогли молитвы матери и скупые слезы отца и, наверное, помогла молодость. Мама очень верила, она знала, что Бог есть, а значит, есть и справедливость.

Теперь я понимаю, как трудно пришлось тогда отцу и матери. Отрываясь от бесконечных крестьянских работ, они с тихой надеждой подходили к двери нашей комнаты, заглядывали прямо в душу, пытаясь найти ответ. Эйно что-то беззвучно говорил, я переводил - все будет хорошо. Только он не помнит, почему он тут лежит, туго перевязанный. Какой-то период жизни для него потерялся, улетел куда-то вместе с глухим колокольным звоном, на миг вспыхнувшими золотистыми кругами в невидящих закрытых глазах.

Забытые каноны построения повести вынуждают меня прервать пока воспоминания о брате.

Итак, мы в трясущемся холодном вагоне, отсыревшем от нашего дыхания, не торопясь и не по своей воле движемся к неизвестной нам цели.

Переписка с Эйно оборвалась в 1938 году. Из его добрых писем мне удалось сохранить одно - последнее его письмо. Позднее я приведу его на страницах книги...

Глава IV - НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

- *Сибирь не по учебнику географии.*
- *Белая часовня над утренним миром. Красноярск.*
- *Знакомство с санитарным конвейером.*
- *Переселенка, что это такое ?*
- *Вильгельм Рыжий и сине-белая лыжная шапка.*
- *Дон Кихот из музея и Суриков, который шел в Академию с рыбным обозом.*
- *Медведи любят не только мед.*
- *Мой первый Енисейский ледоход.*
- *Мы запроданы Союззолоту.*
- *Радуга над Такмаком и первый траурный поход к синим горам.*
- *Черный рисунок на белой бумаге.*
- *Породнились с Сибирью крестами*

Сибирских городов я не видел, не выпускали из вагона, но их названия у меня отложились в памяти, как места где давали суп.

Сибирские реки я знал по карте, которая висела в классной комнате дома Пентикайнена, где я отсиживал свой второй класс, а заодно и слушал уроки по географии четвертого класса.

Я также знал, что Сибирь - бесконечная земля, наполовину занесенная снегом, где степи чередуются с болотами и камышовыми озерами, и только по южному краю, ближе к Индии и Китаю, стоят синие горы.

А теперь я ехал в Сибирь. Ехал не сам - меня увозили туда. И когда после долгих однообразных дней пути по бесснежным белесым просторам, далеко за Новониколаевском (Новосибирск) и станцией Тайга я впервые увидел приземистые длиннохвойные деревья с могучей зеленой кроной, я ожил. Подолгу занимал место у решетки окна, ожидая чего-то удивительного и радостного.

Видно, наш поезд утомился, сбавил ход, чтобы показать мне темные лесные дали за расступавшимися березовыми колками. Состав огибал лесистые холмы, иногда выгибая такие змейки, что мы видели весь наш бесконечный поезд - задымленный, напичканный притаившимися печалью и ожиданием хоть немного сочувствия и утешения.

Слева по ходу поезда над лесистыми впадинами и взгорьями показалась белая одинокая часовня: она парила в небе над утренним миром, плавно удаляясь к дымящейся голове поезда, потом медленно летела назад,

светясь над хвостовыми вагонами, словно играла с высотой и легкими рассыпанными облаками. Казалось, ускоривший свой бег поезд собирается обойти, перехватить и заключить в плен это белое привидение с зеленой остроконечной крышей, с золотым шаром и крестиком над ней. Мне не хотелось, чтобы это произошло, и я втайне торжествовал: не перехватить поезду эту летящую в небе часовню, она останется на свободе.

Поезд тихо остановился и долго выжидательно стоял на станции со смешным названием «Бугач». Белая башня на высокой горе тоже остановилась, словно ожидая продолжения наивной игры в догоняшки с поездом.

После этой станции стали попадаться заборы и разные хозяйственные строения - склады и сараи с горами бочек и мешков под брезентом. Справа на пригорке сгрудились жилые дома, прямо верхом друг на друге - серые и зеленые с белыми и голубыми закрылками возле окон, с гирляндами цветного белья на заборах, с веселыми дымами над треугольными крышами. Проплыли мимо окон чернокирпичные строения цехов, длинное одноэтажное здание вокзала с башней для часов, высокие склады, вереницы пустых вагонов - и после лязгания на стрелках, как бы отыскав свободный запасной путь, наш поезд остановился далеко от вокзала в неуютной среде плоских крыш и покосившихся столбов.

Часовня вдалеке вознеслась над городом. Загрохотали двери, хлынул свет и вместе с ним - резкая команда:

- Внимание, станция Красноярск! Мужчинам всем выйти для построения у вагона по два человека. Часы и деньги с собой не брать. Женщины и дети остаются в вагоне. Мыло и мочалки можно взять.

Мы, кроме маленького Вяйне, вслед за отцом кинулись к выходу. Поспрыгивали на каменистую, пахнущую мазутом землю - и двинулись серой нестройной вереницей куда-то в сторону синих гор, которые встали высокой стеной за громадой горбатых ферм моста через Енисей. Река угадывалась где-то внизу.

Нашу бледнолицую обросшую вереницу остановили и усадили у длинного забора. В заборе была захватанная калитка, за которую нас и стали загонять небольшими группами, человек по двадцать в каждой. Это был санитарный конвейер.

Пока наше белье прожаривалось в какой-то сернистой среде, мы успели вымыться и немного обсохнуть у окна дезинфекционной камеры.

Мне эта очередь и вся эта процедура очень запомнились: я уловил неписанный и странный порядок поведения вещей - в данном случае, одежды. Лучшие рубашки и свитеры так и хотели затеряться, отбиться от своих владельцев. Тонкое шерстяное белье отца вообще не пожелало показаться, и пришлось волосатому рыжему санитару в клеенчатом переднике кинуть отцу вместо его собственного белья какие-то застиранные замарашки.

Отец оценил обстановку и вместе с чужим бельем вытянул из окна забившегося, как налим, светлоглазого мужика, который норовил вниз головой нырнуть в угол, закрывая локтями лицо. Как отец ни защищал перепуганного вора, кто-то его зацепил, как говорится, открытой перчаткой, да так, что у меня спина онемела от страха.

Я обнял меньшого брата Суло, пытаюсь ладошкой прикрыть ему глаза, но второго Удара не последовало. Кто-то из одновагонников запрыгнул в люк окна и тут же нашел «случайно» упавшие в корзину недостающие вещи.

Отец трясущимися руками помогал нам одеться. Мужика в переднике помогли забраться на рабочее место.

Пока шли обратно к вагонам, я оглядывался на горы, пытаюсь рассмотреть, кто это большой, каменный сидит на вершине горы, похожий на нашего великана Пейкко из ледяной пещеры Лапландии?..

Маму мы отпустили в колонну женщин. Оказалось, конвоир разрешил женщинам сходить за кипятком. Вяйне мы решили искупать сами и аккуратно перевязали ему голову. А он просил:

- Не вяжи ушко, - да так жалобно, что сердце сжималось от тоски.

Ночевали в притихших вагонах. Помню точно, что Енисей мы проезжали при ярком свете дня. Хорошо были видны острова на реке и на высоком левом берегу серебристо-серый деревянный город с голубыми и золотыми куполами церквей, а над ними пологий треугольник красноватой горы со светящейся башенкой той самой часовни на вершине.

На станции «Енисей» наш поезд загнали на самый крайний путь с заржавленными рельсами и сухой травой между шпалами. Здесь неожиданно мы увидели новый конвой: на сухой земле, на насыпи сидели и стояли солдаты и гражданские парни с винтовками - было их много, цепочка длиною в поезд.

Нас построили повагонно и погнали по пыльной дороге по направлению к белой часовне. Вещи первой необходимости и постели - на себе. Я иногда, шагов через двести, брал у мамы с рук маленького Вяйне и сажал его на плечи, но он быстро задыхался от пыли, и я его снова передавал маме, приняв от нее корзину с едой, ложками и питьем для маленького брата.

Наша семья занимала в колонне свой ряд, и мы при необходимости поддерживали друг друга. Мне казалось, что колонна идет очень быстро, в горле у меня пересохло так, что не получилось ответить на вопрос отца - смогу ли напоить Вяйне.

Неожиданно упал, как подкошенный, брат Суло, плашмя в седую пыль. Я помог ему подняться, но идти он не мог. Сгрудились вокруг нас люди, наступая на пятки, подталкивая друг друга.

- Обходи слева, - кричал конвоир, - подтянись!

Он недовольно посматривал на нас. Мама опустила на дорогу Вяйне и помогла мне умыться и вытереть лицо Суло. Но прозрачные слезы продолжали навертываться на его глаза, смывая в грязные потеки набившуюся повсюду мелкую пыль.

Мы пристроились в хвостовую часть не такой уже торопливой колыхающейся серой массы людей, подстраиваясь в шаг и скорость движения. Меня душили слезы, перехватывало дыхание от вопросов. Почему он упал? Это плохой признак. Никак нельзя ему, Суло, падать на первых шагах пути в неизвестное, здесь, на чужой земле.

- Возьми Вяйне, руки совсем отваливаются. Суло, подай мне руку или сам держись за мой рукав, не падай под ноги отцу, видишь, ему и так тяжело.

Обсохли слезы, но мной овладел страх за младших братьев - может и не страх, а естественная жалость или непонятная еще мне форма нежности. Я сам заметил, что становлюсь взрослым и смогу в любой момент заменить мать. Ведь не ей же вести их в кулачные бои и жестокие драки, которые возникали сами собой на переселенческих пунктах и в разноязычных барачных поселках.

Какой бы вечной ни казалась эта трудная дорога, но и она все-таки кончилась. Мы прошли, протащились мимо серых приплюснутых подобию деревень, в которых редко шевелились колодезные журавли и где очень хотелось отбиться от колонны и пойти попить холодной воды. Но строй не выпускал никого из сложившегося ритма движения вперед и вперед.

И, наконец, на песчаных ярах берега Енисея показались новые бараки, светящиеся радостно на фоне белого заснеженного Енисея и бледно-голубого северного неба.

Запах сосновой доски не был еще забит запахом хлорной извести - видно, не успели этот переселенческий пункт привести к необходимому стандарту. Впрочем, половина бараков была уже заселена.

Пока мы втаскивали свои пожитки и занимали новые двухэтажные нары, за нами с интересом наблюдали из соседних бараков. Забавные там были люди, словно сошедшие с китайской чайной баночки, что стояла у бабушки на комод. Многие мужики носили белые остроконечные шапочки, да и волосы были у них заплетены в косички - не сразу поймешь, мужик или нет. Верхняя одежда, драная и грязная, все же выглядела очень красиво - цветные шелковые халаты с объемными золотыми пуговицами, длинные бусы, чаще из черного камня, украшенные желтым змеиным хвостиком. Все в их одеянии напоминало о былом достоинстве вольных сынов степей, загнанных невесть откуда на эту енисейскую переселенку.

На знакомство с нами пришла группа женщин и с ними мальчики в островерхих бараньих шапках, жилетках-безрукавках и белых холщовых штанах. Я такие штаны стеснялся надевать в свою ковбойскую пору, а эти, видно, привыкли и бегают в них, как дедушка Даниил в кальсонах, когда выпьет свыше полстакана водки. На огород бы в таких штанах и на чучело! Но странно, они совсем не стеснялись своей убогости. Со штанами ладно, могут износиться, можно и починить, но уши почему черные? А они как ни в чем не бывало заговаривают с нами на таком странном русском языке, словно нарочно коверкают слова. Я долго не мог понять, что они просят примерить мою вязаную бело-синюю лыжную шапку. Лохматый отрок напялил мою шапку и сделался совсем круглым и свекольным; надувая щеки, он так смешно скорчил свое лицо в сторону своей компании, что все со смеху покатались.

- Як баба! - тоненькая девочка сорвала с него шапку и вернула мне.

- Что она сказала? - спрашивали меня наши мальчики.

- Сказала, хорошая вещь, - ответил за меня Вильгельм Рыжий, - может, подаришь ей эту шапку?

- Виля, подари ты, я боюсь, серьезно, боюсь.

И подарил Вильгельм мою шапку маленькой украинской девочке, к радости всех присутствующих. Мне и жаль было немного моей доброй шапки, но сердце наполнялось чем-то незнакомым и приятным, возможно это был еще малознакомый приступ великодушия.

Первые дни наш барачный поселок охранялся солдатами, но потом их заменили, как мне показалось, пожарниками. И винтовок настоящих они не имели, а только задрипанные дробовички, как у сельских сторожей.

Охранялись в основном дорога и мост через речку Панюковку, по которому мы ходили за молоком в деревню. Совсем не охранялся берег Енисея, и мы свободно ходили через протоку, остров и главное русло по льду Енисея в город, который опоясывал серой змейкой береговые яры и сверкал куполами.

Покупали мы только конфеты. По улице с булыжной мостовой и тротуарами мы добирались от старого собора, окруженного деревянными домами с красивой деревянной Резьбой, до центра города, где радовали глаз несколько хороших архитектурных ансамблей в стиле сибирского ампира.

Наш добровольный экскурсовод - работник краеведческого музея, наверное, был великодушным человеком. Вильгельм подробно объяснил ему, что мы за птицы и как сюда залетели. А он принял нас, как новых начинающих сибиряков, и старался в наши любознательные головы заронить семена доброго, вечного.

Понравился нам огромный собор, бросивший, казалось, вызов небу и краснокаменной, динамичного силуэта горе, увенчанной очень пропорциональной часовней. Нас было человек десять ленинградцев, в основном финнов, плохо понимающих по-русски. Переводил все тот же Вильгельм- Рыжий, он не знал, какой он национальности, говорил одинаково хорошо на всех ленинградских языках, даже по-татарски, что оказалось очень важным здесь, в Сибири.

Похожий на Дон Кихота работник музея готов был с нами заниматься весь день. Он даже говорил, что если нас оставят в Красноярске - милости просим в музей, где работают разные школьные кружки: юных историков, археологов, натуралистов, этнографов. По малому возрасту я тогда не мог оценить по достоинству дружелюбия и доброжелательности местного краеведа. Рассказывал и показывал он экспонаты музея очень интересно, многое из тех неожиданных экскурсий запомнилось навсегда. Например, как великий русский художник Василий Суриков ехал в Академию художеств на лошадях с рыбным обозом через всю Сибирь. Показал нам краевед и дом на Большекачинской улице, где родился художник.

У кого-то из старших возникла идея посетить рынок. Была суббота, до Первомайского праздника оставались несколько дней. Торговали с телег на прилежащих к рынку улицах. Казалось, все жители окрестных сел приехали сюда с продуктами. Очень хотелось купить соленых грибов, соленый арбуз и еще что-то очень съедобное. Была там рыба разных названий, но она вся, как мне казалось, дурно пахла. Спустя много лет я узнал, что был специальный посол «с духом», обожаемый не только людьми, но и медведями, которые, оказывается, любят не только мед. После рынка мы посидели на крепостных пушках, выставленных на высоком цоколе краеведческого музея, стараясь рассмотреть не только наши белеющие на том берегу бараки, но и загадочную деревню где-то возле горы Черная Сопка, о которой нам говорила женщина-продавец фиолетового картофеля. Она прислушалась к нашим разговорам и была уверена, что там живут люди, говорящие на таком же языке, как наш, то есть финском или эстонском.

Лед на Енисее доживал последние дни. Утром, когда мы переходили матерое русло, он был местами зеленого и голубого цвета, а местами почти черный, непрозрачный. А сейчас лед словно приподнялся на цыпочки, с него куда-то вниз сбежала лишняя вода.

Простор Енисея был белым. Мы торопились перейти на правый берег, где за Торгашино терялись горы в голубом мареве, где на глинисто-песчаном яру на месте старых археологических раскопов древних городищ стояли наши белые бараки переселенки.

Весна 1931 года была теплой и светлой. Величественный ледоход на Енисее принес несколько холодных дней с ветром и белыми мухами, но они быстро сменились длинной вереницей кристально ясных дней с розовыми вечерами и холодными голубыми ночами.

Мы, дети, привыкли к бесшабашной кочевой жизни и довольствовались тем, что день прошел, а завтра - что Бог даст. Взрослых уводили на разные работы - на сортировку лесоматериалов на территорию четвертого лесозавода, на судоремонтный завод перебирать и чистить железные листы или выдалбливать из льда бревна, которые уцелели в глубине затонов от напора сильного ледохода.

Ледоход должен решить и нашу дальнейшую судьбу. Освободятся ото льда реки, побегут катера, поплывут пароходы, потащатся караваны барж на Север - на строительство порта Игарки, рудников в Норильской тундре. Понадобятся и рыбаки на Левинские пески и в бухту Омuleвую. По слухам, мы «запроданы» ленинградским ОГПУ Главзолоту, но на строительство рудников, драг и силовых станций в Ангарскую и Северную тайгу можно попасть летом только по рекам - водой, или в зимних условиях конным обозом. Какие-то семьи, возможно, останутся здесь, в Красноярске, на лесозаводах.

Но пока еще рабочие руки нужны здесь. Опять собрали группу, в основном молодых, велели взять с собой одеяла.

Я решил проводить Хейкки до станции Енисей и, возможно, узнать более точно его место работы. «Бугор», который собирал эти бригады, охотно сообщил: совхоз «Собакино», куда ведут дорогу от Никольской слободы, на скальные работы. Жить парни будут в дачах золотопромышленников в районе бывшего женского монастыря.

Я понял, что в случае необходимости мне нужно будет переехать на товарняке со станции Енисей на левый берег и после моста спрыгнуть в районе элеватора, а там - по береговой дороге вверх по Енисею до монастыря и совхоза «Собакино».

Брат обещал при первой возможности послать письмо или записку с более точными данными, и как добраться к нему при острой необходимости.

- Давай, лети! - он похлопал меня по плечу и украдкой снял со щеки неожиданную слезу.

Я запрыгнул на тормозную площадку идущего на восток товарняка и проехал длинный перегон, километра в четыре, но напротив блокпоста товарняк не замедлил ход. А пока я раздумывал, как быть, поезд удалился на восток еще на пару километров.

Отыскав впереди бок песчаной насыпи, я прыгнул - на ногах не устоял, но серьезных ушибов избежал.

Пришлось идти через пустыри в сторону судоремонтного завода, пока не вышел на Московский тракт. Это название мне тогда ни о чем не говорило, но я все-таки пытался сосчитать, за сколько дней- месяцев можно так вот, налегке дойти до Москвы, съедая в день по булке хлеба. Ни автомобиля, ни пешехода, только одна конная крестьянская подвода встретила меня. Кроме пустых кадушек на телеге была еще и очень старая женщина. Мужик-ямщик пытался меня о чем-то расспросить, но я ничего не понял. Слово Ладейка, которое он повторял, мне тоже ничего не говорило. Я шел в сторону нашего дощатого поселка, и было обидно, что не мог объяснить, что я просто не знаю, что это за Ладейка и как туда проехать.

Над южной окраиной города на Торгашинском хребте вздымается скалистая вершина Такмака. Эта скала, если смотреть на нее из разных мест города, имеет разные очертания, но с северо-восточного сектора она напоминает фигуру скорбящей матери с младенцем на коленях. Мама первая заметила это сходство, и пришлось мне пером и чернилами сделать рисунок Такмака, и мама послала сестре Лизе этот печальный символ нашего нового бытия.

Меня всегда наша мать удивляла своей участливостью. Нередко она высказывала вслух свои тревоги и печали о судьбах младших сестер - моих добрых теток. О судьбе сестры Анны она говорила едва сдерживая слезы.

Как в нашей семье, в семье тети Анны было пятеро детей. Один старший мальчик, Виктор, был моего возраста, но учился почему-то плохо. Дом у них был крохотный и земли было меньше чем у нас, но муж тети Анны Никита Михайлов не успевал обрабатывать ее до такого состояния, чтобы земля кормила его беспомощный выводок. Когда людей стогнали в колхоз - кого уговорами, кого насильно - семью Михайлова не приняли на общем собрании: всего одна пара нерадивых рук на семь ртов. Годовой запас пшеницы и ржи отец им выделял - это я знал точно. Что они получали из общественного фонда - я не знал, но зато видел, что нужда была ежедневным гостем в семье Михайловых.

Никита Михайлов был взят в семью деда Кольенена из детского дома. Всем простым мудростям сельских работ он был обучен, но как-то не прикипел к нашей каменисто-болотистой земле с темными еловыми лесами. Не шло у него дело, хоть плачь!

Теперь и моя добрая мама не может им ничем помочь, разве утешить только слабым моим рисунком - символом вселенского материнского горя.

Еще до первого мая, еще до ледохода на Енисее, когда мы в первый раз оказались в центре города и спрашивали обо всем у доброго краеведа, я задавал вопрос о происхождении названия Такмак. Оказывается, это был местный князь. А другие скалы, которые просматриваются на Торгашинском хребте, - это его окаменевшая от злых чар свита богатырей. Дело-то вроде было пустяковое - попросил князь Такмак у царя Енисея руку его младшей дочери красавицы Лалетины, но Енисей предложил жениху руку и сердце старшей дочери, сварливой и коварной Базаихи. Такмак отверг это предложение. Царь обиделся. Обида реализовалась колдовскими чарами - и смотрит каменный князь Такмак веки вечные на пробегающую внизу речку Базаиху.

Вильгельм-Рыжий уже не раз намекал, что надо бы подбить нашу маму испечь калачей, да и рвануть на денек в гости к Такмаку. Без калача не обойтись. Далековато. Небольшие экскурсии мы уже совершали - на утиные озера в камыши, откуда течет река Панюковка, в Цветущий лог, где среди тайги встречались пустые поля и незаселенная пасека. О походе на Такмак пришлось советоваться с отцом.

- Никакого риска! Делать можете все, но прежде хорошо подумайте, чем это может кончиться. Понятно?

Вильгельм пригласил двух сильных мальчиков - Эйно Туху и Армаса Карху принять участие в этой вылазке. Мы обещали вернуться до вечера, а восход солнца нас догнал на подходе к станции «Енисей».

Невелик подъем через лиственничное редколесье к плоской вершине Диван-горы, но мы много раз оглянулись на оставшееся внизу. Не раз отдыхали стоя, пока за Диван-горой не открылась величественная панорама Куйсумского нагорья. Кроме Такмака виднелись другие не менее причудливые скальные вершины, названий которых мы еще не знали.

От этой сказочной страны нас отделяла внизу небольшая река - та самая сварливая Базаиха, которую приговорен вечно сторожить Такмак. К Базаихе мы спустились по каменистому ущелью какого-то ручья. Несмотря на весну, каменистая долина этого ручья была сухой, правда, иногда, если тщательно прислушаться, можно было уловить ухом гул этого ручья где-то в глубине под камнями.

Базаиха по весне не такая уж маленькая речка, кроме того она глубокая, бурная и холодная. Мы пытались перебрести ее способом «лапландское кольцо», но когда вода подымалась до груди, нас сильно шатало течением, и мы выбирались на берег, клацая зубами от холода. На берегу этой дикой реки со звоном распадались на кристаллики вчера еще крепкие льдинки.

Не унимался никак Вильгельм. Отклонив наши уговоры, он разделся и переплыл Базаиху, но снесло его течением метров на семьдесят, а может и на сто. Нам показалось, что он с трудом выбрался из воды, но все же легкой подпрыгивающей походкой, хотя и скрюченный какой-то, он побежал в нашу сторону, осторожно наступая на камни, словно они обжигали его подошвы.

Поравнявшись с нами, Вильгельм на миг прикрыл низ живота скрещенными ладонями, но тут же, забыв о своей наготе, отмахал нам скрещенными над головой руками знак, что переправа отменяется.

Пройдя вверх по течению метров сто этой неласковой реки, Вильгельм поплыл снова и причалил точно около нас. Теперь он был не только рыжий, но и фиолетовый, и мы кинулись растирать и одевать его. А вскоре веселой вереницей все вместе бежали вверх на плато по каменистому ложу сухого ручья. Выскочив на плато, мы остановились, чтобы наладить дыхание. Я оглянулся, чтобы оценить пройденный путь.

- Смотрите, ребята! - словно по тревоге крикнул я.

Над сиреновой долиной, над черно-голубой вершиной Такмака в серебристом мареве сияло солнце, окруженное светящейся радугой. Нижний край этой радуги задевал плечи Такмака, и они светились, мерцали, звали туда!

Мне всегда хотелось понять, почему прекрасное всегда отделено от меня невидимой гранью недоступности? Совсем в зеленом еще детстве я убежал в поля за радугой, - но как на грех солнце заходило за тучу, или рассеивался мелкий дождик. А может, и не должно быть вообще этого постижения или познания прекрасного, а важнее само стремление к нему? Вечно стремиться к радуге, стремиться ее разгадать? А может, и нет того самого объективного прекрасного, а есть только моя уверенность в том, что прекрасное есть где-то впереди, что оно существует, и зовет меня, и ждет.

- Чего смотришь? - спрашивает Вильгельм, - по учебнику это называется гало. С его появлением весной бабушка велела выпускать коров на волю, на сухую землю и на первую свежую травку. Очнись, пошли, - тормозил он меня, - у тебя в мешке должно быть еще полкалача, дай-ка сюда, самое время пообедать, душа требует.

- В походе нужно есть понемногу, но часто, - учил нас Вильгельм, - и еды меньше уходит, и силы сохраняются на нужном уровне. Пить как можно меньше, а лучше совсем не пить. Вот сейчас надо бы нам съесть по щепотке соли - это по научному восстановление солевого режима.

Он не закончил седьмой класс по причине раскулачивания, но почти каждое лето бывал в пионерских или скаутских лагерях - вот и набрался мудрости.

Мы вернулись под вечер и застали всех в нашем бараке в каком-то гнетущем состоянии, какое бывает после отступления страха. Оказалось, увозили куда-то группу из нескольких семей ленинградцев. Две семьи забастовали - потерялись ребяташки, но вот и они на месте, живые и здоровые, а комендант продолжал кричать на бедную и бледную мать Вильгельма.

Старая интеллигентная бабушка Вильгельма пыталась заступиться за дочь, но комендант обозвал ее старой сукой, и тогда Вильгельм ястребом налетел на растерявшегося сначала самодура, пытаясь схватить его за горло. Опомившись, комендант стал вполне по-боксерски отбиваться от мальчишки, потерявшего от негодования рассудок, пока их обоих не схватили, не утихомирили, не уговорили.

Но это не все. В наше отсутствие упал с верхней нары старик-горбун по фамилии Патти. Его старшая сестра и не очень старая жена сидели на краю нижней нары отрешенные, закрыв своими спинами покойника, ждали, когда сделают гроб и комендант найдет в деревне конную подводу, чтобы доставить несчастного к его последнему пристанищу - торгашинскому кладбищу.

И еще умерла в этот день маленькая девочка у Лебедевых. Мария молилась и причитала по дочке на какой-то нелепой смеси русского и финского, пока муж ее, богатырь Илья Васильевич не принес маленький белый гробик с аккуратным высоким крестом из сосновой плахи.

Так что на следующий день нам предстоял траурный поход к синим горам, где за тополями притаилось старинное село Торгашино. Там на безлесом мысе горы есть кладбище - не огороженное, без единого деревца и кустика. После первого весеннего дождя в каменистом суглинке расцветают редкие алые горные гвоздики. Как искорки божьей милости, как слова благословения.

Вначале мы, мальчишки, шли отдельной группой впереди колонны. Мы несли лопаты и кайлы, но когда от скуки стали подпирать и подталкивать друг друга, нас остановили.

Пропустили вперед крестоносцев. И печально-торжественно поплыли над степью, покачиваясь, высокие кресты. За ними шагал Илья Лебедев, неся на могучей груди перехваченный длинным полотенцем гробик дочери.

Следом за ним вели конную подводку с телом старика. На той же телеге сидела согбенная темная старуха, придерживая сухой рукой сложенный белый платок. Иногда, наклоняясь глазами на этот белый платок, она кривила беззубый рот и каким-то высоким однообразным стоном читала молитву.

Я приотстал. Опушенные обнаженные головы мужчин, белые и черные платки женщин, нестройная цепочка скорбных людей, растянувшаяся на пригорках, - все это было увенчано ритмом покачивающихся крестов и лопат и как бы раскрывало смысл всей композиции. То была сама жизнь, ее формы настойчиво врывались в искусство, кричали и звали.

Я тогда, конечно, не догадывался, что во мне рождался художник - словно маленький ангел подпирал сердце розовой пяткой и требовал, чтобы откупился я от давящего разбуженного смятения черным рисунком на белой бумаге.

Не сразу, спустя лет десять, я начал формировать на маленьких эскизах эту вечную тему, но не скоро поверил в необходимость такой картины обществу, в котором жил. Просто честно пытался отработать свой хлеб насущный.

Мы долго рыли могилы на сухом каменистом гребне пригорка. Потом пели нестройные песни о вечной беззаботной жизни там, за пределом, не поддающимся осмыслению.

Трудным делом оказалось укрепить высокие кресты на мелко выкопанных могилах. Сколько простоят они без нас?..

В глубине долины дышала запахами распаханной земли, мычала и клекотала тележным стуком деревня Торгашино.

Лучше бы человеку все знать смолоду! Если бы я тогда мог знать, что эта деревня возникла в начале семнадцатого века, как подсобное хозяйство Красноярского острога. Что мать художника Сурикова вышла именно отсюда из казачьей семьи. И часто сам художник приезжал сюда в гости к теткам, любовался домовою резьбой, искусством дуговых мастеров - отсюда его понимание истоков прекрасного, истинно русского, сибирского, что создало облик и душу неповторимости его картин. Если бы знал все это, я более внимательно отнесся бы к тому, что тогда увидел, постарался бы лучше вслушаться, всмотреться во все окружающее, чтобы понять сложную, полную трагизма жизнь Сибири.

А я тогда недоумевал: зачем впустую нагромождено на калитках и верях столько трудоемкого листового орнамента, когда во дворе пусто, разобраны амбары и нет даже элементарного туалета. Оказалось, что сибирских крестьян беда коснулась раньше нас. Их так же ночью выгоняли организованно из домов, грузили на баржи и везли за Полярный круг, где на Губинской протоке Енисея начиналось строительство порта и города Игарки. Оказалось, что сибиряки тоже умирают от цинги и унижений.

Тогда я думал, что нам выпала особая честь поставить свои белые кресты на Сибирской земле - своими могилами породниться с этими горами и степными просторами, где российское могущество пытается утвердиться на глазах у восхищенного человечества.

Глава V - ПО ЕНИСЕЮ НА АНГАРУ

- Нас пошлют с караваном на север.
- Поединок в тамбуре.
- Прощай, наш ленинградский барак!..
- Происшествие на палубе.
- Рыжий пропал невозвратно.
- Беда на барже.
- Сосны, танцующие на вершине скалы.
- Последний приют маленькой Алмы.
- Серые гуси на голубой льдине.
- Горький дым над рекой тридцать первого года.

Весна, казалось, овладела миром. Ушел на север грохочущий, сверкающий ледоход. Енисей затоплял острова, смывал с берегов неубранные дрова, непривязанные лодки. Нам, ребятам, далеко уходить от барачных не разрешалось - вдруг команда на сборы в дорогу!

Под вечер в наш барак явился комендант, собрал ребят, а при разговоре просил присутствовать и взрослых - что-то важное было у него на уме. Он взял Вильгельма за пуговицу куртки:

- Сбегаешь в совхоз «Собакино», скажешь бригадиру Вильки, чтобы привел всех наших рабочих, и пусть требуют немедленно расчет, все согласовано. На днях будет караван на север.

Комендант беглым взглядом окинул ряды нар и как бы для всех присутствующих сказал, что эти бараки надо освободить. На днях поступят эшелоны с новым пополнением.

Мы кинулись выполнять поручение коменданта. Были направлены гонцы на Базайский рейд, Лесозавод и в Ладейки. Там работали бригады наших спецпереселенцев-ленинградцев, которым теперь предстоит двинуться на север с ожидаемым караваном. Я и Вильгельм едем в «Собакино»: недолго добежать до железной дороги и около закопченного домика блокпоста, когда поезд немного сбавит ход, взлететь на тормозную площадку, а там и до станции «Енисей» рукой подать. А если повезет, то можно без пересадки проехать до элеватора, а там спрыгнуть.

По береговой дороге идти до Собакино одно удовольствие - дорога, вырубленная в скалах над Енисеем, напоминала цветные итальянские гравюры, которые мне иногда показывала тетя Лиза - мамина младшая сестра.

Так все и вышло. Но получилась небольшая заминка, о которой не люблю рассказывать.

Вильгельм меня подсадил, вернее, вскинул на подножку проходящего товарняка, но сам не успел взлететь, сорвалась рука с поручня.

Я подтянулся и шагнул на тормозную площадку, где копошились какие-то лохматые существа. Выглянув на миг, я увидел, как Вильгельм махнул мне рукой из тамбура соседнего вагона. Лохматые фигуры оставили свое занятие - они давили вшей на расстегнутых штанах - и прицелились в меня округленными тревожными глазами. Я невольно еще раз выглянул в сторону Вильгельма, но не увидел его, возможно, он забрался на крышу вагона и идет ко мне.

- Что, фраер, понтуешь? - просвистел старший «лохматый» и скривил рот, стараясь выглядеть свирепым. Кайма пены выделяла его бледно-фиолетовые губы на грязном лице.

- Что, мандражишь?

- Не понимаю, - растерявшись, проговорил я.

- На самом деле и школьный-то русский язык я знал плохо, а этот, блатной, не понимал совсем.

- А ну, Ляля, жимани его, может бабки выскочат. Руки, фраер, подними руки! Я совсем растерялся, поднял было руки, но успел схватить Лялю за горло и штаны, и он застучал пятками о стены тамбура над моей головой. Тут же я получил пинок в грудь и не удержал вонючего Лялю, и куда он делся - не знаю.

Оглядываться было некогда: на меня наступали двое рычащих начинающих разбойников. Они явно мешали друг другу и, как мне показалось, я успел сунуть кулаком в грязный «пяточок» меньшому, отчего он присел под ноги своему напарнику, которого я за воротник пригнул и подтянул к себе и снизу ударил коленом. В это время с грохочущей крыши спрыгнул Вильгельм. Он навел порядок.

- Король, ножом его, - верещал в страхе, пряча голову, меньшей, и тот, который пытался казаться страшным, действительно начал отмахиваться ножом, но неожиданно для меня вылетел из тамбура, как кошка изворачиваясь в воздухе. Как он приземлился на насыпи, я не видел. Поезд, равномерно постукивая, мчался вперед, и тот лохматый, что сидел на полу, визгливо просил:

- Не бей, падла, я тебе ничего не сделал, возьми саксан, отпустите меня. Вильгельм поднял за воротник бьющегося в страхе мальчугана, и как тот ни выворачивался, все же сгоряча сунул ему кулаком в лицо. Лохматый снова кинулся в угольную пыль на полу тамбура, пряча лицо, но получил еще пинок.

- Виля, перестань! - крикнул я, но тут же получил удар под левую скулу и едва удержался на трясущейся площадке. Вильгельм обнял меня, уговаривая как маленького:

- Ты прости меня, не лезь под руку, они же чуть не порезали тебя. Да ладно, пусть живет, заberi у него нож.

Прогрохотал мост, мелькнула будка часового.

- Прыгай вперед и подальше от колес, ну!

- Я прыгнул и приземлился на все четыре точки, с размаху еще перевернулся раза два как колобок и встал на ноги. Кружилась голова, хотелось пить. От уходящего поезда шел ко мне Вильгельм.

- Не расшибся?

И только тут я заметил, что штаны на коленях у меня лопнули, рваные грязные раны заныли, но кровь почему-то не сочилась.

- Чепуха, - сказал Вильгельм, - пошли найдем подорожник, натрем соком, при вяжем лист, заживет как на собаке. А вообще ты молодец.

От этого признания хотелось плакать, но мы пошагали через рельсы к элеватору, к Гремячему Логу, холодному ключу. Плакать было некогда. У воды мы умылись, съели с закатанными в них песчинками куски хлеба, запили холодной сладкой весенней водой и были готовы идти дальше.

Дорога, вырубленная в скалах над Енисеем, связывала женское общежитие Знаменского монастыря и ряд красивых дач бывших купцов и золотопромышленников с городом. Наши ленинградцы строили другую дорогу, более безопасную, где-то за Николаевской сопкой от слободы до совхозного поселка на речке Собакиной. Там и был организован пригородный совхоз. После обеда мы явились в бригаду.

Известие, что нас отправят куда-то на север, не обрадовало никого. Видно, всех устраивали работа и житье в доме отдыха среди соснового леса на берегу светлого Енисея. Да и питание, как мне казалось, было налажено нормально. По талонам давали достаточно хлеба и густого картофельного супа.

Получив расчет за пару недель работы на стройке, длинная вереница разноязычной молодежи возвращалась в Красноярск. Многих из этих веселых - молодость - ребят я больше никогда не увидел.

На переселенке царила суматоха сборов. Кого куда отправят - никто не знал. Многие пожилые люди были молчаливы и опечалены - на всякий случай прощались друг с другом.

Дошла очередь волноваться и до нашего четвертого ленинградского барака. Снова мы шли темной толпой, нагруженные свертками постелей, сундучками и баулами по пыльной дороге в сторону станции «Енисей». Теплилась надежда, что кто-то найдет справедливое решение нашего вопроса, нашей участи, и тот же транссибирский поезд, исполосованный помоями и парашей, покатит нас домой, в Ленинград.

Но колонну повернули направо к причалам третьего лесозавода, где нас ждали баржи и лихтера. Оказывается, в трюмы еще загнали людей, в основном забайкальцев и украинцев.

Мы должны были занять свободные проходы на палубах - между штабелями мешков с мукой, бочек и ящиков с какими-то машинными частями и деталями. И без того узкий проход к трапам между заборами загородили еще и люди - и пожилые, и молодые мужики, без оружия, но обшаривающие цепкими взглядами каждого из нас.

Я шел впереди мамы, нес Вяйне на плечах, и мне трудно было оглянуться, когда услышал сзади ругань - неужели это мой отец с кем-то так сильно ссорился, даже русский мат пустил в ход.

Я опустил на трап перепуганного братика, но кто-то сзади толкнул маму и заплакавшего Суло на меня. Я снова поднял на руки Вяйне - и нас далеко оттеснили с трапа на палубу, где и так уже негде было ступить. Сзади давили. Мы успели приподняться на край штабеля с мешками.

Я увидел отца, нагруженного тюками. Он пытался остановить какого-то сердитого военного, который рвался прямо через людей сюда, на баржу.

Вскоре отец поравнялся с нами, он был весь в поту, а может и в слезах - он не знал что делать. Рассказал, что схватили Хейкки, пытались увести, но он оказал сопротивление и куда-то нырнул в толпу, сейчас за ним гоняется этот «гепеушник». А глядя на все это, разбежались другие ребята и попрятались.

Палуба кишела народом. Толпа толкалась, усаживалась и снова сновала в поисках свободного уголка, кипела и роптала, возмущаясь и угрожая. Военный, без фуражки, в расстегнутом френче, прокладывал себе дорогу среди старух и детей желтыми крагами и светлыми американскими ботинками. Он занимался поисками, красный от злости и служебного рвения, но на его пути стеною стал наш сосед из четвертого барака по фамилии Талза.

Не считаясь с щегольской формой «гепеушника», Талза поставил его вверх ногами и приподнял над ахнувшей людской массой. Тот пытался болтать ногами, словно продолжал бежать, пытался вытащить наган из кобуры, но почему-то не сумел этого сделать. Держать взрослого человека в таком положении, наверно, трудно и неудобно - Талза поставил посиневшего парня на ноги, захватив его руку с кобурой так, что тот застонал от боли и обиды. - Отпусти, не дури, а то арестуем, - уже вполне спокойно сказал военный.

- Не говори начальству, а то уволят, - посоветовал Талза и похлопал его по плечу. Под сдержанный смех взволнованной толпы парень удалился.

Еще до отплытия выяснилась причина происшедшего инцидента. Для погрузки части этого же каравана нужно было на соседнем участке плота что-то погрузить в вагон, а из вагона перетащить на баржу. Требовались срочно дополнительные рабочие руки, вот и надумали «решить» этот вопрос при посадке семей спецпереселенцев. Не в привычке ОГПУ объяснять что-то людям! Схватить, заставить, пригрозить - дело обычное.

А с Хейкки было так. Когда его втолкнули в сарай, где находились уже несколько парней, кто-то из конвоиров наградил его подзатыльником. Не привыкший еще к такому обращению, брат мой круто развернулся и. нокаутировал обидчика. Собранные в сарае парни вмиг сориентировавшись, оттеснили конвой, попрыгали на баржу и - ищи ветра в поле! Утром, перед самым отплытием, одна из барж еще принимала груз.

Первый день пути был теплым и солнечным. Наша жизнь на свежем воздухе среди мешков и ящиков казалась нам вполне сносной. Наш караван двигался со скоростью течения реки - это было видно по схваченным течением бревнам или пустым ящикам.

Караван двигался среди многочисленных островков, иногда выходя к материковому берегу, где серебрились деревни и светились церкви, порой очень сложные, большие, как городской собор. Кто здесь живет, какие люди?..

Потом погода резко испортилась, похолодало. Говорили, что идет ангарский ледоход. В этом раздолье Енисей собирает все свои воды в одно русло и после пристани Атаманово стремительно несется на север.

Несмотря на мелкий дождь, я все же выглядывал из-под брезента. Все новые и новые горы наплывали нам навстречу после каждого поворота реки. И на каждой горе просматривались выходы разрушенных скал, виднелись темные хвойные леса и розовые березняки, еще не охваченные теплым туманом первой зелени.

Редко попадались деревни, зато одиноких хуторов и избышек было много - в летнюю навигацию на реке устанавливаются светящиеся бакены. На определенном участке реки живет и работает бакенщик - в любую погоду он должен служить (зажигать по вечерам бакены) проходящим пароходам.

В один из дней плавания пошли слухи, что будем проходить какой-то опасный порог, где в разное время погибали пароходы и баржи. Но рассудительный мой отец объяснил, что при такой большой воде пороги не опасны, если шкипер умеет вести судно. Однако разговоры об опасности не утихли даже после того, как прошли Казачинский порог, в те годы действительно опасный в межень - пору летней малой воды.

. Беда случилась возле самого берега, во время ночной остановки нашего каравана на пристани Стрелка. Сильный ветер со снеговыми зарядами обернулся настоящим ураганом. Столкнулись и посбивали друг друга надстройки двухпалубные пароходы «Спарта» и «Ян Рудзутак».

Нашу баржу разболтало так, что нас чуть не задавило между ящиками и мешками. Кроме того баржа получила пробойну, через которую стала поступать вода в темный набитый людьми трюм. Люди в панике лезли на палубу, откуда их ураганом сбивало в темную воду между хаотично двигающимися судами.

Мама как могла прикрывала нас брезентом, который уже не спасал от залетающих струй холодной воды.

- Не бойтесь, буря долго не бывает. Закрывайте ушки Вяйне.

К рассвету непогода притихла, и речники принялись переформировывать караван, чинить «разборки» и делать выводы. Несмотря на холод, теперь можно было и поспать. Но не успел я забраться под брезент, как меня взяла за плечо какая-то темная фигура - я с трудом узнал маму Вильгельма-Рыжего:

- Где Виля, почему он прячется от меня?

- Я не видел его. Вы где разместились?..

У мамы Вили начало дрожать лицо, было видно, что она мерзнет.

- Где Виля, скажи, Толик, ты знаешь, - она проверила мое «гнездо» со спящими братишками, поднимала края одеял в проходах, где вповалку притаились и сжались от холода притихшие путешественники.

- Он искал тебя вчера, где вы прятались? Почему же его нет. Мама совсем не встает, доходит. Убежал Вилька. Боцман говорит, искать не буду - жив, так сам придет.

До меня как-то не доходило, что Вильгельм может потеряться. Он же живучий! А кто-то за плечом сбоку опасно мне возражал:

- А если упал между бортами судов в воде во время бури и его прижулькнуло - и все? Затрет в песок под днищем баржи.

Надо ждать, но я все-таки выпросился на поиски. Пробравшись в трюм, выкрикивал имя своего друга, но темная шевелящаяся бесформенная людская масса не отвечала.

На пароходе «Спартак» в трюм меня не пустили. Я обошел все проходы в длинных коридорах, где сидели и кучами валялись люди, но Вили я не нашел. Обошел кругом всю верхнюю палубу и наконец поднялся на мостик. Но не сумел объяснить занятому старпому, что потерялся Вилька; от беспомощности и горя заплакал, только тогда он меня резко спросил:

- Что случилось?

- Утонул Вилька, рыжий мальчик, фамилия Кригер.

- Пойдем, - сказал старпом, и мы спустились на заваленную бочками корму парохода, где на полу лежали два помятых утопленника, если судить по длинным волосам и одежде, то девочки.

- Нет? - спросил старпом. - Других не нашли. Где он потерялся, кто его видел и когда в последний раз?

Что я мог ответить? Я не верил, что Вильгельм мог погибнуть, но почему нигде его нет? Я боялся встретиться с мамой Вили, она меня вечно будет спрашивать, и будет разрываться мое сердце, и без того уже переполненное горем.

Залатанный, переформированный караван вывели от пристани на рейд. С палубы баржи мы были пересажены на пассажирскую палубу парохода «Спартак», трюмные пассажиры остались в трюме.

Начав движение вниз по течению Енисея, караван начал огигать длинный каменистый мыс, за которым мы увидели впадающую в Енисей большую реку. Над палубами пронеслось звучное новое название - Ангара!

Туда, в холодные просторы Ангары с редкими льдинами, и повернул наш караван, состоящий из двух больших пароходов, лихтера и длинной тяжелой баржи.

... Если смотреть на воду, то кажется, что мы несемся навстречу течению с большой скоростью, но это не так. По береговым приметам мы стоим на месте. Значит, пытаемся подняться в Стрелковский порог - это совсем недалеко от пристани и деревни Стрелка.

Как ни надрывались кочегары возле жарких топков, сколько ни месили и ни секли ангарскую воду красные плицы пароходных колес, наш караван за весь световой день не смог одолеть порог.

В середине Стрелковского порога выступают несколько округлых скальных обнажений. На вершине одной из скал растет великолепная ангарская сосна. Она как бы вобрала в своем облике и стойкость, и грацию вольного дерева; ее флаговая крона, упругие ритмы ее золотых ветвей очень ясно отражают движения стихий, борьбу за выживание и еще что-то понятное моей душе, хотя и не поддающееся объяснению.

По этой сосне мы мерили силу и бессилие нашего движения, когда караван пытался преодолеть течение реки в ее среднем водосливе.

Пробовали пройти и под правым берегом - здесь несколько раз поднимались до скалы, в расселинах которой росли изогнутые как лук тонкие длинные березы, но к вечеру скатились вниз, чуть не до самого устья. Там пришлось опять переформировать караван.

Утром к нашей стоянке подошел двухтрубный речной «шлепунец» «Сталин». Объединенными усилиями «Спартак» и «Сталина» была поднята через порог самая тяжелая баржа, наш «Ноев ковчег».

Мы стали на якорь недалеко от серых складчатых скал с бурыми букетами кустарников в расселинах, с танцующими соснами на вершине скалы. Думалось, почему все это не у нас на Ладого, а здесь в забытой Богом Сибири, где некому смотреть на эту красоту?

Если бы не изогнутые в дугу березы, растущие вниз макушкой, я попытался бы нарисовать поразительный этот пейзаж. Но сама эта естественность смотрелась так надуманно, что я не рискнул сотворить неубедительную правду.

Спустя многие годы, вспоминая себя, начинающего мыслить художника, я думаю, что мой «мировой порядок» был уже сформирован иллюстрациями Библии и репродукциями с картин Левитана и Шишкина в книге для чтения второго класса. Мама неожиданно спросила меня:

- Достать альбом, ты так давно не рисовал?

- Спасибо, мама! - только и смог ответить я. Мама, мама, значит ты веришь, что мы будем жить и работать? Что еще увидим небо в алмазах и будем досматривать до конца невероятную драму, разыгравшуюся на просторах России.

Наконец-то весь караван собрался выше Стрелковского порога, можно двигаться вперед. По гладкой натянутой поверхности Ангары снова плывут редкие белые льдины. Их отталкивают от ходовых колес длинными баграми заспанные матросы.

С мостиков пароходов и рубок барж ведутся какие-то переговоры, но металлические конусные усилители так искажают слова, что я ничего не могу понять - что требуют, на чем настаивают, о чем не могут договориться.

Береговые скалы подхватывают эхо и повторяют обрывки и концовки фраз, делая их уже совершенно непонятными. Где мой бедный «Рыжик», он бы мне сразу перевел все с любого языка. Где его несчастная мама и убитая горем бабушка?..

Оставив отца с его тяжелыми раздумьями, ко мне на кули в брезентовое логово, где я отсиживался с меньшими братьями, поднялась мама. Она что-то собиралась сказать, но молча сняла теплый платок с головы маленького Вяйне и осторожно потрогала края красно-фиолетового свитка на его темечке. Это дал о себе знать рецидив запущенной золотухи прошлого лета в грязном вагоне и в холодной переселенке. Да и эти задубелые от влаги и холода брезенты не назовешь чистыми.

- Приедем к людям, надо меду купить и свежего масла, - сказала мама и снова завязала голову Вяйне платком. - Помнишь, к вам подсаживали девочку Алму, так она умерла сегодня утром, Бог прибрал. Парализовало ее, сердце остановилось. В розовой кофте была, неужели не помнишь?

Алму было жаль, но я думал о другом: куда же девался Вильгельм? Неужели тогда в ночной панике угодил за борт? Нет, такие парни не тонут! Тут что-то не так. И маму его, тронувшуюся от горя, тоже почему-то не видно. Неужели умерла? А бабушка наверняка умерла или умрет: зачем ей жить, если нет дочери и внука, ей некому воду и пищу подавать, а добывать - тем более.

Наш караван незаметно как бы подбирался под скалы крутого правого берега и, наконец, стал на якоря. Метрах в ста от гирлянды белых льдин на береговой отмели.

От барж и пароходов к берегу поплыли лодки с завернутыми в одеяла и простыни умершими. Свертки были большие и маленькие. В одном была маленькая Алма. Ее мать, красноносая женщина со светлыми бесслезными уже глазами, прямая и гордая, перекрестила сверток двумя движениями ладони и передала свою младшую дочь на крепкие руки светловолосых парней.

Печальные свертки положили в ряд на крутом берегу, пока похоронная команда искала подходящее место для могил. Было ясно, что внизу, у уреза воды хоронить нельзя, это все равно, что бросить умерших в реку. А наверху, в лесу, пожалуй, земля еще не оттаяла от зимних морозов, да и скала может оказаться близко под оттаявшим дерном.

Непростым делом оказалось найти приют телам, так не вовремя покинутым своими истерзанными душами. Затянувшаяся процедура похорон как-то потеряла свою печальную торжественность и значительность момента прощания.

Но где же все-таки Вильгельм? Страшно было пойти искать его в трюме, но чувство долга и артельной обязанности заставили меня преодолеть страх.

По широкой грузовой лестнице, обставленной по краям цветными туалетными горшками, я спустился в полумрак трюма, где в спертом воздухе спрессовались запахи жизнедеятельности и смерти многих людей. Хотелось пробкой вылететь оттуда, из этого круга ада, но я искал друга среди рядов креплений и балок, в проходах между ящиками и мешками. Пробирался по спящим людям, обходил тех, кто метался в бреду, готовясь покинуть нашу прекрасную землю.

Где-то в дальнем углу подобием стона пробивалась к палубе финская песня, и я пошел на ее печальный зов. Правда, песня звала не меня, а Бога, просила простить какие-то грехи. Мои ноги обхватила растрепанная женщина. Я подумал, что пьяная и попытался силой высвободиться, но тут же сразу узнал ее.

- Толик, Тойво, - кричала она, - где мой Вилли - ангел, ты знаешь? Вы же вместе были, где он? Скажи, где он? Он же любил тебя, скажи, пусть придет. Маму вот увели.. Задушили одеялом и увели злые люди!

Она пыталась подняться, но тут я понял, что она привязана на середине тела толстым пеньковым канатом к стойке крепления перекрытия. Узел за балкой ей не развязать. Соседи мне подавали какие-то знаки отрицания - не развязывай!

- Толик, найди Вильку, и я спокойно умру. Не хочу жить, ты не оставь его, он любил тебя, он за тебя мог убить, найди его, - и она начала лихорадочно целовать мою рубашку на груди и животе.

Мне показалось, я схожу с ума. Ясно слышу, что меня зовет Суло, плачет и поет ангельским высоким голосом.

Я обнял и сразу оттолкнул сошедшую с ума мать моего друга. И вылетел на палубу, на мешки, где мама и мои маленькие братишки пели тихими голосами ту самую песню, которую я и слышал в трюме.

Песня завершала похороны. Я посмотрел в сторону берега, там оставалась одна лодка. От леса и скал спустились к воде два конвоира с винтовками. На фоне темных елей белел небольшой лютеранский крест.

Загремели якорные лебедки, пароходы дали по длинному гудку. На палубу поднялись конвоиры и зашли в рубку лоцмана.

Как будто ничего не случилось, караван двинулся навстречу показавшемуся ласковому солнцу. Снова плыли белые и голубые льдины, на одной сидели серые гуси -они почему-то знали, что эта льдина доставит их мимо Енисейска и Туруханска в низовья Енисея на их морозную родину.

Следя за длинной льдиной с умными птицами, я не сразу заметил, что там на высоком мысу, где наши неглубокие могилы, горит тайга. Белесый дым уже широко разлился над голубым горизонтом. Я понял, что тайга будет гореть до тех пор, пока не нагрянет хороший майский дождь. Светлый дым образовал высокое облако, похожее на неуклюжий гигантский гриб.

Тяжелая, неожиданная догадка поразила меня, и я совершенно ясно представил себе, как это все произошло там, в лесу на высоком яру.

Одной лопатой и двумя кайлами в мерзлой скале могилы вырыть не смогли. Положили на землю ряд сухих валежин, на этот неуютный плот положили свертки с трупами, а сверху еще положили три наката сухих стволов и упавших сухих еловых ветвей со всякой сухой таежной трухой. Такие жертвенные костры устраивали давно наши предки. Да и сейчас делают ночные костры в честь праздника Юхануса на моей оставленной Родине...

Мы плывем по широкой Ангаре. Я не знаю, куда мы плывем, и это даже не столь важно. Меня больше интересует, откуда, из каких земель течет эта река, каждый миг, каждый час, века и вечность?

Я даже не знаю, кто живет на этой реке. Кто жил раньше, кто будет жить здесь после? Кто оставил после себя курганы и писанные камни на ее высоких берегах?

Многие ушли в землю прахом и в небо горьким дымом, не оставив ничего на земле, кроме зыбкой людской памяти, которая тоже растает как дым над тайгой светлым майским днем тридцать первого года.

Глава VI - ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО. ДОРОГА В ТАЙГУ

- Ночлег в шалаше у кладбищенской рощи.
- Иммуитет сынов степей сибирских.
- Генеалогия ангарских сел и автодорога от пристани.
- В тайгу за спасеньем от цинги - черемшой.
- Почему расстреливали и красных партизан ?
- Побег, который не смогли пресечь.
- Уроки жизни при ловле ершей.
- Как решила вечный вопрос комендатура.
- Чудо красок Мотыгинского тракта.
- До космических спутники появились в Сибири.
- Золотая Южная тайга, Гадаловский прииск.
- Не уйти от судьбы? Но тогда что зависит от самого человека?..

Не все ли равно, где высаживаться на берег? Но то, что нас высадили на сельское кладбище, притаившееся в красивом березовом лесу, мне казалось символичным. Меня никто не учил бояться чужих могил, но было мне почему-то страшно. Я не хотел вступать в глубину этой печальной рощи. Опустив на землю братика и сумку с бельем, я плакал, уткнувшись в ствол березы. Тут мы и сложили свои свертки и корзины. За открытым полем виднелись серые заборы и крыши деревни, а за ними голубой купол церкви на скальном обрыве высокого берега. Недалеко от края леса на поляне маячила редкая цепочка людей с ружьями - караульщики, местных парней, мобилизованных на помощь не уплывшим с караваном конвоирам.

Кончался ветреный весенний день. Надо было как-то ставить шалаш на случай возможного дождя. Отец пошел объясниться с караульщиками, и они указали ему в сторону розового березняка, который светился на вершине обнаженного холма.

Как я понял, дороги в лес не охранялись. Я было собрался в лес с Хейкки и отцом, но отец остановил меня:

- Будешь комендантом. Смотри, чтобы те, видишь за караульщиками стоят, юные сибиряки не утащили что-нибудь.



Ленинградские и забайкальские спецпереселенцы на строительстве Мотыгинского тракта, лето 1931 г. В первом ряду – мой отец и брат Хейкки. (стр. 38)

И рядом с нами и по всей кладбищенской роще устраивались люди. Городили шалашы из одеял и шалей. Кое-где задымили костры.

Вернулись отец и Хейкки. Настоящих еловых лапок для шалаша не нашли, но то, что они принесли вполне устраивало нас - это были лапки какой-то мягкохвойной сибирской ели. Приторно ароматный запах этих веток забивал все - казалось, вся роща и старые кресты пахнут необыкновенной свежестью весны.

Совершенно некстати налетел дождь с холодным порывом западного ветра и градом. Многие не успели построить укрытия для ночлега, пожалуй, не успели поесть. О горячей каше или чае и разговора быть не могло.

Так вот, очередным испытанием на стойкость и терпение, закончился этот интересный, полный событиями день.

Прикрытые родителями и ворохом влажной одежды, мы заснули. Я проснулся с восходом солнца, когда от земли, от людских берлог, от самих согбенных людей подымался пар к вершинам еще голых берез. В другой обстановке это могло бы казаться забавным, но я был окутан мрачными думами: что сегодня будет, что -завтра и послезавтра? Проще тем, кто умер сегодня ночью, и вот души их вместе с легким испарением, пронизанным голубыми лучами солнца, возносятся в небо, в небытие.

Я пошел искать уединения вверх по склону, где в конце оврага густел кустарник и не было видно убогих ночных стоянок. Лагерь просыпался. Кто-то пытался развести костер, но не было под рукой ничего сухого - ни травы, ни веток.

В овраге я застал картину, от которой мне стало тошно: выброшенную тушу погибшей лошади обрабатывали ножами ползающие старухи. Красные куски мяса на палочках жарили на костре, варили в котелках. Грязные дети, облизывая руки, ели эту полусырую пропастину.

Судя по одежде, здесь у оврага обосновался лагерь забайкальских русских и читинских бурят. Видно, у этих вольных сынов степей был крепкий иммунитет, выработанный веками кочевой скотоводческой жизни. Возможно, наши обычаи им казались бы наивными: умершее от болезни животное сжигалось.

Не менее меня удивило и опечалило то, что я увидел на обратном пути к своему шалашу. Во многих кострах горели старые кресты, сохранившие еще какие-то признаки сухого дерева. Бессонная холодная мокрая ночь сделала свое дело: люди в отчаянии теряли какие-то моральные свойства, которые их раньше сдерживали от необдуманных скверных поступков.

- Бойтесь Бога, не все еще потеряно, зачем сами себя толкаете на тяжкий грех, - тихим голосом увещевал двух парней больной старик.

- Мы, отец, здесь новые кресты поставим, белые. На том краю лагеря уже есть трупы - далеко ходить не надо.

Эти тяжелые шутки начали сбываться уже назавтра. Запущенное унылое кладбище села Рыбного украсилось нашими строгими лютеранскими крестами.

Чтобы не вспоминать те солнечные дни лета тридцать первого года - безысходные, голодные, хочу предложить нечто вроде справки о селе Рыбном. Точной даты основания села мне никто назвать не мог, но какие-то записи свидетельствуют, что в середине семнадцатого столетия здесь уже распахивали землю под овес енисейские казаки Баженовы и Пономаревы. Фамилии других первопоселенцев носят некоторые ангарские деревни - Денисово, Зайцево, Бельское. Их предки пришли с северной Руси. Подобные фамилии часто встречаются в Архангельске, Каргополе и в Великом Устюге. В ангарских селах, особенно в Каменке, сохранился тот северный русский говор - своеобразный, архаичный, яркий.

Похоже было, что наша многоязычная спецпереселенческая группа была первой крупной ссылкой на этих берегах, отношения с местным населением, как мне казалось, складывались вполне доброжелательные. Любая община - неоднородная и поэтому я не принимаю целиком на веру славу о сибирском гостеприимстве.

Наше пребывание в ангарских селах было временным. После санитарно-профилактических процедур - укулов от тифа и стрижки под машинку нас расселили в школе, в сараях, красных уголках и иногда в частных домах.

Наша семейно-соседская группа угодила в дома Баженовых - это старики и дети. Работоспособных мужчин и женщин повели этапом на строительство автодороги от пристани Мотыгино на Ангаре до Южно-Енисейска - административного центра огромного золотопромышленного района.

На первый участок строительства от Мотыгино до Мостовой пошли отец и Хейкки. Они стали получать рабочий паек - 600 граммов белой муки на день и соленую красную тихоокеанскую рыбу.

Нам, неработающим членам семьи, тоже давали по 200 граммов муки на день, только безо всяких добавок. В те годы в Ангаре было много рыбы - ершей, сорожек, пескарей. Мы, дети, налавливали на добрых две кастрюли густой ухи за один выход. Давно ли мы из дома, от нормальной пищи, но уже признаки тяжелой болезни - цинги - резко обозначились у каждого из нас. Стали шататься зубы, десны сочились черной кровью. У стариков опухли ноги, на голених появились черные пятна.

- Напрасно мы с кладбища сюда поселились, - ворчал дядюшка Яков, - людям только мешаем, а все равно туда придется перебираться.

У фельдшера никаких снадобий от этой напасти не оказалось. Спас от верной смерти нас старик Баженов Иван Иванович. Как только проклюнулась первая листва на березах, он взял ружье, шляпу с накомарником и поднял нас - мальчиков и ходячих женщин: - Идем в тайгу за черемшой, - объявил он, - не бойтесь, все будет хорошо.

Черемша - это дикий чеснок. Эта неяркая травка собрала в себе всю силу целительных витаминов сибирской тайги. Мы рыли мох и прелую листву, чтобы достать розовые молодые побеги черемши, тут же съедали эти резкие и горькие корешки. Старикам давали отвар и толкли сочные корни в ступе, так как они не могли жевать в сыром виде эту чудо-пищу.

Хотите - верьте, хотите - не верьте, на третий день черемшотерапии перестали кровоточить десны и шататься зубы, на пятый день старики выползли на солнце и потребовали ухи, а на десятый день пошли сами на рыбалку.

С субботы на воскресенье ночью появлялся отец с ношей муки, перловой крупы и даже растительного масла. Он надевал белую рубашку и вел нас на берег Ангары, где мы демонстрировали ему свое умение по многим необходимым в жизни вещам - разводили костер, плели тапочки из березового лыка.

Письма на родину мы отправили сразу с отплывающим караваном, и вот теперь в одно из воскресений нам вручили несколько писем ответных. Родители читали и плакали - плохие вести пришли оттуда.

Писали тетя Лиза и дядя Давид. Для меня самым важным было письмо от брата Эйно. Он писал, что бывал в нашем доме, хотя уже знал, что нас там нет, но хотел посмотреть наших добрых домашних животных, побродить по родным лесным дорогам, где он гонял овец. О самом горьком событии он не сразу решился сообщить, но все же на третьей странице тетрадной пары листков написал, что наша кормилица - большая черно-белая безрогая корова - задавилась.

Старшую доярку Анну Сиитонен кто-то застрелил. Она в год рождения Вяйне была у нас домработницей, много помогала маме, но однажды призналась маме, что ее вызывали на особый пост в Катумаа и она там обещала все рассказывать - что мы говорим, кто у нас бывает. Мама подарила ей что-то из своей одежды и отпустила с Богом. Так как Анна хорошо знала наше хозяйство, ее колхоз назначил на наш хутор старшей дояркой, а вот теперь кто-то застрелил ее?!

Летнюю ферму будут убирать от нас, писал Эйно, никто туда со скотом ехать не хочет. Медведи стали приходить к самому телячьему загону, нет больше пса Меркки, который запросто обращал в бегство медведицу с пестуном и медвежатами! Застрелили его тоже.

Эйно писал, что был у него дом, когда мы были там. Теперь, когда нас там нет, он не может видеть наш запущенный, никому не нужный хутор.

Мне он советовал штурмовать русский язык. Обещал следующее письмо написать на русском. В письмо был вложен журнальный листок с его стихами. Из школы Эйно собирался перейти в кооперативный техникум - там давали стипендию.

В воскресенье вечером отец уходил на стройку дороги по лесным тропинкам, чтобы не встретиться с караульщиками, каждое утро он в семь часов обязан был приступить к работе в бригаде. Отец взял с собой долгожданные письма показать их Хейкки и поделиться вестями с родины с земляками.

Старик Баженов иногда будил меня на рассвете, брал с собой на реку, где у него стояли ловушки-переметы на осетров и стерлядей. Когда Иван Иванович вытаскивал с глубины-перемет и снимал мучившихся на крючках рыб, я сидел на веслах и придерживал лодку в нужном положении.

Донную траву и насевшую на крючки труху старик убирал старательно, проверяя каждое острое жало крючков. Иногда мы снимали перемет и сушили его на берегу. Старик круглым напильником подтачивал и без того страшное орудие лова. В мою корзину Иван Иванович как бы незаметно клал несколько мелких стерлядишек-костерей. Основной улов с реки он нес на колхозный приемный пункт. Обедать Баженов ходил в колхозную столовую.

Иногда в нашем доме появлялись его взрослые дети. К сожалению, я не умел поддерживать их добрые беседы. Где они работали, что делали - я не знал, но однажды проснулся от того, что мне наступили на ногу. Куда-то в ночь уходили парни, тепло одетые, с ружьями.

Старик как всегда взял меня с собой на реку. В это утро он подолгу всматривался на дальний берег, где находилась деревня Денисово. Оттуда начиналась конная тропа в еще более глухие деревни Ангаро-Тасеевского междуречья. Возможно, Баженов оттуда ждал возвращения тех парней?

Они вернулись как-то ночью, и вместе с ними в дом вошла тревожность. Старик несколько раз выходил в подсобные строения, возвращался в дом, что-то искал в посудном шкафу и снова выходил. Мама, как всегда быстро все поняв, не говоря ни слова, протянула Баженову нашу аптечку, где были бутылочка с иодом и бинты.

Потом за чайным столом я увидел вместе эту группу сельских парней. Они тихо разговаривали, кого-то тихо упрекали, им снова надо было уходить куда-то.

После в течение нескольких лет по крупицам фактов и противоречивых слухов я пытался выяснить суть тех таинственных событий лета тридцать первого. Газеты ничего не сообщали, но земля, как известно, полнится слухом, и слух тот сформулировал известие о кулацком восстании в селах Тасеевской волости. Странно, но арестовывали и расстреливали почему-то бывших красных партизан.

С 1935 по 1938 годы я находился в интернате Южно-Енисейской средней школы. Жили дружной семьей по законам общежития дети спецпереселенцев и вольнонаемных. И жили с нами ученики старших классов из тех таежных сел, где шли бои между красными партизанами и регулярными частями Красной Армии. Побывав в Канске в краеведческом музее, я увидел фотографию, где товарищ Буденный сидел среди делегатов съезда колхозников районов, охваченных кулацким мятежом.

Газета «Красноярский рабочий» информировала задним числом о приезде в Красноярск товарища Сталина.

Через 50 лет та же газета с небольшими комментариями рассказала о «рабочем визите» отца народов в Красноярск для ознакомления с хлебозаготовками в Красноярском округе. Такая вот честь была оказана краю, который никакой заметной роли не играл в зерновом хозяйстве страны!..

Разумеется, тогда, в 1931 году, я не мог задавать никому вопросов о тех событиях и никто не стал бы мне на них отвечать. Чувствовал, что-то не клеится вокруг, что-то идет со скрипом, ломается, видел - голодают и умирают люди, привезенные сюда для восстановления и налаживания народного хозяйства, - все это было далеко от нормального.

Некоторым нашим ленинградским семьям удалось уехать, а то и возвратиться в Ленинград - в основном тем, у кого остались каким-то чудом паспорта и имелись деньги. Под прикрытием ночи рыбинские парни сплавляли на лодках беглецов до пристани Стрелка, а там уже - регулярные рейсы пароходов на Красноярск.

Но чаще всего попытки побега заканчивались тем, что когда сплавщикам уже вручены были деньги и лодки были готовы к отплытию, неожиданно из тайги во главе с оперуполномоченным появлялись вооруженные комсомольцы-добровольцы и возвращали беглецов назад в «уют» переполненных сараев и домов-общежитий.

После двух не удавшихся попыток побега с детьми и матерью-старушкой молодая женщина среди белого дня на виду у всей деревни забрела в Ангару в одежде, махнула рукой в сторону оставленных детей, и спокойно ушла под воду. Ее белые волосы как-то медленно скрывались, завихряясь плоским веером. Этот побег никто не смог, растерявшись от неожиданности, остановить. Все были просто потрясены, я никогда не чувствовал себя так плохо, как в тот момент: мне казалось, что в мире властвует одно предательство.

Яркие и жестокие события того лета как-то странно действовали на меня. Я перестал участвовать в играх, в которые меня втягивали и наши, и местные ребята. На ловлю ершей под церковную скалу я все же ходил, вместе с Суло и Вяйне. Вяйне прилежно воспринимал и осваивал уроки жизненной практики: где, скажем, быстрее откопать удильного червя и как насадить его на крючок, как пройти через куст крапивы без ущерба для ног в коротких штанах.

Суло частенько убежал от нас. Я не мешал проявлению его самостоятельности. А он быстро налаживал хорошие отношения с местными мальчишками, и они умели понимать друг друга и без знания языка. Появилась у него новая черта характера - быть первым в любой игре, даже когда явно не хватало силенок.

Меня мучил простой вопрос: что делать? Я бродил один по крутым склонам ручьев и оврагов, впадающих в Ангару, собирал неспелую малину и сушил ее, чтобы с появлением осенних холодов лечить братишек. Но все это казалось занятием несерьезным. Другое дело - попросить у старика Баженова старую лодку, отремонтировать ее. Потом можно собрать наших осиротевших за лето ребяташек и отвезти в Енисейск. Я слышал, что там принимают вот таких, как те девочки утонувшей женщины, которые умеют держать ложку в руке и самостоятельно ходить в туалет. Конечно, к осени я вернусь, но как же Вяйне и Суло будут тут без меня?

Однако пришел день, когда комендатура без меня решила мой вопрос - что делать. Разумеется с согласия отца и матери меня занесли в список большой смешанной бригады, которая отправлялась по строящейся новой дороге на золотые прииски Удережской тайги.

Брата Хейкки в этом списке переименовали в Федю, так считал удобным помощник коменданта. Были исправлены и некоторые фамилии. Лаппалайнен сделался Лопатиным, а Киискиляйнен в русском переводе - Ершовым.

Моему зачислению в список взрослых рабочих способствовало одно обстоятельство, вполне логичное. От нашей семьи - трое взрослых, трое маленьких - полагалось в бригаду занести двоих взрослых. Вот и сочли лучшим вариантом посчитать меня взрослым. Кто-то же должен работать и при кухне, и пасти лошадей, и быть связным при бригадире. А мама с отцом и меньшими братишками должны поехать строить подсобное хозяйство для «Золотопродснаба». Там в тайге, где добывают золото, не растет, пожалуй, даже картошка, а здесь на Ангаре могут вызревать даже арбузы, если палец о палец ударить и почитать умные книги.

Прохладным августовским днем наша нестройная колонна двинулась в путь. До первой ночевки - до Асташевского зимовья - мы прошли по готовой песчано-гравийной насыпи новой дороги. Восемнадцатикилометровый участок готовой дороги белел и светлел на темных таежных перевалах, как подарок неба, сотворенный руками этих людей.

Дни и месяцы работы каждого на своем участке вдруг обернулись общим радующим глаз делом. И не было в нашей колонне ни тоски, ни уныния. Мы шли свободным строем, отдыхали примерно через час, много разговаривали, женщины даже смеялись по неизвестным мне причинам.

Под вечер один из конвоиров попросил меня заменить его на вожжах. Видно, у него отекли ноги от долгого сидения на вещевой телеге. Я недолго выдержал гадкое чувство своей слабости и исключительности, а посадил за вожжи Марию Лебедеву, маленькую дочь которой мы хоронили весной на Торгашинском кладбище в Красноярске. Мария шла в шеренге всей своей семьи, надеясь, как и многие другие, на хоть какую-то устроенность, на работу и кусок хлеба. Таким виделось светлое будущее.

Следующая ночевка была в зимовье «Раздольное» в долине реки Рыбной, среди тайги и невысоких крутобоких гор.

... Так вышло, что через пять лет я оказался снова на этом месте. Здесь гремел барабанами обогатительной фабрики сурьмяной рудник, выстроились желтыми рядами в тайге новые дома начальства, ИТР и бараки рабочих. Была даже небольшая зековская зона, как неотъемлемый спутник любой сибирской новостройки.

Я ехал тогда в Москву на экскурсию среди других отличников Южно-Енисейской школы и счастливо улыбался; никто из моих юных товарищей не знал, с чего это я расчувствовался и даже слезу смахнул с кончика носа. И впоследствии я наивно продолжал считать, что мой трудовой стаж начался со строительства Мотыгинского тракта, даже если не считать пары сотен тяжелых тачек щебня, которые я ради тренировки спины выкатил в насыпь в районе Мотыгино...

О Мотыгинском тракте написаны очерки, рассказы и даже стихи Алтайского, Мамина, Клещенко, которым посчастливилось проходить послелагерную бессрочную ссылку в этих местах. И могу только сказать, что это очень красивая таежная дорога, и когда мы шли осенью тридцать первого года, мне казалось, вся колонна как бы входит в праздник начавшейся осени, в симфонию красок, в начало новой главы новой жизни и с новыми мечтами.

На пятый день показался Южно-Енисейск, районный центр так называемой Удереиской Золотой тайги. Неофициальные названия у этого поселка - Гадаловский или Александро-Ивановский.

Это селение издали напоминает кавказский аул - у подножия и на склоне безлесной горы, похожей на гигантский опрокинутый котел, громоздятся его улицы - одна над другой, большинство домов - белые, по глинистой штукатурке покрашены раствором извести. Благополучный вид поселка, нормально одетые, сытые люди на улицах - все это предполагало начало возрождения золотодобывающего хозяйства на фоне первой пятилетки, объявленной на плакатах индустриализацией всей страны.

Наш этап отдыхал на ровной полосе неогражденного футбольного поля, так что нас ничто не отделяло от любопытных. Конвой вел какие-то переговоры с районной комендатурой.

На ночлег мы устроились после трехчасового марша на пустующем Ефимовском прииске. К чести бывших хозяев этих промыслов, в каждом мало-мальском поселке имелся большой амбар, чаще двухэтажный, сбитый из крепких смолистых бревен. Один из нижних отсеков был закрыт на замок, охраняющий, очевидно, запас муки. Все остальные помещения были пусты и открыты. Места всем хватило под крышей. Хозяйствовала здесь временно финская семья - Анна и Матти Реди. Они ждали бригаду, но оказалось - не нас. Здесь должна была поселиться дорожно-строительная бригада, о которой мы ничего не знали.

К вечеру следующего дня мы дошагали до Почетно-Гражданского прииска, вскоре переименованного в Леоновский, а когда товарищ Ленов был объявлен врагом народа, прииск получил имя Кирова - под этим именем он числится в географической номенклатуре Восточной Сибири.

По данным золоторазведки, долина реки Удереи до впадения ее в реку Каменку хранила в своих недрах богатые залежи россыпного золота. Здесь нам предстояло построить электростанцию, которая даст жизнь огромной электрической драге - плавучей золотопромывочной фабрике.

Драга - в общем-то землечерпалка, но она не просто углубляет дно реки, а добытую со дна реки горную породу - камни, гальку и золотоносную песчано-глинистую массу доставляет бесконечной цепью металлических черпаков в промывочные барабаны. Идет гремящее, шипящее и плескающее отделение тяжелых блесток золота и платины от более легких пород - камней, песка и ила. Ради этой фабрики здесь формировался поселок. И, разумеется, первым делом следовало выстроить так называемый спецпоселок - длинные бараки и дом комендатуры.

С первого дня прибытия на этот прииск бригада плотников приступила к постройке бараков на вырубленном подчистую от тайги плато перед речкой Микчандой. В конце этого плато, ближе к реке Удерея, уже рыли котлованы под фундаменты паровых котлов и генераторов электростанции.

К декабрю, когда Ангара покроется крепким толстым льдом, пойдут из Иркутска, с завода дражных деталей, длинные обозы с тяжелыми металлическими частями золотопромывочных машин, из которых монтажники соберут крупнейшую в те годы драгу. Уже в низине, отгороженной дамбой от Удерея, работали паровые краны, размещались на монтажной площадке детали по очередности их монтажа.

Нашу бригаду определили на временное жилье в продолговатом новом цехе механической мастерской. Длинные, на весь цех, нары примыкали к большим окнам, которые я сразу принялся утеплять. Потом мне так же добровольно стали помогать женщины, которых не могли на целый день занять на кухне.

Варили нам суп два раза в день. Мы надеялись, что к зиме привезут много разной еды, и не надо будет хлеб делить чуть ли не до грамма. Непонятно было, почему здесь нет картошки, капусты и других овощей - всего того, что производят ангарские села: мы для супов получали смеси сухих овощей. А их сколько ни вари - даже картофельные пластики оставались твердыми.

До школы оставалась еще пара недель, и я попросился у бригадира заготавливать мелкие березовые дрова - таким образом я получил в свое пользование топор и трехгранный напильник. Недолго я осваивал доброе дело лесоруба, уже на второй день одним ударом перерубал тонкий березовый ствол толщиной со стакан. Брат меня хвалил. Он ощупывал мои окрепшие бицепсы и обещал к воскресенью сделать турник во дворе барака.

Чему только не приходилось учиться!.. Во время последнего выхода на лесосеку у меня оторвалась целиком подошва правого ботинка. Пришлось изобретать чехол из бересты и привязывать его к ботинку и ноге алюминиевой мягкой проволокой. Двигаться сначала было неудобно, но я быстро освоил прыгающую походку, в которой участвовала только пятка правой ноги.

Что-то затянулась выдача нам рабочих ботинок. Не помешали бы и сапоги! А работу в лесу пришлось отложить - нашлось более важное дело. У Юхани Каява открылся какой-то злокачественный свищ на животе. Пеший переход его замучил, он еще пытался здесь работать, а теперь вот собрался умирать. Мне наказали давать ему через каждые полчаса по полстакана какой-то горькой микстуры.

Утром, когда все уходило на работу, мы с Юхани меняли повязку и чистили рану от гноя. Пожалуй, кроме меня и заезжего фельдшера никто толком не знал, от чего погибает этот скромный терпеливый мужик. Он отказывался от еды, но охотно пил отвар брусники. Слава Богу, эта ягода была совсем рядом на косогоре. Не верю, что к работе санитара можно привыкнуть, во всяком случае, я не смог бы. Я пытался что-то преодолеть в себе, но был какой-то совершенно неодолимый для меня рубеж. Юхани видел, что я больше боюсь его смерти, чем он сам, и однажды после перевязки так тихо-тихо сказал мне:

- Потерпи, браток, еще немного. Я вижу уже светящиеся сны, когда отпускает боль. Мои ботинки возьми, они мне не нужны. В мешке есть белые носки, мне их достаточно. В кошельке немного денег - их возьмешь. Там и адрес сестры. Напишешь ей все как было. Если умру ночью, считай что мы с тобой уже простились. А теперь беги - мне ничего не нужно.

И я убежал в лес! Считал, что за брусничкой. Был серый глухой день. От строящихся бараков долетал вялый стук топоров. Синички зависали на ветках рябины, резко переговариваясь обрывками свиста. Юхани разрешил мне уйти - значит, он собирается умереть сейчас? Я не знал, вернуться ли мне в барак, где мой рабочий пост или. или позволить Юхани самому решить, распорядиться своими последними минутами. В эти дни иногда я заставлял Юхани в состоянии напряженного спокойствия. Туго скрещенные белые пальцы на груди, неподвижный взгляд в потолок, сдержанное дыхание и чуть заметные движения синих губ. Наверное, он молился в такие минуты.

Вернувшись в тот день в барак с неполной кружкой брусники, я застал Юхани в той же позе, в какой оставил, и обрадовался было. Но его правая рука как-то неловко откинулась на одеяле. Глаза Юхани были открыты, но в них не было живой сосредоточенности.

Я боялся прикоснуться к его запястью, боялся убедиться, что пульса уже нет. Понимал, что надо идти за фельдшером. Говорят, от судьбы не уйдешь, но что-то же должно зависеть и от самого человека. Почему, почему Юхани не стало?..

Фельдшера я нашел в конторке заготовительного цеха. Он, увидев меня, попросил привезти ему короткие березовые дрова. А я сказал, что Каява, наверное, умер, надо бы посмотреть.

- Хорошо, - коротко ответил фельдшер, - хорошо, что отмучился. Должно быть, прободение брюшины. Что поделаешь, судьба.

- Вы тоже думаете, что судьба есть?..

- Это так говорится. Человек должен за себя бороться, за жизнь, за здоровье, а иначе - вот такая наша судьба.

Смерть Юхани Каявы была в нашей артели первой, но она прошла как-то незамеченной, как нечто рядовое. Перестал ли я с тех пор бояться смерти? Не знаю. О завещании Юхани я не сказал никому, значит, чего-то все-таки боялся. Но обещание выполнил, письмо сестре Киявы написал, очень печальное, подробное и закончил фразой: «Такая вот вышла судьба...»

Глава VII - МОЯ ГИМНАЗИЯ

- ...Третьего принял на "калган".
- Наука рисовать хаоса движущую силу.
- Первый портрет с натуры и конный Ворошилов на фоне Кремля.
- Лыжи из еловых досок.
- Дышали ль вы морозом "активированного" дня?..
- Направление мечтаний.
- Вернисаж над нарами.
- Миска супа от самого бригадира.
- Светоликий ангел искусства.

Школьные дела мои складывались неважно. По знанию учебных предметов я мог учиться в третьем классе, но совершенно безграмотно писал диктанты, даже очень простые. Ни о каких персональных подсказках и дополнительных занятиях со мной речи быть не могло. А выполнять задания по первому классу было скучно: я вполне хорошо писал уже во втором классе нашей сельской финской школы.

Был, правда, такой предмет - чистописание, по которому я имел некоторые успехи: переписывал заметки для стенной газеты. Это доверялось далеко не всем. И вот теперь, чтобы не выводить части букв и составлять ряды букв-близнецов, я переписывал небольшие рассказы и кусочки стихотворений из книги «У станка». Старался понять, как изменяются слова, согласно их места и значения в ряде других слов, как формируется мысль. Порой даже заучивал то, что не мог понять:

*... Гул и рокот шестерней,
Шорох, шепот, шум ремней-
Нет чудесней, нет сильней
Этой песни наших дней!*

Учитель вполне одобрительно относился к моим занятиям, но тут он почему-то попросил меня прочитать вслух на весь класс, что я написал. Пришлось читать. Я тогда плохо владел произношением шипящих согласных и многочисленные эш путал с че и эс. Это вызвало общее веселье у класса и довольную, мне казалось, улыбку учителя Портнягина, и он попросил меня повторить неудачную попытку - прочитать еще раз. Я прочитал второй раз - отдельно каждое слово, не торопясь: что-то перехватило горло, я чувствовал, что теряю зрение от злости и - сел без разрешения.

За такую вольность тогда ставили в угол рядом с классной доской - это успокаивало. По жесту учителя я понял все правильно и сам направился в угол, прихватив с собой книгу и тетрадь. Стоял в углу и косо поглядывал в окно, за которым падали редкие желтые листья - каждый по своему совершая свободный полет падения.

Потом я стал замечать, что, глядя на меня, перешептываются и улыбаются девчонки. Я не сразу догадался, что их развеселили мои полосатые носки, напаянные сверху вконец развалившихся ботинок. Наконец, это заметил учитель и вновь заулыбался, глядя на мои ноги. Это послужило сигналом для нового приступа общего веселья, чего я уже не выдержал - пошagal на выход.

- Назад, за парту! - послышалось сзади, и мне на перехват с первой парты первого рада кинулись два недоросля вроде меня, отесняя от двери. Тут бы сказать, что я оказал сопротивление - нет, я напал на вполне исполнительных мальчиков. Удары мои были точны - в нос и в нос. Подоспевшего на помощь тем двоим третьего, высокого со второй парты принял на калган - это значит, удар головой во всю физиономию.

Кто-то пытался меня схватить за голову сзади, но я невзначай ответил запрещенным ударом, которому меня учил мой друг Вильгельм Рыжий - где же ты, Виля! Спина к спине - мы тут наломали бы дровишек, но и так выход к дверям я себе освободил.

- Вы что, как собаки, на одного, - кричала высокая девочка Агния Бутина, шлепая по головам сморкающихся неудачников. Кто-то пискляво плакал.

Должен пояснить, что занятия первого и третьего классов одновременно в одном помещении вел один учитель. Вскоре после того урока его заменила вполне приятная учительница Нина Алексеевна.

В бараке дежурила и варила суп старая женщина. Я положил книжку и тетрадку под сверток своей постели, и, захватив топор, пошел на лесосеку, где кромсал молодой березняк мой брат Хейкки, которого русские напарники стали звать Федором, так и я здесь буду его называть. Я принялся рубить березки с таким рвением и азартом, что Федор рассмеялся:

- Сила есть, ума не надо! Да ты перерубай наискосок, как я показывал, кто же поперек рубит?

Тут он заметил мою, в розовых ссадинах, руку, внимательно посмотрел и уже тихо заметил, что иногда нужна разрядка, но руку надо беречь:

- Это твой струмент.

- Инструмент, - поправил я и продолжал рубить.

Вернулись мы в барак вместе, с некоторым опозданием. Наша порция супа неприкосновенно ждала нас на плите. Подошел бригадир и сообщил, что приходила большая группа школьников, что просили прийти завтра в школу. Я, глядя на свои зачехленные в носки ботинки, сказал, что пока в школу не пойду, там мне делать нечего.

Утром с братом ушел на лесосеку, но к обеду он меня освободил от топора, отправил в барак. От Юхани осталась мне в наследство общая тетрадь. В ней были написаны тексты нескольких финских песен, почему-то в конце тетради. Наверное, это были последние ниточки, что связывали его с юностью, родиной и мечтами. Хотя и в клеточку тетрадь, а рисовать можно!

Пока не выдадут сапоги, в школу не пойду, так я решил, и Федор меня туда не гнал.

Каждый вечер в нашем вновь рождавшемся поселке что-то менялось, строилось. Стоило появиться новому дому, где еще стены не просохли от инея, еще дымила новая печь, как ее занимала приехавшая семья.

Мне казалось, все вольнонаемные специалисты были большими начальниками. Они озабоченно ходили среди хаоса не убранных под крышу дощатых решеток с деталями машин, гигантскими рулонами свитых в палец толщиной алюминиевых проводов, тяжелых гирлянд стеклянных амортизаторов. На возвышенности, отвоеванной у тайги, топографы обозначили кольями и флажками места котлованов для фундаментов под гигантские паровые котлы, которые пока мирно дремали в неловких позах среди громадных пней и поверженных пихт и лиственниц.

Мне почему-то нравилась эта неразбериха плохо организованного труда: суета и ругань бригадиров, нестройный бег за тяжелой тачкой сильных парней, спокойные дирижерские жесты топографов, гоняющих сразу в нескольких направлениях чучело-подобных женщин с пестрыми длинными рейками. Я чувствовал, что во всем этом движущемся хаосе формируется сила, неумело пока расставляя все по местам - но настанет день, когда все заработает. Задымят трубы, запыхтят паровые машины, передавая свою силу электроделательным машинам, задвигается, как оживший мамонт, электрическая драга в глубоком котловане, нащупывая длинным хоботом движущихся по цепочке стальных черпаков в темных холодных недрах золотоносную породу.

Я пытался все это нарисовать, но не догадывался тогда делать это с натуры. Стеснялся и боялся - и не знал, кроме стола, другого места, где было бы удобно рисовать. А главное - на листок тетради мало что входило. Отдельно я рисовал мужиков, бегущих за тачкой, или отдыхающих в упряжи лошадей. Такие сюжеты входили на листок.

Первым рисунком, выполненным с натуры, был портрет больного старика Ерилова. Он сидел в шапке и овечьей шубе в углу нар. Резкий свет из окна делал его лицо очень понятным: глубокие складки на щеках, узкие глаза под высоко поднятыми бровями, сдвинутый налево незакрывающийся рот - все это принадлежало только ему, и тут было за что зацепиться, исправлять, сравнивать рисунок с натурой.

Что-то словно зажглось у меня внутри, когда рисунок стал походить на живого старика. Подошла дежурная повариха и сказала, что дед Филат похож на филина. Дед попросил показать рисунок ему. Я отдал рисунок, но сам отошел к печке, издали наблюдая украдкой. Дед посмотрел на рисунок близко, потом - на расстоянии вытянутой руки, и что-то потеплело в его лице. Те же складки возле губ, те же морщины на лбу, но все это вместе как-то ожило и светилось теплом. Вообще старик повеселел. Поняв это, я, пока он не попросил подарить ему рисунок, спрятал свой листок в папку, куда складывал другие свои рисунки.

Портрет поварихи Марии не удался. Круглое красное лицо совсем без морщин, белые редкие брови, толстые красные щеки, как у матрешки - ну не за что рисовальщику зацепиться. Вот были бы краски, пожалуй, можно одолеть ее нежелание продолжать работу над этим портретом. Мария рассердилась. Я спрятал в папку и этот рисунок, который надо бы уничтожить, но хватит с меня и того, что Мария так рассердилась.

Мне тогда приходилось часто рисовать по просьбе соседей по нарам. Портретами эти детские опыты не назвать, но я пытался добиваться сходства, и когда это удавалось, рисунок мой в письме ехал в Забайкалье или на Украину к родственникам заказчика.

С появлением снега и морозов я был наглухо связан с бараком, и тогда Семен Харзия из своего фанерного большого баула выдал мне жизнеописание графа Монте-Кристо на финском языке. Несмотря на обилие малопонятных слов, эта книга помогла узнать то, чего я не мог найти в скромном бытовом словаре.

Поступила партия рабочих ботинок большого размера, их распределили самым обносившимся работягам. Пришла и партия валенок малых размеров, ее распределял комсод - комиссия содействия, она представляла профсоюз, партком и начальника строительства. В этой комиссии были только представители вольнонаемного контингента. Я остался вне списка, правда, не очень обиделся.

Как-то вечером в наш барак пришел помощниккоменданта и кто-то из комитета профсоюза. Подозвали меня и предложили нарисовать Ворошилова на коне на фоне Кремля - нечто вроде плаката. По жестам гостей я понял, что рисунок должен быть величиной в развернутый газетный лист.

- Такой бумаги нет, красок нет, - словно оправдываясь, выдавливал из себя.

- Да пошли их, Толик, в женскую баню. В чужих калошах бегаешь в сортир по морозу - этого никто не видит, в школу не ходишь - никому дела нет, а им рисуй Ворошилова! - запальчиво говорил Ваня Ерилов, самый молодой из рабочих нашей бригады.

- Как нет обуви? - удивился председатель профкома. - Он же был в списке на валенки по заявке комендатуры.

Гости переглянулись.

- Валенки будут, бумага будет, краски будут.

На следующий день явилась эта же группа, но в более расширенном составе. Все обещанное принесли. Я хотел заплатить за валенки, но услышал, что это от комсода, бесплатно. А фуфайку и шапку, мол, пусть брат получит на складе.

Валенки меня спасли. И настроение изменилось, и школьный конфуз уже не казался таким страшным.

В школу я пришел с готовым плакатом - два дня старался, трудился в пустом бараке. К приходу на обед или к ночи любопытных жильцов я прятал плакат под нарой за коробками со стружками.

Мне показалось, что моему приходу обрадовались все. Плакат я развернул в учительской, но сказал, что это сделано по заказу профкома.

Оказалось, что в класс поступил еще один финноязычный мальчик - Эйно Кяхяри. Он оказался здесь в составе большой семьи, его сестры и братья были уже взрослыми крепкими рабочими, а отец выглядел глубоко старым человеком - был освобожден из тюрьмы и последовал за женой и детьми в сибирскую тайгу. Эйно оказался более подготовленным по русскому языку, обладал довольно хорошим произношением глухих согласных и группы ненавистных мне шипящих.

В первое же воскресенье мы с ним выпросили в столярной мастерской две еловые доски, в которых не было больших сучков, распилили на двухметровые бруски и принялись мастерить лыжи. Руководил работой Федор - у него имелся опыт в этом деле.

Со столярной частью мы справились быстро, но распарить в кипятке тонкую пластину лыжи и загнуть носок оказалось делом, требующим терпения и выдержки. А прокалку смазанных смолой лыж на малом огне костра пришлось отложить на следующее воскресенье. Без соблюдения этой технологии хорошие лыжи не получишь.

Сильные морозы наступили как-то сразу. В понедельник бригады вышли на работу, но к обеду вернулись в барак. Оказалось, земляные работы производить невозможно. Глина под костром плохо оттаивает, и если даже удастся загрузить тачку и откатить ее до отвала, глина за это время схватывается морозом в камень и сбросить ее с тачки нет сил - надо снова оттаивать.

В такие дни, когда воробьи падают на лету, а воздух при выдыхании издает глуховатый звон, когда крошится стальной топор от удара в мерзлое тело лиственницы, люди имеют право на выходной день - «активированный день». Да и школьники сидят дома, нечего делать в темный от морозного тумана день на улице - нос и щеки прихватывает сразу.

Один из таких дней мне запомнился, он как-то сразу определил направление моих бесконечных мечтаний. Подошел бригадир Павел Тиигонен и попросил показать рабочим мои рисунки. Рисунков хватило на все простенки между окнами. Мы их крепили острыми заточенными щепками лиственницы к щелям в бревнах плохо выструганной стены. И вот над нарами, над свернутыми постелями развернулась цепочка наших однообразных трудовых дней. В основном, это были рисунки сибирских деревьев, которые меня удивляли непохожестью на наши «ленинградские». Были и жанровые рисунки - Эйно Хиппели чинит валенок, или Семен Измайлов обнимает повариху Марусю.

Больше я стремился рисовать людей и лошадей в работе, в динамике движений. Сделал, помню, рисунок на куске обоев - длинный, более метра - цепочка бегущих с тачками людей. Тут я старался сделать моих героев похожими. Были и украдкой сделанные портреты, но мои зрители их восприняли, как карикатуры и шумно обсуждали и смеялись. Мне же казалось, что смеются надо мной, над моими беспомощными работами, и я

готов был провалиться сквозь нары. Но не провалился, а наоборот - влетел над нарами в какое-то новое состояние души, щемяще-сладостное, оно властвовало над суетой, над тихими разговорами у моих рисунков, над неожиданным чувством торжественности, которую я ощущал в такие минуты в прокуренном воздухе барака.

Ощутил на себе взгляды старших товарищей - благосклонные взгляды. А во время обеда бригадир посадил меня рядом с собой, и я, представьте, как должное принял полную миску супа с большим куском конины.

Я поверил тогда, что мой труд тоже достоин уважения, внимания и еще чего-то очень важного, необъяснимого. Чем можно объяснить, почему после просмотра моих картинок люди не говорили громко, не ссорились, не дулись в карты, а садились писать письма, задумчиво слонялись по бараку, снова и снова подходили к моим работам.

Я тогда чуть не задохнулся от нахлынувшей гордости, от подступающего к горлу яда славы, капли которого сохранил в своей душе на долгие годы работы - и в дни опасливых сомнений, и в светлые минуты уверенности в себе.

Хорошо, что это острое чувство вспыхнуло в детстве - словно светлоликий белый ангел благословил меня.

Глава VIII - СНОВА ВМЕСТЕ

- *Настроения весны и надежды.*
- *Искусство варить суп из сохатого.*
- *О женском и мужском роде собаки.*
- *Топором вырубал автографы.*
- *Честный разве усидит на своем посту?*
- *Допрос о Кирове и льне на каменистой почве.*
- *Норма труда и голодные исполнители.*
- *"Добровольная" сдача ценностей.*
- *"Дети несознательные, просят есть".*
- *Что случилось с той белоголовой девочкой?..*

Как ни корежили все живое декабрьские морозы, холодили душу трескучие январские ночи, пронизывали до костей февральские вьюги, завывали даже в марте слепящие бураны, - а все же апрельское солнце принесло с собой радость приближения весны, легкость ощущения счастья, которое мерцало в синем небе, сверкало искрами на сугробах и теплилось надеждой в каждом сердце.

Стоило плотникам завершить строительство очередного барака, как из морозной мглы выплывал скрипучий обоз с новой группой спецпереселенцев, скопившихся в ангарских селах еще с летних караванов. Так неожиданно-негаданно приезжали семьи к тем рабочим, с которыми я делил наш мужской холостяцкий уют барака.

На счастливый случай я давно не надеялся, но все же вглядывался в лица закутанных в платки и шарфы неуклюжих, заиндевеливших в санях путешественников: нет ли среди них моих меньших братьев - Суло и Вяйне? Я часто думал о них, особенно когда меня не понимали в классе.

Оттесняя тайгу к речке Микчанде, поднимались новые бараки. Прибывали обозы с деталями машин, мукой, сеном и разновозрастным рабочим людом. Наезженные дороги связывали строительные площадки электростанции и драги с жилыми бараками и дальними лесосеками. Всюду двигалась, скрипела санями, стучала топорами и кувалдами жизнь во имя жизни - за работу давали еду. Все просто: хочешь жить - умеешь вертеться, работай. И не унывай. Цинга прежде всего метит тех, кто невесел, безвыходно тосклив.

Я не переставал встречать обозы, и вот, совершенно неожиданно, когда меланхолично разглядывал сидящих на санях закутанных людей, мне показалось, да нет, я, пожалуй, сразу узнал в сгорбленной тяжелой одеждой женщине свою мать. Наши взгляды встретились. Она как бы выпорхнула из-под длинной дохи и, выбираясь из нее, весело заговорила по-фински, куда-то оглядываясь:

- Суло, катсо, туосса он Тойво.

Братец Суло выкатился из саней и повалил меня в снег - подросток, отъелся на совхозных хлебах.

- Мисся Хейкки он? - спрашивал Суло.

Тут откуда-то, из толчеи остановившегося обоза, появился отец. На его руке повис Вяйне, розовый от мороза, толстоморденок. Он смотрел на меня, словно видел впервые. Неужели забыл? Говорю:

- Вяйне, пергеле, сина олет ёо суури миэс!

Я поднял его над головой, покружил и опустил в снег. У мамы в глазах стояли слезы. Я сжал ее теплые руки, она притиснула меня к своей холодной шали и спросила, хочу ли я есть. Я сказал, что не очень, но у меня в резиновом сапоге под нарой есть половинка соленой рыбыны и мука есть, я научился варить клецки, скоро продукты будут давать, должны дать на всех продуктовую карточку.

Пока я вел за узду нашу подводку к шестому бараку, где была наша с Федором нара, мама сообщила, что везет несколько булок хлеба и кружочек замороженного молока. Есть и куль картошки под сеном и половиками, если замерзла, можно еще спасти - круто заваривать кипятком и тут же варить.

В шестом бараке было много семейных нар, разделенных узкими проходами. Стояло несколько варочных железных плит с системой длинных коленчатых труб из черной жести для обогрева барака. Какие-то из плит топились постоянно. Здесь просушивали валенки, ватные брюки и брезентовые куртки, вывешенные вдоль трубы на проволочных сосульках от потолка.

По запахам, витающим в густом воздухе барака, я научился узнавать, где варят мерзлую капусту или старое соленое мясо: выдавали нам по кило на работающего в месяц черную, не похожую на мясо слизистую массу. Но бывали дни, когда в сыром воздухе барака господствовал запах лесного мха, еловых веток и осинового коры, пахнувшей йодом. В закрытые кастрюли не принято было заглядывать, но все знали, что рабочие на лесосеке завалили сохатого - это лось так называется по-сибирски. И вот по кускам носят из тайги из-под снега эту редкую добычу. Проходя мимо нашей нары, Аксинья Тарасюк как бы невзначай передала мне тяжелый сверток в грязной бумаге - это было мясо, кусок артельной удачи.

Я пояснил маме, что свежее лосиное мясо мыть не нужно - кровяную накипь снимем ложкой во время кипения. Мама согласилась, но осторожно заметила, что было бы правильно поделить этот кусок на четыре супа - растянуть на неделю. От сразу съеденного большого количества даже очень хорошей пищи толку мало. Мяса же есть более 50 граммов за один раз - это уже греховная расточительность, непозволительная роскошь.

Я же похвастался, что в морозную ночь попался мне в петлю большой заяц, мы его съели за два раза, правда, по чьему-то совету вымачивали в чугуне около суток. Может быть, и сегодня попадется заяц. Как чуть морозец, так они устраивают догоняшки по своим тропам, а я накануне вечером пару петель обычно навешиваю над тропой.

Возможно, мама и не поверила мне, но отблеск мимолетной радости осветил ее лицо. И еще я похвастался, что сами мастерим лыжи, правда, Федор помогает. И еще сказал, что в школе у меня дела налаживаются, в каждом слове уже не делаю ошибок. Конечно, трудно привыкнуть к родовым окончаниям русских слов. Собака укусила меня - это женский род, а если эта собака - кобель, то он уже укусил меня, это мужской род.

Мог бы я доложить маме еще о кое-каких открытиях, но тут подскочили братишки. Они уже осмотрели все уголки барака, познакомились с тетками и бабушками и даже сбегали в двухполовинную, занесенную снегом, уборную на пустыре за бараком. Они заявили, что им очень понравилась извилистая глубокая тропинка в снегу, ведущая к этому необходимому хозяйственному сооружению. Сказали, что и они на стене этой траншеи оставили свои отметины на разной высоте.

Наша разноязычная братва ради мелкого хулиганства ставила свои автографы русским алфавитом - до того обычные и стандартные, что мне теперь стало стыдно перед братьями, еще не тронутыми той несмыслимой грязью, которая оседает на душу чаще всего навсегда.

... Я доверил хлопоты по кухне маме, а сам, вооружившись лопатой и метлой, обновил стены снежного тоннеля - вырубил и смел там все глупости. Братишки наблюдали за моей сердитой работой, и я был уверен, что преподношу им пример правильного поведения в условиях невольного общежития.

Потом повел отца в комендатуру. Так полагалось - вновь прибывшие спецпереселенцы должны стать на учет и получить направление на работу. Дом коменданта, гражданина Кухоренко, стоял в центре барачных рядов. В одной половине он жил с семьей, в другой была комендатура, где он выслушивал не только взрослых, но и нас - иждивенческую молодежь. Любил он задавать разные неожиданные вопросы. Мне он казался человеком добрым, в отличие от многих казенных мужиков в синих брюках с отвислыми карманами. Я постучал.

- Войдите!

Я сильно дернул тяжелую, обитую войлоком и жестью дверь и в облаке морозного пара ворвался внутрь, втаскивая отца, почему-то немного оробевшего.

- Гражданин комендант, разрешите представить отца, прибывшего. - и так далее.

- Молодец! - комендант вышел из-за стола и неожиданно протянул отцу руку, как старому знакомому, - хорошие ребята у вас, Василий Федорович! Да и вас мы с трудом вырвали из совхоза. Мы ждем вас - мастером по лесозаготовкам или в хозяйственном цехе: это транспорт, конный двор, ремонт и строительство жилья. А если хотите по столярной части - нужен руководитель по изготовлению окон и прочей столярки для электростанции.

Отец поблагодарил гражданина коменданта за возможность выбора и попросил цех лесозаготовок. Там в основном наши ленинградские финны, они его лучше поймут и там он будет более полезным.

- Ладно, - рубанул по регистрационной книге краем ладони комендант, - пойдете к своим, они работают хорошо, но ведут себя немного отчужденно, да и по-русски пока плохо говорят.

- Надо организовать вечерние курсы по русской грамоте, пойдут все - молодежи это очень важно.

- Правильно говорите, Василий Федорович, - комендант помолчал, перебрал какие-то листки на столе, посмотрел как бы украдкой на нас и спросил:

- Тут какая-то судимость отложенная тянется за вами. За что? По какой статье?

- Вы, гражданин комендант, статьи лучше меня знаете. Обвинили в антиколхозной пропаганде, но это неправда. Я первый привел своих коров в общий колхозный коровник и разъяснил смысл колхоза на базе кооператива. С чем я был не согласен, так это с перепрофилированием нашего хозяйства. Я выступил против внедрения культуры льна в нашем районе, наши пригородные земли не годятся для льна. Нам выгоднее развивать молочное и мясное хозяйство. Мы кормим Ленинград, на это хватает наших каменисто-болотных земель и людских резервов. Лен - культура не нашей зоны, у нас нет рабочих рук на эту культуру.

- Выходит, что ленинградский обком и товарищ Киров не правы?

- Так выходит! - улыбаясь ответил отец, - разрешите получить назначение?

- Зачем же вас выслали, - как бы с обидой спрашивал комендант, - если вы обеспечивали город кормежкой - молоком, маслом. Как же это получается?

- Так вот и получается, - отвечал отец, - вы же знаете, что делается на Дону, на Украине, знаете, что назревает голод.

- Не могу знать, верю газетам и радио.

- А вы поговорите с людьми, так, по душам, они вам расскажут, кто еще не лишен права переписки. Здесь же люди со всех концов.

- Примете цех дровозаготовок. Нужно создать запас дров на два года. Подумайте, как увеличить производительность труда в два раза, меры поощрения обсудим вместе с начальником прииска. Да, этот разговор - между нами.

Мы попрощались и шли молча по единственной тропе в сторону больницы, а оттуда к своему барaku. За ужином отец как бы для себя сказал, имея ввиду коменданта:

- Парень он, по-видимому, честный, но не усидит на этом посту. Что же нам делать, мои мальчики, если меня снова арестуют?..

Этот вопрос как бы для себя задавал мой бедный отец. После нашей семьи с попутными обозами привезли еще несколько финских семей, но бригады лесорубов были уже в основном сформированы. Их поселили на лесосеках во временных бараках, чтобы не теряли время на дороге каждый день.

Житье в лесу было неприятным испытанием, особенно для молодых женщин и девочек. Все, кому исполнилось шестнадцать лет, должны были начать свою трудовую жизнь с дровозаготовок. Ну как они могли справиться с положенной нормой, эти женщины и девочки? Следовательно, и паек им выдавали в урезанном размере. Такая вот была нелепая взаимосвязь между нормой труда и голодными исполнителями этой нормы.

Помню, однажды ночью в наш барак заглянула группа служивых людей в военной форме. Мне они показались все очень высокими, руки в карманах, лица суровые. Мы уже лежали под одеялом, отец только сидел у керосинки и чинил мой валенок.

Ночные гости не поздоровались, только наш комендант кивнул отцу и спросил, нет ли больных. Отец ответил, что больные есть, но у фельдшера нет лекарств и нет права назначить усиленное питание. Нерегулярно и мало привозят к барaku дров, скученность большая, есть опасность массовых заболеваний.

- Все понятно, хватит, - сказал пожилой, наиболее свирепый на вид, начальник, - разрешаем самостоятельное строительство жилья. Пусть это будут небольшие дома. Договоритесь с приисковым управлением, - не глядя на коменданта, проговорил себе под нос, - эти люди здесь на постоянное жительство привезены, пусть строятся, объясните им.

Высокие темные люди удалились в другой конец барака, не останавливаясь, вышли в ночь, оставив легкое облако холода и леденящую душу мысль, что все это навсегда - бараки, лесосеки, стояние сутками за скудным пайком, а к весне - цинга, письма о нерадостных делах на родине. Но надо было жить. Если уж авансом такие страдания, то заявить место в Божьем раю или в светлом будущем раю на земле.

Мы готовы страдать, но обеспечьте гарантии, что и жилье, и хлеб - все это будет! Кто должен обеспечить? Этот безответный вопрос будил протест - безадресный и непроходящий. Такие греховные размышления еще более грубо вторгались в мою душу после очередного рейда работников НКВД в сопровождении помощника коменданта, гражданина Кротова. Войдя в барак, они остановились у первой семейной пары, где ютилась семья Саволайнен - две вдовы и их приемные дети Вайне и Валтер. За какие

богатства они были раскулачены и высланы - этого никто не знал. Но кое-какие украшения эти женщины не снимали даже в будничные дни - видно, это были подарки от людей, ими дороживших когда-то, знаки доброй памяти.

Помощник коменданта сбивчиво объяснил, что золотые изделия нужно отдать государству. Ведутся гигантские народные стройки, требуется золото для закупки машин и оборудования заводов.

Тетка Анна сняла кольцо и сказала, что взяли ее мужа, «а теперь последнюю память о нем отнимаете». Она положила кольцо на край нары - возьмите!

- Подайте в руку, - сказал гражданин Кротов, - это добровольная сдача, все должно быть соблюдено по форме.

- Это ваши нары, возьмите, - сказала тетка Анна.

Кротов, видно, не знал, как дальше вести дело, отчаялся и дико смотрел на вдову Саволайнен. Тетка Анна взяла кольцо с нары и, казалось, сунет его в руку Кротову, но она спокойно надела кольцо на свой палец.

- Снимите кольцо, возьмите кольцо, - скомандовал кто-то из гостей, и товарищ Кротов, оглянувшись на начальство, кинулся исполнять приказ - захватил кисть руки Анны с кольцом. Тут же тетка Анна свободной рукой залепила трескучую помордину багровому от стыда и неловкости помощнику коменданта. Другая тетка, Екатерина Саволайнен, выхватила полено из-под края нары, но тут уже на всю эту компанию навалился мой отец:

- Женщины, милые, успокойтесь. Катя, ты же умная женщина, товарищи при исполнении службы, успокойтесь.

Екатерина бросила полено, Анна сняла кольцо, но не подала в протянутую ладонь Кротова, а положила опять на край нары. Кротов кольцо взял и зажал в красном кулаке.

- Акты добровольной сдачи ценностей подпишете в комендатуре...

Подошел старик Куокканен из противоположного угла, где уже забеспокоились его маленькие внуки, протянул Кротову тяжелые часы на вытянутой цепочке, сверкающие, золотые, нажал сбоку - открылась крышка. За точность не ручаюсь, но кто-то прочитал: «За храбрость. Порт-Артур. Россия. Стессель».

Стали подходить молчаливые, настороженные, разбуженные от тяжелого сна люди. Аккуратно клали на край нары кольца, подвески, цепочки и, не глядя на гостей, тихонько удалялись.

- Акты о добровольной сдаче ценностей получите в комендатуре. Старосте подготовить списки сдавших. Спасибо за высокую сознательность.

- Гражданин комиссар, разрешите вопрос?

- Слушаю.

- Почему эту добровольную акцию вы совершаете ночью? Мы можем неправильно вас понять.

- На всякие акции существуют положения, как ваша фамилия?

- Тарасюк, дражный цех. Золота не имею, драгу еще не построили, не намыли золота еще. Почему не обеспечиваете питанием детей, дети еще не сознательные, просят есть. Наверное, вы предполагаете их участие в строительстве коммунизма?

- Хватит, - закричал высокий, темный в буденновской шапке, - с тобой мы поговорим в другом месте.

- Всегда готов, - сказал Андрей Тарасюк и сплюнул в проход между нарами.

Я почему-то представил, как будут расстреливать Андрея: он будет стоять в этой же вышитой Аксиньей рубашке, будет вызывающе смотреть на убийц, не дрогнет.

Не завтра и не послезавтра, но все же однажды наш смелый сосед исчез. Аксинья проклинала небо и советскую власть, выла и качала белоголовую девочку. Наша мать и еще кто-то из барачных женщин пытались успокоить Аксинью. О дальнейшей судьбе этой семьи я ничего не знаю.

Глава IX - САЛАЗКИ АНГЕЛА СМЕРТИ

- Предсказание сельской прорицательницы.
- Вперегонки по Известковой сопке - без Онни Вестеринена.
- Фанерная библиотека КВЧ.
- Трапеза с розовым мясом.
- Первым утро в тайге встречает глухарь.
- Красный песок Песчаной горки.
- Ангел смерти своего не упустит.
- Просветить бы рентгеном эту гору.
- Саранка из семейства лилейных для Суло.

- "Любил ее егземальчишкой".
- О, мой маленький великий брат!..
- Косой ствол в композиции сосен.

Морозным утром, пока держал гулкий наст, мы бегали на лыжах за речку Микчанду на вырубленные склоны Известковой сопки. Там от старых штолен и печей, где обжигали известь, шла вниз под гору прямая дорога, переметенная во многих местах февральскими выюгами. Эту дорогу мы облюбовали для трассы скоростного спуска.

Профиль трассы напоминал схему стиральной доски - вид с боку, и поэтому здесь мы применяли короткие лыжи-самоделки, чтобы с каждого бугра взлетать в воздух и коснуться лыжни - и сразу снова взлететь.

В такие часы отступали заботы и наша жизнь была солнечной. Я не без гордости любовался веселым полетом брата Суло - он ухитрялся во время полета поглядывать на нас и приподымать себя за уши, чтобы выше взлететь. Иногда он падал, но при этом ухитрялся кувыркнуться пару раз через голову и снова катиться вниз, взлетая, хлопая руками, как молодой петушок крыльями.

В легкую естественную гордость, а скорее всего в радость нашего с братом общения порой неожиданно вкрадывалась колющая боль от первого нашего шага по сибирской земле - память о том его случайном падении в горькую пыль сибирского каторжного тракта. В такие минуты меня охватывал суеверный страх за его жизнь. Мама иногда, тихо наблюдая за его суетливостью и необузданной веселостью, впадала в глухую задумчивость и сдержанно вздыхала. Она никак не могла себе простить, что еще маленького отдала на миг на руки бродячей сельской прорицательнице. Та подняла малыша на вытянутых руках и снова передала на руки матери, сказав при этом:

- Наверяд-ли этот парень тебе ягоды принесет, но что поле не вспашет - это точно. Грех не на тебе и голод не от Бога.

Старуха ушла, получив калач за честный труд, а мама долго не могла понять, и никогда не поняла, какая отметина судьбы мимоходом легла на ее крохотного сына

Я заставлял Суло выковыривать снег из валенок и переобуваться, помогал отыскать рукавичку во взрыхленном от падения снегу. Виноваты в падении были мягкие лыжные крепления. Суло требовал от себя и вещей, с которыми имел дело, абсолютного послушания и слитности. Наша гармонь в его руках словно летела порывом вальса за его быстрой мечтой. Он будто и не учился играть на этом сложном инструменте, а сама мелодия, разливаясь и образуясь в аккорды, как бы естественно выплескивалась из-под пальцев и ритмических движений хрупкого тельца этого маленького существа.

Здесь, на снежном склоне Известковой сопки, я был счастлив от того, что все мои друзья утверждают себя в серьезном деле - лыжном искусстве.

Перед дорогой к баракам мы договорились: если будет в следующее воскресенье хорошая погода и хорошее скольжение лыж, мы пригласим ребят из других бараков, пусть посмотрят, а кто не боится упасть - пусть участвуют в соревновании.

Перед бараками был пустырь - с редкими пнями снежное поле. Здесь мы обычно пускались вперегонки, как в настоящем кроссе. Мы с Валтером Саволайненем уже сняли лыжи, пристраивая их к стене тамбура, когда подлетела остальная шумная группа, выясняя, кто же пришел третьим - бронзовым призером. Из барака в накинутаю шали вышла тетка Валтера - Екатерина и показала нам вертикально палец:

- Тс-с! Не гремите, Онни Вестеринен умирает.

Как? Почему? Зачем? Мы тихонько, опутив головы, вошли в барак. Еще недавно Онни носился вместе с нами - розовый, затянутый голубым шарфом, воротник и шапка из светлого кенгуру, похожий на девчонку. Он не был сильным, но держался у меня на пятках крепко - минут так десять, потом как-то незаметно отставал. Онни оправдывался, что у него кружится голова, но у кого она не кружится, если сильно хочется есть, а бежать надо.

И вот теперь в полумраке притихшего барака лежит хороший мой товарищ, старательный, компанейский парень. Он как-то странно вытянулся. Я преодолел холодок боязни и подошел к нему ближе. Он смотрел в потолок, словно пытался что-то разглядеть в смолистых разводах распиленных древесных волокон.

Я подошел совсем близко, заглядывая ему в глаза, и мне показалось, что он узнал меня. Онни медленно поводил глазами и попытался едва двигающимися потрескавшимися губами мне что-то показать на потолке. Я покивал головой - вижу, старик, вижу. не бойся, ты смелый, хороший товарищ. Прости.

Я едва устоял, хотелось выбежать из барака, но я присел на наре рядом с Суло. Он сидел совсем бледный, казалось, волосы его редкой щетинкой стояли дыбом.

- Что там? - спросил он. Подошла мать Онни - тетя Мария:

- Тойво, сбегай в лесосеку к нашим, пусть придут, скажи, что комендант разрешил, ты видишь какие у нас дела.

- Я с тобой, - прижался ко мне Суло. - Мне холодно. Я с тобой.

Мама подала нам несколько горячих сладких картофелин и по кружке подсоленного отвара, тоже картофельного.

- Хлеб будет в ужин, вы еще проголодаетесь. Уважь просьбу Марии, надо быть вместе в такие дни.

Я поправил носки и ту же намотал портянки, подтянул пояс до отказа.

- Возьми меня с собой, - тихо просил Суло, - я не хочу оставаться. Мне плохо здесь. Я посмотрел на маму, она кивнула головой - возьми, так лучше...

- Одевайся, - сказал я, - мне тоже будет лучше с тобой.

При выходе из барака Суло украдкой посмотрел в сторону нары, где в кругу притихших девочек и старух лежал Онни.

Мы встали на лыжи и двинулись в сторону лесосеки Красный Ключ. Теперь от нас зависело в какой-то мере, застанут ли в живых Хилма и Тойво своего брата. Два километра подъема в плоские сопки с жалкими остатками мелкокося и редкими вековыми лиственницами, которые оказались не по зубам стандартным поперечным пилам - не хватало длины полотна для рабочего разбега, а потом километра два пологого спуска к баракам Красного Ключа. Его мы пролетели так, что морозный спокойный воздух тайги нам показался колючим встречным ветром - в ушах звенело.

Мы вошли в барак и почему-то напугали дневального, колдовавшего у буржуйки - вертикальной чугунной печи, увенчанной большой алюминиевой кастрюлей. Дневальный быстро закрыл кастрюлю и еще набросил на крышку грязное полотенце.

- Что случилось? Не хрипи, говори толком! Не хватай холодной воды, вон, чайник горячий стоит на кирпичках.

Я не сразу узнал в сумерках низкого барака своего доброго старого друга и покровителя Семена Яковлевича Харзия. Его достойная жизнь заслуживает отдельного рассказа, но все же, вне плана этой главы, я для ясности должен рассказать о нем хоть немного.

Он тогда уже был немолодой, когда на красноярской переселенке бережно укутывал на наре, возле всегда хлопающих дверей, своих престарелых родителей. На каком этапе он их потерял, где похоронил - я не знал. Но в том бараке, где я без обуви коротал первую осень, Семен Яковлевич был для нас нечто вроде КВЧ, по лагерному - культурно-воспитательная часть. В ссылку он взял с собой только чемоданы с книгами.

В этой передвижной народной библиотеке были самые главные книги, которые всегда подсказывали мне о лучших порывах души и воли человека: «Спартак», «Хижина дяди Тома», «Овод», «Граф Монте-Кристо», «Дон Кихот», «Семь братьев» - все это на финском языке. Были и русские книги - «Преступление и наказание», «Воскресенье», «Петербургские трущобы».

Даже сюда, в лесной барак у Красного Ключа он привез фанерный баул с книгами.

Что случилось, - повторил он свой вопрос, - может, умер кто?

- Где найти Хилму и Тойво Вестеринен? Комендант разрешил им прийти в посе лок. Умирает Онни. Где их найти?

- Садитесь к печке, не остыньте, поешьте с дороги, - и он достал из мешка целую гирлянду подсоленного, завяленного с дымком лесного мяса.

- Я возьму твои лыжи, не сломаю, на лыжах я их быстрее найду.

Семен Яковлевич, торопясь, оделся и кинулся на лесную делянку, где ворочались в глубоком снегу лесорубы.

- Кастрюля пусть кипит, подкладывайте чурочек. Ешьте мясо, пейте чай! Я пошел.

Ах, какое это было мясо! Сухое, но вполне податливое для зубов, оно пахло костром и осенней тайгой. Хотя оно и не таяло во рту, надо было грызть и сосать, но я вскоре почувствовал, что в мои отекавшие ноги возвращаются силы и легкость, перестали ныть плечи и можно снова отталкиваться лыжными палками и лететь над сугробами.

На одной гирлянде я сосчитал восемь розово-янтарных кусочков сухого мяса и посчитал, что этот сувенир я могу положить в карман на всякий случай, вдруг забудут предложить, а Вайне и маме, и отцу это так нужно, они, пожалуй, не менее меня обрадуются такой ценной пище. Скажу, что Хейкки послал, наверное, это все у них артельное.

Пришло время подложить чурок в печь, но я решил проверить - кипит ли еще варево. Из-под крышки вырвался такой ароматный пар, что мы не удержались, достали ножом отделившийся от кости кусок сладкого мяса. Надо бы добавить соли, но это пусть решит Семен Яковлевич. Чурки нужны только для поддержания состояния слабого кипения. Неплохо бы к чаю найти сухарь, но надо терпеть, и на том спасибо, наелись.

Суло начал засыпать. Я не знал где лежит сверток постели брата Федора, полотенца висели на гвоздях все одинаковые. Суло заснул на табуретке, привалившись на мои колени, а сон, какой-то обрывочный и непонятный, смотрел я. Это был прозрачный сон. За дверями застучали палки и послышались топающие шаги - возвращался Семен Яковлевич. Он занес инструменты Вестеринен и положил под нары. Я не задавал вопросов, не хотел будить Суло.

Хилма и Тойво поспешили в поселок прямо с лесосеки, не заходя в барак переодеться. Это правильно, им и надо было спешить. Семен Яковлевич сказал, что брат Федор и Пааво Ахонен собирают в поленницу свои дневные заготовки и потом складут поленницы Вестеринен. Сведения должны быть точными, в любой момент их может запросить контора.

Начало смеркаться, приходили двойки лесорубов, стаскивали друг с друга задубелую одежду, умывались снегом. Почему-то разговаривали тихо и частенько поглядывали в сторону длинного стола, где Семен Яковлевич делил суп и мясо по одинаковым алюминиевым чашкам.

Наконец-то пришел брат Хейкки. Теперь он Федор. Мы привыкаем его так называть: может, ему реже придется объяснять и рассказывать все о себе. Он аккуратно положил на нары свой инструмент, лучковую пилу и обнял нас сразу двоих, но Суло затем посадил к себе на колени и причесал его белые вихры темной негнушейся пятерней.

- Устал я немного. Давайте поедим. Я все знаю, можете не рассказывать. Оказывается, чтобы лесорубу дали паек за выполнение двух норм, он должен по шесть кубометров в день заготавливать в течение недели. Угрозой голода заставляли быть усердным. Но в этом усердии одного хорошего работника всегда таилась опасность - заставят всех равняться на передовика - то есть могут пересмотреть норму, и так очень жесткую.

- Как мама?

- Вот верхонки прислала тебе из чертовой кожи.

Федор ел молча, не торопясь. Мы за компанию тоже съели по поварешке супа. Хлеб, предложенный братом, мы отклонили. Глядя как бы мимо меня, Федор сказал, что при более насыщенном участке, он может и три нормы поставить, но при этом хлебный паек нужно увеличить тоже в три раза. Червонцы хавать не будешь.

Все население барака собралось послушать пару глав из «Графа Монте-Кристо» Женщины вязали с закрытыми глазами и мало реагировали на действия великолепных героев Дюма. Мы с Суло прилегли на матрац Федора и закрылись колючей попоной, пахнувшей лошадыо.

- Вы предупредили маму, что останетесь ночевать у меня? - слегка испугавшись, спросил Федор.

- Нет, - ответил я, - наверное, догадается, что мы здесь, когда к Онни придут прямо с лесосеки Тойво и Хилма. Мы не могли уйти, не повидав тебя. Может, мне рвануть?

- Нет, нет. Спите, утром пораньше придете.

Первым утро в тайге встречает глухарь. Сильно хлопая крыльями, он залетает на вершину самой высокой сосны встретить яркую полосу утренней зари. Вторым приветствует розовый свет на верхушках заснеженных сосен Семен Яковлевич. Он разбудил меня и торопил смотреть начало дня:

- План дня намечай утром, - а далее он сообщил, что за красной горой, где сохранились жердевые остовы тунгусских чумов, в еловом распадке живет семья лосей. Она выходит жировать в мелкий осинник вот как раз в это время! Надо бы достать мелкокалиберную винтовку и коробочку патронов. А дальнейшее он решит. Без свежего таежного мяса от цинги не уцелеть.

- Не знаю, кто из нас дотянет до черемши на талых болотах, - продолжал Семен Яковлевич, - уговори Федора не надрываться: себя угробит и остальных загонит.

Я обещал подумать и выполнить просьбы Семена Яковлевича. Завтракали все молча, затем с ленцой облачались в грубые брезентовые костюмы, чтобы повторить то же, что делали вчера и что придется делать завтра, пока не накопится на два года сосновых метровых швырков на складе электростанции.

Суло ел плохо, видно переутомился. Федор обнял нас и подтолкнул на избитую лыжню, которая не совпадала с дровозонной дорогой. Мы бежали елочным ходом длинные подъемы - тянигусы, летели, не тормозя, по пологим спускам и к семичасовому гудку технической мастерской были в нашем бараке.

В жаркой духоте горели две свечи у изголовья Онни. Кто-то тихо плакал. Мама Мария читала молитву. Я подошел, осторожно потрогал остывший уже лоб, краешком ладони отметил крест на груди Онни, как это делали в таких случаях наши люди.

Ноги у Онни были почему-то голубые, только пятки по краям стали желтоватыми. Горько было на душе, но куда-то подевались слезы. Женщины одели Онни в белое белье. Наша мама принесла белые носки и сказала сквозь слезы, что нам это пока не нужно. Ах, мама, мама - ты случайно так сказала, или твое сердце чувствовало, что кто-то из нас обречен? Что значит - пока?

Онни завернули в одеяло и положили на белые длинные узкие санки. Кто-то их прикатил из больницы. Там, случилось, отвозили умерших на этих санках в холодный дом, стоящий отдельно на пустыре. Туда и повезли моего друга Онни. Суло и Вайне я оставил дома.

Хоронили только в воскресенье. Бывало, что к полудню выстраивались несколько проводин из разных бараков, и тогда по открытой дороге над Удереем тянулась в сторону дражного полигона, где было кладбище, неспешная вереница - печальная демонстрация людского единства и сострадания. Там, за дражной строительной базой, где выходит дорога из тайги на пустыри, к приземистым домам Почетно-гражданского прииска выдвигается от горного кряжа островерхая сопка, поросшая сосновым лесом. Ее называют Песчаной Горкой. У подножия ее - небольшой карьер, где добывают песок для покрытия дорог, печных и штукатурных работ. Песок этот красный. Печально красный с холодным фиолетовым оттенком. Эта гора и приютила приисковое кладбище.

С появлением западных спецпереселенцев покой и облик соснового бора обновился свежевостроганными крестами. Никто, конечно, не знал того дня, когда и его самого понесут на этот таежный покой, чья очередь завтра, чья через месяц или два, не все ли равно? Ангел смерти своего не упустит. Нужны добрые кадры и там, в райских кущах и сладкоголосых хорах.

Нынешней весной в хор мальчиков этот безжалостный ангел призвал Матти Куокканена, Пааво Кяхари, Рейнхирда Кринке и других, имена которых я не помню. Причин для смерти было вполне достаточно: недоедание, перемена климата, плохое жилье, отсутствие лекарств и бесправное положение в том замкнутом обществе и - тоска по родине, огромная, как эта сибирская тайга и неприятное небо над головой. Не было среди нас ни одного человека, кроме грудных детей, который не страдал бы от цинги. Коварный этот недуг подступает незаметно - всегда хочется спать, десны набухают черной кровью, выпадают зубы, опухают ноги. А когда на икрах появляются черные пятна, человек уже не может ни двигаться, ни есть - он теряет интерес к жизни. И чтобы не мучить близких, просит ангела смерти прибрать его, просит, может быть, бессознательно, просто внутри своей души. Наверное, так вот ушел от нас и Онни.

По совету местных жителей мы пили отвары хвои пихты, сосновых и березовых почек. Избавление же от этого неотступного ангела приходило с наступлением весны, которую мы очень ждали. Конечно, для тех, кто успел до нее дожить.

А уж весной, едва сойдет снег с лесных полей и выглянет на свет божий дикий чеснок, по-сибирски черемша, эти чудо корни за неделю поставят на ноги казалось бы обреченных на верную смерть.

В мае-июне многих моих сверстников удалось отстоять, но все-таки Бог прибрал нескольких хороших лесорубов. Умерли от воспаления легких Пекка Карьялайнен, Симо Ахонен, Хилма Вестеринен, Хилма Кяхари. Да простит меня читатель, может, где-нибудь живут еще их родственники, однофамильцы, тезки - пусть знают, что были люди, как и они мечтающие о лучшем будущем.

Это были молодые добрые люди. Осенью тридцать первого года мы все вместе шли на новое жительство мимо этой красной сопки. Скажи им кто-нибудь тогда, что здесь будет их вечный покой - не поверили бы они. Хорошо, что нет машины времени. Без нее у нас всегда есть надежда на светлое будущее.

Если бы эту гору просветить гигантской рентгеноустановкой и заснять все современной видеокамерой, мы бы увидели, что ее нутро напичкано рядами гробов - неистлевших, из лиственничных досок, сосновых и пихтовых, утративших смолистую связующую основу древесных волокон. Делали гробы из горбылей и осиновых досок - там только зеленый комочек праха в тяжелом панцире спрессованного песка. Казалось бы, не прокатилась война в этих глухих таежных местах, но попробуй найди списки имен людей, навеки погребенных в этой горе. Они здесь спрятаны от взоров и людской памяти, уничтожены, как уничтожены многие страницы самой истории многочисленных народов Советского Союза.

Возможно, сохранился крест из смолистой лиственницы на этой песчаной горке и на нем глубоко вырезанные ножом буквы: «Суло Ряннель 1923-1932». Существует какой-то всемирный закон подлости. Он властвует над событиями и людскими судьбами как на войне, так и в мирной жизни, о которой я рассказываю. Неудачи и смерть подстерегают чаще всего самых талантливых и незащищенных людей.

О моем маленьком великом брате кроме меня некому рассказать. Он был во всех делах способнее меня - и рисовал лучше, и пел, и играл на гармошке. Суло вел мелодию с таким душевным подъемом, так выразительно, что взрослые задумывались, а что же будет дальше? Брат мой, казалось, сам собой развивался, как в сказке, от природы последовательно и естественно. Не заучивая текстов и правил, он научился писать почти без ошибок. Задачки он решал в уме, не записывая столбиком - говорил, что видит решение сразу. Был честен в играх, умел необидно выигрывать, а проигрывал весело, считая проигрыш случайностью. А главное - Суло был смел и ловок. Вдвоем с ним мы были непобедимы.

Нашего маленького брата Вяйне Суло баловал, постоянно затевал с ним игры, умел защищать не только его, но и его друзей.



Тойво и Вяйне Ряннель, 1934 г. (стр. 57)

Ну разве справедлива судьба, допустившая то, что случилось. И, увы, я, его старший брат, не смог ни предвидеть неудач Суло, ни заслонить невидимым собственным крылом везения.

... Со своим классом Суло пошел на экскурсию в тайгу, в пору, когда все реки от весеннего половодья стали непроходимыми. Молодой учитель - совсем не таежник и, по-видимому, слабый организатор, вместо веселой прогулки на природу, оказался с ребятами в таких дебрях, что они едва выбрались из них к вечеру. Все промокли и продрогли. Заболел весь класс. На Суло обрушилось двустороннее воспаление легких.

Он сник и никак не мог согреться, и даже баня с сырым паром не помогла. Ни лекарств не было, ни нормальной еды. Суло на глазах слабел, быстро и сильно похудел, только ноги его оставались как бы налитыми водянисто-крахмальной массой, пальцем надавишь - в теле остается на пару минут вмятина.

Сочувствие и нежные заботы матери помогли ему подняться. Он попросил меня сходить с ним на Известковую сопку, откуда открывались синие дали чуть ли не на всю бескрайнюю сибирскую тайгу. Скальная вершина этого древнего извержения напоминала нечто сказочное и изменяющееся в разные часы дня и под разными углами солнечного освещения. Туда не только мы, но и взрослые часто ходили, чтобы уединиться и хоть на время оторваться от невеселой действительности.

Вот и я повел своего несчастного братика на эту гору, и разве я мог представить, что вел его, по сути, проститься с этим удивительным пестрым зелено и розово-голубым миром

Несмотря ни на что, нам, детям, наша жизнь казалась интересной, полной открытий и неожиданных приключений, а лишения и опасности представлялись временными, и Суло, конечно, сам не призывал ангела смерти, чтобы избавиться от мук болезни.

Возвращаясь с горы, мы накопили целый мешочек луковиц саранки. Саранкой называют в Сибири розовую крапчатую лилию, есть такое семейство растений - лилейных. Луковицы саранки съедобны, у них толстые сочные и хрусткие на зубах лепестки. Мы поели их сырыми, вытерев луковицы подолом рубашек. Из остатков решили дома сварить кашу-толкушку. Через речку Микчанду я перенес Суло на спине - он был легче рюкзака, почти невесомый, что меня сильно опечалило. Затем, усадив брата на пенек, я принялся полоскать в речке луковицы, но вскоре услышал его жалобную просьбу:

- Мне холодно, пойдем.

И мы пошли. Шли в обнимку. Я старался полой пиджака укрыть его, согреть.

- Ты не плачь, - говорил он мне тихо, - я поправлюсь, в школу пойдем. Ты маме не говори, я ангелов вижу во сне, красиво поют.

Мне сдавило горло и взяла такая тоска, хоть кричи, хоть стучи кулаком о землю. Где ты есть, всемогущий Бог, если ты есть, почему отвернулся от нас? Где оно, волшебное яблоко жизни? Ах, пусть эти луковицы, которые мы несем, обернутся волшебными целительными плодами!

Я поднял Суло на руки и по тропе, выбитой между корнями и пнями, побежал к нашему барaku и нашей наре.

- Что ты делаешь, - запричитала мать, - заморозил совсем мужика, неужели ничего не понимаешь, - и ее начали душить слезы.

С этого дня состояние здоровья Суло резко ухудшилось, иссякали его жизненные силы. Он стал засыпать сидя, как маленький Будда. Спать лежа мешали ему синевато-красные пролежни, появившиеся на спине, из которых сочилась желтая слизь.

Отец пригласил к постели сына всех знахарей, и даже врача комендант привез из района. Все разводили руками - лекарств нет, молока нет, вообще пищи настоящей нет, чем лечить?..

Мы ждали с нетерпением срока созревания жимолости - синей горьковато-сладкой ягоды, ждали земляники, верили, что они помогут.

Настал день просветления: Суло не говорил в этот день, что болит спина, что горит в груди. Он попросил маму сшить ему костюм - хотел пойти в школу в новом костюме. Мама снесла в золотоскупку обручальное кольцо и получила кусок серого шевюта - лучшей в то время костюмной ткани, чуть ли не английского производства. Дали еще муки, совсем немного масла и граммов сто спирта в порядке исключения - на компрессы больному мальчику. Заказали костюм по моим меркам - на вырост Суло.

От лепешек, испеченных на масле, Суло отказался - говорил, не проходят и жгут в груди. Спиртовые компрессы на спину и грудь помогли прорезаться его звонкому голосу. Он застенчиво улыбался и пытался спеть срывающимся голосом невесть откуда прихваченную песню:

*- Так, значит, амба,
так, значит, крышка,
Нам не видать счастливых дней.
Любил ее еще мальчишкой -
Теперь люблю еще сильнее...*

Мать затряслась в рыданиях, обняла Суло: господи, кожа да косточки это маленькое умное существо с неестественно сияющими глазами.

Ангел за братишкой явился ночью перед рассветом. Я выходил посмотреть на звезды за угол барака и видел ясно, как с высоты над Известковой сопкой сорвалась и покатила вниз маленькая звезда.

В ту ночь мы пребывали в тяжелой полудреме. Суло лежал между мной и братом Федором. Когда я уходил на двор, Суло дышал реже, чем обычно, но хрипы были совсем слабыми - мне казалось, что налаживается более свободное дыхание. А когда я вернулся на нару, Суло уже не дышал. Я пошевелил его вялую руку - пульса не было! Федор очнулся, наклонился над братом, вздрагивал, сдерживая рыдания.

- Мама, - прошептал я, - Суло улетел.

- Вой, вой, - прорыдала мама и замолкла, словно душа ее провалилась в какую-то творящую боль средь - в горячий ли пепел или ледяную воду, где из человека выносятся последний звук.

Отец подержал руку на тошей груди Суло, а там уже ничего не билось, не хрипело.

В эту смерть я не поверил. Я надеялся на чудо и ждал как чуда, что все еще уладится, оживет мой братик - он не менее других достоин жизни, достоин такого чуда. Неужели там, наверху, не видят, не понимают этого, если в нас веками вбивается надежда на милость всевышнего.

Но чуда не произошло. Положили Суло в продолговатый, светлый, почти игрушечный домик в том самом новом сером костюме, в котором он мечтал пойти в школу, в белой чистой рубашке с шелковым бантиком.

Маленький Вяйне прижался ко мне, пожалуй, не понимая еще происходящего. Взрослым было не до него - необходимые и тяжелые похоронные хлопоты словно сделали их тупыми и суетливыми.

Я ходил отрешенный, ничего не понимая из того, что совершалось вокруг. Поручения не выполнял - забывал все сразу.

На той горестной Песчаной горе я еще верил в чудо: вот явится светлокрылый большой ангел со сверкающим мечом в руке и скажет: «Вставай, мальчик, для добрых дел, твое время покидать землю еще не пришло». Но шли секунды, минуты - шло время и ничего такого, вопреки моим мольбам и надеждам, не происходило. Время шаркало лопатами о песок, стучало рассыпающимися комьями сырой земли о крышу страшного нового вечного домика Суло.

Из тучи вышло яркое солнце, окрасило сосны и лица людские пурпурным светом.

Прощай, Суло. Я не стал, я просто не мог петь прощальные псалмы - ушел в тайгу, не замечая ни колючих кустов, ни ломающихся мелких веток, неожиданно оказавшихся на моем пути.

Отлетели напрочь, гибли у меня на виду мечты о наших совместных делах, которые мерещились где-то впереди. Вайне заметно подрос, но ему еще долго догонять меня - здесь тот случай, когда я не могу остановиться и подождать его.

Весь остаток того лета я ощущал свое тоскливое одиночество, даже когда в ватаге ребят ходил в тайгу за кедровыми шишками или с ночевками на дальние плесы Удерея на ловлю налимов.

Когда оставался один, я рисовал сосновое редколесье с заходящим солнцем и никак не решался поставить на этом фоне крест. Крест был белый, а в этой среде он покажется черным, если нарисовать правильно, как в природе.

Иногда я заходил на этот печальный холм, по зову какого-то непонятного мне душевного состояния. При утреннем свете белый крест светился на фоне золотистых стволов стройных молодых сосен. Даже при небольшой фантазии этот сюжет воспринимался, как увиденный сердцем многоступенчатый звук органа.

Дома я сделал по памяти рисунок, но чего-то в нем не хватало. Чего? Я не стал откладывать на завтра утоление любопытства и направился снова к могиле Суло.

Оказалось, я не заметил в строю вертикальных сосен одну пошатнувшуюся - она вносила какую-то драматическую смуту в этот благополучный строй. Сделал новый рисунок, куда внес эту не уловленную сначала деталь, как бы перечеркнув наклонной линией соснового ствола правое горизонтальное крыло креста. И в рисунке проявился тот порыв печали, который чувствовали все, кому я показывал окончательную композицию этого рисунка.

Глава X - ВЫЖИТЬ!

- Ударные темпы ссылки.
- Было принято прощаться навсегда.
- Соленый этап из-за сопок.
- Нас записали в пионеры.
- Исповедь Хелены Уймонен.
- История старого горшка и дымокур над картошкой.
- Золотой глухариный жернов.
- Приискатель с рисунка Каратанова.
- Крестовоздвиженский прииск.
- Авария на плотине.
- "Возлюби врага своего?"
- Эх, не сказал тогда спасибо маме.

Так и просится высокопарный газетный стиль тех лет в начало этой главы: ударными темпами продвигалось строительство электростанции и драги. Визг лебедек и гулкие удары клепальных молотов извещали на всю округу о том, что все идет слаженно, нормально. Во всех подразделениях хозяйственного организма сложились хорошие бригады и звенья. Постоянно вечерами люди занимались в кружках техминимума: можно было в любой отрасли усовершенствовать свои знания, обменяться опытом.

К пуску электростанции запасы сухих дров нарастали длинными золотистыми поленицами, пахнущими сосновой смолой и хвоей. Простоявшие уже год поленицы облюбовали птицы и чуть ли не в каждой щели устраивали наспех гнезда и выводили желторотых птенцов - короткое северное лето торопило всех. Подгонял и голод! За две нормы заготовленных дров давали две нормы хлеба и еще продуктов, если они оказывались в магазине. Выдавали также дополнительную оплату. Но все это требовало и дополнительных жизней.

Лесозаготовительный цех нес самые большие потери. Смерть подбирала свои жертвы как-то нелогично, нелепо: то подпиленная в ветреный день старая сосна зацепит кого-нибудь из молодых девушек своей неохватной неуправляемой кроной, то еще случится что-нибудь такое же невероятное.

И, несмотря на столь высокий расход человеческого материала, здесь оказалось много лишних ртов - неработающих стариков и детей. Развозили этих усталых от жизни, отчаявшихся людей по ангарским деревням и по другим таежным поселкам, когда оказывались под рукой попутные транспортные средства. И было принято прощаться навсегда - легко и просто. Но прошло некоторое время и стали приходить письма, в которых те, с кем так вот поневоле прощались, молили о помощи и вспоминали нашу жизнь на этом далеком

прииске, как чуть ли не благополучную. Лучшая черта человеческого характера, видно, в том, что он готов забыть все тяжелое и плохое, простить унижения, лишь бы иметь хлеб насущный и хотя бы слабую надежду на лучшее будущее.

Самые тревожные письма приходили из Енисейска, Маклаково, Епишино, Нифантьево... Там умирали от голода и тифа - случалось, целыми семьями.

Кажется, в марте 1933 года на наш прииск и именно к нам в барак пришли два парня, легко одетые - на лыжах. Видно, они прошли многие километры по морозу и ветру. Я только вернулся из школы и занимался с братом Вяйне русской азбукой. Зашли эти парни, поздоровались и тяжело сели, но при этом с повышенным интересом посматривали на стол, где под полотенцем стояла посуда, а в ней мой дежурный завтрак.

Я достал парням по одной картофелине, которые они сразу проглотили. Попросили попить. Я налил в кружки воды, но гости пить не стали, а с осторожной предупредительностью попросили. соли. Содержимое солонки они разделили поровну. Замешали в кружках и тут же выпили.

- Дай, парень, еще. Может, вскипятишь воду, а может у вас есть чай? А как у вас с хлебом?

- Шестьсот на рабочего, четыреста на стариков и детей, то есть, на иждивенцев.

- А соль у вас есть или тоже с выдачи?

- Все, что дают, выбираем по карточке, часть остается.

И поведали ходоки печальную весть. Уже месяц тому назад на их маленьком прииске «Современном» кончилась соль. Даже не верилось, что от бессолевой скудной пищи можно заболеть водянкой и умереть! Возможно, в эту беду вмешалась еще и цинга.

Пришедшая из больницы мама не смогла решить вопрос о солевой помощи для неизвестных наших земляков, но поскольку они явились к нам, мама стала собирать соль по соседям, и к вечеру, к приходу отца набрала изрядную кучу мешочков и свертков с солью, с крупой и даже соленой черемшой.

За ужином наши гости уже не налегали на соль, отец их строго предупредил - может быть отравление, заклинит сердце.

Утром парни встали на лыжи и ушли прямо через гору на Ишимбинскую дорогу, а там, еще за полета километров, в Усть-Питской тайге и находится этот «Современный» - поселок, которого не найдешь ни на одной карте.

По весне пришло письмо. По горестным событиям, о которых в нем сообщалось, мы поняли, что писал один из наших мартовских гостей. Его предупреждения не помогли: несколько человек умерли, отравившись двумя горстями съеденной соли.

Разыскивая очевидцев событий, которые прошли мимо меня, но имели значение для нашей группы ленинградских финнов, я случайно вышел на след Хелены Уймонен

- единственной уцелевшей из многодетной семьи. С ее отцом я был знаком по первой зимовке в Удереиской тайге. Под самый новый год, я помню, вышел на улицу посмотреть на голубое, колыхавшееся в небесах северное сияние. Из-за горизонта к самому зениту взлетали игольчатые мягкие зигзаги световых разрядов. За созерцанием этой бередящей душу божественной фантазии Природы я застал Данила Уймонена - тихого, мечтательного, очень доброго мужика. Он притянул меня под край шубы, потер ладонью мое ухо и сказал:

- Смотри, пусть душа отгад.

Данил не выглядел старым, но успел пожертвовать несколько лет войнам с 1914 по 1919 годы.

Под весну появилась с обозами сена и муки его семья, в том числе и Хелена - девушка лет шестнадцати, спортивного вида ясноглазая красавица.

. Нас, мальчишек, как раз тогда всех записали в пионеры и дали нам по красному галстуку, что вызвало протест и возмущение Хелены:

- Вы же предаете страдания своих родителей, сами лезете в пасть этому дракону. Пока нас не освободят, не вернут все права, пока не отпустят домой - не смейте появляться в бараке с этими галстуками. В школе - как хотите, но этот ошейник вас делает стадом, кучкой баранов в артельной воле.

Мы не хотели с ней спорить. Она могла. да что с ней связываться. Я сам видел, как она заломила руку трепливому парню Федьке Федотюку и наградила его хорошим пинком под зад; оставалось Федьке только натянуто улыбаться да отшучиваться.

. Шестдесят лет спустя я написал Хелене письмо в Эстонию, где она после долгих скитаний осела в городке Рапла. Я просил ее написать о судьбе ее семьи, в которой медленно и верно умерли все, а Хелену, уже ослабевшую, спасла тогда родственница, приехавшая из Ленинграда с мешком продуктов и лекарствами. Потом они как-то незаметно исчезли с нашего прииска, и, каюсь, я на время забыл о них, как о многих других хороших людях, которые жили и появлялись в те годы рядом, помогали мне, поддерживали в тяжелую минуту кружкой горячего чая, делились сухарем и душевным советом.

Привожу выдержку из ответного письма Хелены Уймонен от 5 июня 1989 года.

«Моего отца и маминого брата Ристо Кемпинен арестовали 25 декабря 1930 года за невыполнение налогов. Судили на срок два года, хотя все было уже сдано, вывезено и оплачено. Они сидели в Арсенальной тюрьме Ленинграда. Я ходила к ним на свидания и носила им передачи. Потом 7-го апреля 1931 года погнали нас на станцию Дибуны и погрузили в товарные вагоны. Отца и дядю привезли тоже на станцию и соединили вместе с нами. Это было большое счастье, что отца отправили вместе с нами. Семьи-то были из одной мелюзги: мне - 16, Симо - 8, Виктору - 5, Эльвире - 2, Эльзе - месяца полтора-два.

Дорогу до Красноярска вы сами помните. Там в бараках уже начали умирать, так что первые жертвы похоронены в Красноярске, но места точно не знаю. Потом повезли на Ангару. В Рыбном нас выгрузили из парохода «Ян Рудзутак» прямо на кладбище. Первую ночь ночевали меж могил, потом поселили нас по домам села Рыбного. Рабочих погнали, как уже знаете, на строительство дороги. Я вместе с другими подростками корчевала дальние поля в 15 километрах от Рыбного. Потом косили траву. Так было жалко косить такие красивые цветы, как они пахли хорошо. Наши косы точил старик Ряннель, имени его я не помню. Сын был с ним, Юхо, моего возраста. В Рыбном наши люди стали болеть и умирать. Дети болели дизентерией и умирали, как мухи. У нас умерла Эльвира - все похоронены на кладбище Рыбного. Потом стали болеть взрослые тифом, тоже умерли многие. Я уверена, что если бы человеческое отношение к больным, наша мама не умерла бы. Она похоронена на мотыгинском кладбище. Вы запрашивали о девушке, которая утопилась в Ангаре. Я помню такой случай. Мы жили в одном доме с Лизой Леметти из Юкки. Эта Лиза все плакала и читала молитвы несколько дней подряд и потом шагнула в глубину Ангары. Остался муж и две маленькие девочки.

После смерти матери нас забрал отец и увез в тайгу, где было много наших, в том числе и ваша семья. Но там мы вместе прожили недолго. Отца отправили в совхоз «Решающий» на Ангару работать плотником. За ним и нас повезли туда. Но и в Мотыгино мы долго не задержались. Весной 1933 года нас посадили в открытые большие лодки - илимки и доплыли до Стрелки. Там нас переправили на енисейских илимках до деревни Нифантьево, где поселили в бараках. Там вскоре стали разбирать - кого куда Рабочих отправили строить дорогу на золотые прииски Северо-Енисейского района, а семьи оставили прозябать в этих бараках.

Папу отправили в тайгу, а мы остались в голодном Нифантьево. До сих пор вижу во сне Нифантьевскую голодовку 1933 года, это самое страшное, что было в моей жизни. Нам давали на месяц 6 кг муки и немного соли. Народ стал умирать от голода. Дети лежали на нарах вповалку. Уже некому было могилы копать. Умирали целыми семьями от голода и тифа. Опять была сплошная стрижка голов. Нам все же помогла наша святая тетя Катри, но посылки шли очень долго. Один раз нам задержали выдачу муки, и мы семь дней были без хлеба. Витя так плакал, просил хлеба, я до сих пор вижу во сне, что Витя плачет и просит у меня хлеба.

А там, в тайге, рабочих кормили хорошо, но помощь от отца до нас не доходила. Мы уже начали опухать - я и Виктор. Приехала из Питера дочь тети Катри - Анни, она хотела увезти меньших детей домой к себе, но комендант не разрешил. В октябре я заболела тифом, как я тогда хотела умереть, молила Бога, чтобы он меня освободил от этого страшного мира, но я выжила. Первый паспорт получила в возрасте 30 лет со статьей 38, что означало - без права проживания. в областных, республиканских и режимных городах.»

Другие свидетельства - не менее печальные, не более радостные. На нашем прииске, в нашей семье такого кричащего голода не было. Каждый нес в дом, что мог - кто черемшу и саранки, кто - пойманного в мутном Удерее налима. Отец, кроме своей казенной работы, вставлял стекла в поселке вольных - это уже после работы, гонорар получал и стаканом крупы, и миской картофеля.

В первую же весну жизни в тайге мы раскопали и засадили картошкой небольшой участок на пустыре за бараками на южном склоне. Когда появились зеленые всходы, к нашему огороду стали приходить любопытные из всех барачков. «Замерзнет» - растягивая это корявое слово, говорили наиболее чувствительные завистники.

Когда июньские белые ночи особенно пронзительно светились закатом на северном небосклоне, мы разводили пару костров с наветренной стороны огорода - смолистые головешки закладывали влажными кусками дерна, и этими дымокурами отводили иней и морозец от нашего опытного поля. И вот когда на крепкой зеленой ботве появились белые и розовые цветы, поле пришлось караулить. Отец разрешил стрелять из рогатки по посягателям на наше трудовое добро.

- Только смотри, глаз не выбей, не покалечь, уж Бог с ней, с картошкой, а в приисковую стенгазету карикатуру нарисуй.

Наши опасения оказались напрасными. Никто не подумал даже и наступить на неогражденный пятачок картофельной земли. А в сентябре в один из воскресных дней был раскорчеван, распахан и даже удобрен золою костров большой участок земли под посадку следующего года - это был коллективный огород, названный впоследствии колхозным в честь доброй памяти о родных местах, откуда нас выгнали те, которые на нами обработанных полях надеялись встретить зарю коммунизма.

Но все же самым важным подспорьем на выживание оказалось золото. Почему в первые годы нашей ссылки нам запрещали «мыть золото», я так и не понял. Стране нужно позарез золото, народ голодает, а добывать и сдавать государству золото не смей!

Грабить ночью и пугать людей, отнимать насильно дорогие семейные реликвии, оказывается, можно - это разрешено, а может, это делалось рыцарями без страха и упрека без разрешения высших властей.

И эту вопиющую глупость пережили: разрешили мыть золото на старых дражных отвалах, уже однажды промытых, но все же содержащих какие-то золотые крупы. Потом разрешили и промывать золотоносные пески на отложениях, намывных течением таежных рек, протекающих по древним осадочным породам, содержащим самую мелкую, как пыль, почти невесомую золотую россыпь.

Трудной и увлекательной работе золотоискателя нас учили забайкальские переселенцы из Баклейского и Нерчинского районов.

Промывочные лотки мы делали из толстых кедровых распилов по сибирскому образцу. Были у нас и забайкальские круглые лотки, сделанные из толстого кедра, но с этим широким лотком было трудно пробираться по береговым зарослям таежных рек. Я очень внимательно выслушивал объяснения, почему и как образуются речные россыпи, проверяя эти уроки на своей практике.

Через год я уже прослыл удачливым разведчиком, и где на далекой речной косе Удерея появлялась наша с мамой легкая переносная буддара, через несколько дней все гремело, скреблось и плескалось, начиналась азартная работа. «Команду» нашу пополняли апостольского вида старцы и их тонконогие помощники, искусанные комарами и пауками.

Меня приглашали в бригады сильные мужики в неделю отпуска, но я предпочитал работать с мамой. Она позволяла мне отдыхать, когда не хотелось ворочать тяжелую гальку и вести учет промытым ведрам песка и глины.

После короткой паузы, пролетающей в несбыточных мечтах, я снова принимался загружать в забое ведра, нести их к буддаре и наполнять промывочный ящик, куда мама черпаком из реки подавала воду, а я металлическим скребком, похожим на огородную тяпку, ворочал и размывал горную массу. Крупную гальку, промытую от глины и песка сбрасывал в отвал, а золотоносный песок загонял сквозь решетчатое дно промывочного ящика на наклонное дно буддары, покрытое ворсовым драпом, задерживающим мелкие золотишки.

Я так и не узнал, откуда название этого простого до гениальности промывочного агрегата - мы легко могли его перенести на другой участок, на новую речную косу на крутом повороте реки, где обязательно в каких-то слоях речных отложений находился золотоносный слой песка.

Чтобы намывать один грамм золота, мы промывали около кубометра золотоносной породы. Это было нам с мамой под силу. Когда же мама была занята стиркой или стояла в очереди за продуктами, выдаваемыми раз в месяц, я искал новое место, готовил участок - убирал кустарник и пустую породу, вскрывал, как говорилось, золотоносную жилу. Этот слой мелкого галечника имеет стальной цвет из-за присутствия дисперса, неизвестного мне металла, и серебристых частиц платины. Платину не собирали - ее не принимали в золото-скупках, а золотой пепел мы собирали с помощью ртути. Этот жидкий металл физически соединяется, взаимодействует с золотом. Как это происходит?

Когда все более легкие частицы породы и песок вымыты из лотка, и остаются только тяжелые шлихи и золото, на них выливается из бутылочки небольшая доза ртути, способная вобрать в свой объем все золотые пылинки. Из этого серебристого цвета кокона выжимается остаток жидкой ртути, а тяжелую густую лепешку золота мы заворачиваем в несколько слоев тонкой бумаги, на худой конец - газетной, и на лопате или на другой металлической плоскости высаживаем на горячие угли костра. Естественно, ртуть закипает и испаряется, бумага сгорает, сделав свое дело, и не дав разлететься в минуты кипения некоторой части золотинок. И тогда засверкает на кончике лопаты этакий золотой пяточок, весом граммов в 5-6. Это наша с мамой недельная добыча. Не стоит каждый день из-за одного грамма золота отравляться парами ртути.

Наше золото с Удерейской россыпи принимали по рубль семнадцать копеек за один грамм. Но это было уже в валютном исчислении: это был золотой рубль. За него красноярские спекулянты давали нам по десять рублей совзнаками, как тогда говорили, а сами за дверьми золотоскупок и в уборных около торгсинов продавали тот же грамм по сто рублей.

Но так как на совзнаки можно было купить только пайковые продукты, мы свои золотые рубли не продавали. За эти небольшие золотые рубли мы могли выменять не только сумку хороших продуктов - масла, сахара, разных круп, сухого молока, но и ситцу на две рубашки и бутылку спирта. За спирт же можно было приобрести пятиметровую поленницу сухих дров или кусок лосиного мяса, а иногда и ведро малосольных хариусов. Разрешение на старательские работы - искать и мыть золото - вывело нас из непреодолимых финансовых трудностей, а главное, это избавляло от ежедневного страха остаться на завтра без хлеба.

О золотом промысле написано много хороших книг. О наших Ангарско-Удере́йских промыслах я узнал из книг Алексея Югова и Петра Петрова, но это уже после того, как я на своей, почти детской практике столкнулся с этим легендарным металлом, вокруг которого веки вечные правит свой бал сатана.

В Удере́йской тайге золото было открыто в тридцатых годах девятнадцатого века. Сюда, в тайгу, к кочевым охотникам тунгусам заглядывали предприимчивые мужики из приангарских русских сел. Они вели меновую торговлю, привозили во вьюках сахар, дробь, порох и табак, получая взамен шкурки белок, соболей, горностаев.

А с открытием золота, рассказывают, было так: застрелил тунгус глухаря, начал потрошить птицу и обнаружил в зобу золотой самородок величиной с наперсток. Охотник удивился необычайно тяжелому весу этого сверкающего как солнце камешка. Надо показать русскому, решил он и спрятал самородок в кожаный мешочек, где у него хранились подаренные дедом святые предметы для добывания огня. Русский торговец Иван Баженов удивился самородку не меньше самого тунгуса!

- Где взял, байё? Где убил птицу? Покажи место! Это золото! Богатые будем, друг-байё.

И привел тунгус русского мужика на реку Шаарган, приток Удерея. Здесь на речных перекатах и песчаных косах на поворотах реки век за веком, искорка за искоркой оседало золото. Более крупные частицы металла - самородки кочевали миллионы лет от разрушенного по тектоническим причинам коренного месторождения вниз по течению реки от переката к перекату - пока не попадали в зоб таежной птицы в качестве жернова для перемалывания витаминной пищи - хвои, так необходимой всем лесным обитателям от великана лося до маленького рябчика.

По другому варианту рассказа, глухарь был убит на речке Холме, тоже притоке Удерея, и русский охотник за самородок предложил свое хорошее ружье.

Было это с сотню лет назад. Когда я учился в Южно-Енисейской средней школе, иногда холодными днями октября охотился как раз в этих местах на рябчика с чужим ружьем, вернее сказать, - просто бродил по тайге, где опадали последние золотые листья. Никаких следов разработок в долине этой тайги не было заметно.

Весть об открытии золота в Удере́йской тайге появилась в красноярских газетах в 1837 году. Сразу же многие деловые люди сделали заявки в горном округе на разведку золота, создавали поисковые и промысловые отряды. Застучали топоры, заискрились костры на берегах таежных рек. От Ангары и Енисея врубались в тайгу дороги, шли вьючные караваны и тележные обозы с мукой, сахаром, чаем и другими «колониальными товарами». Возникали приисковые поселения с романтическими названиями: Калифорнийский, Надеждинский, Крестовоздвиженский, Спасский.

Но чаще приисковые поселки имели названия своих основателей - Елизаветинский, Гадаловский или Александро-Ивановский, Герасимо-Федоровский, Петропавловский. Народная память сохранила фамилии первых промышленников, на чьи средства зажила, заворчалась, загремела на всю Россию сибирская «золотая лихорадка» - это Кытмановы, Сибиряковы, Сидоровы, Федоровы, Щеголевы, Гадаловы, Кузнецовы, чьими радениями был основан и возвращен промышленный потенциал Енисейской губернии.

Назову имена отдельных отважных разведчиков золота, ставших впоследствии хорошими организаторами дела - доморощенными капиталистами, патриотами Сибири и Красноярского края: это Латкины, Машаровы, Крутовские. С их внуками и правнуками мне пришлось вместе учиться и работать, поднимать новую - социалистическую Сибирь.

Любопытного читателя, кто интересуется экономическими выкладками золотой промышленности Сибири, я отсылаю к очеркам и справкам историка Леонида Киселева, уроженца Удере́йской золотой тайги, кропотливого собирателя объективных исторических сведений и правдивых цифр по этому предмету.

Вслед за хорошо организованными отрядами разведчиков золота в Удере́йскую тайгу ходил вольный и воровской люд. Помыкавшись в одиночных скитаниях в поисках лучистого самородка, эти «вольные старатели» приходили в большие, уже сложившиеся отряды и шестерили при буграх и паханах - вожаках артелей. Из этих недавних романтиков получались послушные убийцы и жестокие разбойники. Бывало, за богатое месторождение на какой-то неприметной речке Шаулконе закипал настоящий бой между отрядами «неказенных» промысловиков.

Судьба фартовых, удачливых одиночек была и смешна и трагична. Помню рисунок художника Каратанова, где подвыпивший, небритый золотодобытчик шествует по дорожке красного сукна по грязной улице Енисейска в заветный кабак, где он пропьет и раздаст все золото и царские червонцы за аплодисменты и тосты в его адрес - за которые не то что золото, жизнь можно отдать, а когда пропьет все, будет вышвырнут голым, а то и убит. Говорят, что на миру и смерть красна.

Но однажды мне рассказали о другой судьбе старателя. Я спрашивал стариков, откуда название прииска Крестовоздвиженского. И услышал следующее. Владелец небольшого прииска, где уже кончались разведанные запасы золота, вместе с нанятым геологом бродил по таежным речкам. Промывали пробы и, наконец, вышли к вершине одного ручья, где пробы показали очень большое содержание золота. Они

увлеклись фартовой добычей и до заката солнца промывали речную гальку, откладывая мелкие самородки в капсулу из плотной бумаги. Уже в сумерках искали место Для легкой палатки на сухом склоне горы среди густого кедрового леса и увидели шалаш из тесаных кедровых плах, потемневший от времени. У входа в шалаш геолог разогнал спичкой мрак и невольно отпрянул: из-под осевшей груды истлевшего тряпья выглядывал череп.

- Есть мнение подняться выше по склону, а утром разберемся с этим шалашом. Не одни мы увлеклись этой россыпью. Мне кажется, рядом с удачей. с Богом! Попробуем заснуть.

В наспех поставленной палатке геолог быстро заснул, а хозяин беднеющего прииска, взволнованный богатыми пробами на золото, никак не мог заснуть. Когда к вершинам кедров поднялась полная луна, он, гонимый любопытством, решил заглянуть в продутый ветрами шалаш. Лунный свет, пробиваясь сквозь щели, иногда, казалось, колыхался - двигались тени от потревоженных листьев осины, стерегущей этот шалаш. И показалось заглянувшему в шалаш, что череп улыбнулся. У золотоискателя дрогнула душа, он перекрестился, но отойти от шалаша не мог, словно нечистая сила спеленала ему ноги. Кто же этот бедолага, заснувший здесь навеки у своей, может быть, первой и последней счастливой находки? Хозяин не хотел покидать шалаш: какая бы ни была здесь скрыта тайна, она принадлежит теперь ему и этому мальчишке-геологу, студенту горного института.

Перед рассветом он все же забрался в палатку и даже позавидовал крепким нервам своего напарника. Надо бы и ему заснуть, но не получалось, и он вышел в рассветную свежесть и начал копать продолговатую яму для останков неизвестного старателя.

- Бог в помощь, доброе утро, Петр Петрович, - сказал, покидая палатку, студент и, сняв с себя куртку и рубашку, пошел вниз к ручью умываться.

Завтракать не стали. Глубиной в аршин в яму на сухие иглы кедровой хвои положили останки неизвестного золотоискателя, долго закапывали походной лопатой с коротким черенком.

В шалаше под истлевшей подушкой слежавшегося белого меха нашли глиняную молочную крынку, завязанную куском хорошо сохранившейся кожи. Аккуратно сняли завязки и лоскуток - и онемели, даже испугались - сосуд был полон золотого песка. На вес, показалось, не меньше пуда. Горшок завязали тем же лоскутком. Хотелось угадать вес. Вытянутая рука Петра Петровича не смогла удержать горшок, и геолог подхватил его уже падающим.

Горшок поместили в кожаный заплечный мешок Петра Петровича, занесли в палатку. Некоторое время лежали молча.

- Большую свечу поставим в Енисейске, а сейчас надо разобраться с ситуацией месторождения, - сказал геолог, - застолбим место с некоторым запасом, нарисуем план. и в Енисейск, в земский суд - оформим заявку.

- Сначала давай поставим крест - большой крест в благодарность Богу и на добрую память о предке нашем. Забавно, борода зеленая сохранилась. прикипел к золоту, не мог уйти, силы, видно, кончились. А ты, Геннадий Васильевич, на что употребишь свою долю золотишка? - спросил студента приискатель.

- Поставлю торговый дом в Петербурге, брата и мать устрою, а сам - в Берлин! В институт горный. Мечта такая есть. Если благополучно выберемся отсюда.

Я застал на месте бывшего прииска аллею великолепных берез и каменные фундаменты строений. Такова судьба приисковых селений: кончалось золото, и людям больше нечего было делать, уходили в иные места.

На самом деле, согласно документам, открытие прииска Крестовоздвиженского таково: 8 августа 1839 года заявлен от имени Исидора Григорьевича Щеголева и Ивана Кирилловича Кузнецова.

И.Г. Щеголев выделил деньги на воздвижение в Красноярске Богородице-Рождественского храма. Внутри собора он был похоронен как почетный гражданин.

В 30-х годах нашего века, когда взрывали собор, мощи Щеголева сожгли, как ненужные экспонаты краеведческому музею. Такая, вот, история.

Нас привезли в золотую Ангарскую тайгу после ста лет непрерывного промысла, разведанные запасы которого были истощены. Буровая разведка показывала залегание новых россыпей в долине Удеря, где местами буры упирались в вечную мерзлоту. Гигантская золоторойная фабрика - драга, которую денно и нощно монтировали из привезенных деталей, в морозы клепали и что-то сваривали, - эта драга канадского проекта должна была открыть здесь новую страницу в отечественной добывающей практике.

По инициативе Серго Орджоникидзе в Америку послали советских горных инженеров на учебу. Они должны были после возвращения домой обеспечить ускоренную реконструкцию отрасли, способствовать выходу нашей страны из валютной зависимости от промышленно развитых стран. Известно, что многие важнейшие стройки тех лет консультировались иностранными специалистами, и на многих объектах - от ДнепроГЭСа до Челябинского тракторного завода - работали американские, германские и итальянские

инженеры, прорабы. Им надо было платить как белым людям и обеспечить теплую жизнь среди нашей нищеты и лагерной безысходности.

Наша небольшая по объему стройка в далекой сибирской тайге вобрала в себя и все лучшее, и все худшее, что было свойственно нашему методу хозяйствования. Дала свет и энергию новая электростанция, а вот строительство драги затянулось. С опозданием поступали основные агрегаты и разное оборудование десятков названий, а для их хранения забыли построить временные склады. Слабо был поставлен учет очередных нужных деталей на заваленных без всякой системы складах.

Но главной бедой, стыдно вспомнить, было преступное отношение к людям. Помню безобразную по цинизму сцену на зимнем ночном аврале, куда я прибежал по тревоге вслед за отцом, как и все население поселка, поднятое условным гудком электростанции. Оказалось, прорвало плотину-завалку, которая удерживала водохранилище, где плавала недостроенная драга.

Клепанные понтоны удерживали это чудовище на плаву, но если опустеет водохранилище, драга сядет на скальные неровности дна, разойдутся клепанные швы на понтоне - и пропадет скорбный труд сотен рабочих за тысячи каторжных дней и ночей. На защиту плотины сбегалось столько людей, что мешки с песком и цементом подавали в проран буквально на руках.

Главное звено укладывало эти мешки, находясь по пояс в воде и, естественно, людей надо было сменять через пять-десять минут, отводить в отапливаемые вагончики и другие подсобные помещения, а их место в проране должны были занять другие люди.

Когда отец «бросил» в проран ребят из своего хозяйственного цеха, появился некто в военной форме и начал гнать в проран сразу всех, кто ожидал своей очереди. А в ледяной поток посылать всех сразу было незачем: прорыв был не так уж широк, смена в двадцать человек вполне успешно укрощала убегающую воду. Но незнакомец в военной форме отменил команды и отца, и самого директора прииска - создавал панику, сам этого не понимая.

- Уйдите отсюда, прошу вас, - подступил отец к военному, - вы мешаете, вы загубите и людей, и всю работу.

- Ты здесь никто! И ваши люди дерьмо, у нас хватит этого добра на все плотины. Поняли? Ваше место в проране вместе с балластом!

Вот так-то. В ритме работы получилась легкая заминка. Отец не отвечал раскричавшемуся служаке, а заменил людей в проране, среди которых оказались уже раз и два побывавшие в холодной воде добровольцы. И через сорок минут плотина была вновь закрыта.

Незаметно ушел представитель ОГПУ, неизвестно как оказавшийся в нужный момент в нужном месте. Да, была победа над стихией, но не было радости: людям напомнили, кем их тут считают. Расходились по домам, словно что-то недоделали, чего-то не хватало.

- Надо было этого вертухая искупать в проране! Сука, сам ведь не полез, - ворчал сосед по бараку, обычно молчаливый Василий Павлович.

Я себя неожиданно поймал на грешной мысли: а почему я его не столкнул в разрез, когда он моих старших товарищей дерьмом называл. Нет, не струсил я, а уже привык, что начальство должно ругаться, и просто не догадался, что это можно сделать.

Потом отца вызывали в контору на собеседование, и не раз. Ожидалось, что его должны арестовать, посадить, однако его не сажали. Слыл он на приiske человеком резким, но справедливым. Возможно, приисковое начальство защитило его от придирок во всем сомневающимся агентов ОГПУ - отдавая частичку должного его светлой памяти, свидетельствую, что он не однажды заступался за арестованных рабочих, специалистов, хотя и боялся, что его самого могут упрятать. Иногда это помогало, хотя бы временно.

Приехавший к нам на строительство драги после американской стажировки инженер Петр Касперович Мурниек был арестован и просидел под следствием полгода только за то, что отчитал бригадира плотников за перерасход строительных гвоздей и при этом еще сказал, что нам не хватает немецкой бережливости и американской деловитости. Во время следствия вызывались давать показания многие рабочие из строительного цеха: за восемнадцать километров шли пешком на Центральный прииск только сообщить, что же еще сказал антисоветского инженер Мурниек.

Так вот, за этого, не любящего советские порядки, даже критикующего публично, смел заступиться мой наивный отец. Кроме того, глупец, он сказал, что без таких специалистов как Петр Касперович, мы драгу не достроим.

Отпустили Мурниек. Драгу достроили. Но это было до 1937 года.

Тревоги за хлеб насущный постепенно отлегли. Молодежь стала собираться вечерами у качелей, на добротной утрамбованной волейбольной площадке шли по-настоящему спортивные бои. Наиболее ловких игроков определяли в команды к новичкам. Этот принцип: помощи отстающему, добивайся общего подъема -

входил в нашу жизнь наравне с христианскими заповедями, которые нам иногда внушали, как нечто главное в жизни, наши старшие товарищи.

Есть такие вечные истины, которые от повторения не тускнеют - не убей, не укради. Но с одной заповедью я никак не мог согласиться - возлюби врага своего.

Наверное, это было архаичной символикой, каким-то вселенским обобщением доброты. Я знал, что у меня многоликий враг - мимикрирующий оборотень, иногда вырастающий до небес и одним движением пальца посылающий умирать вдали от родины весь мой смиренный, светлоглазый, с тяжелыми трудовыми руками народ. Но как с этим врагом бороться?

Из немногих хороших книг, прочитанных к тому времени, я знал, что добро и зло извечно враждуют и далеко не всегда побеждает добро. Такая вот историческая раскладка сил получается. Но в сердце не успокаивался пепел Клааса! Даже маленькая обида вырастала во мне в большую.

Я жаждал мести за все, что произошло и за все, что еще обязательно произойдет. Упоенный силой и безнаказанностью, мой вездесущий враг потребует крови, смерти сотен тысяч во имя призрачного благополучия миллионов. Но люди с этим положением почему-то соглашались! Можно бояться, но соглашаться-то необязательно. Необязательно и мне принимать мученическую долю праведника, идти на костер за людей, которых устраивает уже то, что их сегодня не убивают. Такие вот мысли мучили мою голову.

Мама просила меня нарисовать портрет Иисуса Христа, не знаю, зачем ей это надо было. Возможно, какая-то секта русских или украинских спецпереселенцев уговорила ее дать мне такое поручение. Заказ я начал нехотя, но, работая над глазами Иисуса, добиваясь в них какой-то высшей одухотворенности, стал замечать, что все мои злые мысли уплывают неизвестно куда и душу охватывает желание сотворить что-то прекрасное.

Работая на промывке золотоносного песка или играя в футбол, я торопился уединиться в углу барака и снова искать что-то бесконечное и неохватное, что надо отразить в глазах Христа. И мне казалось, что я сделался добрее: даже в драках, которые случались, я не вкладывал в удар злости и уничтожающей человека боли.

Отец удивлялся, что я, споря с ним, улыбаюсь, он даже сокрушенно как-то пошутил, что во мне пропадает талантливый проповедник заветов Христа.

Но не успел я сделать свечение над головой Иисуса, как моя работа исчезла. Я не спрашивал маму, и она сама пока молчала.

Но в нашей барачной комнате вскоре появились две огромные перовые подушки.

- Распустим их, выстираем, просушим перья, и у каждого будет своя мягкая подушка.

Это был еще один важный шаг к нашему благополучию. Возможно, и шаг в душевном росте. Я не рисовал все, что попадало под руку, понимал, что это плохо - рисовать надо каждый день хотя бы по два часа. И меня мало интересовали вечные темы, хотя я знал многие библейские сюжеты, не раз повторенные художниками разных эпох. Вероятно, глубоко переживая в себе эти сюжеты, художники пытались утвердить в своих картинах личное отношение к Богу. Но если так, то выходило, что я не художник? Я видел скорбь вокруг себя, мятеж людских душ и отчаяние безысходности, но у меня не было сил, чтобы снова и снова переживать это в своих беспомощных рисунках.

К нам на помойку прилетали вороны, но одна, видно старая, садилась на кол крепления бельевой веревки и как бы наблюдала со стороны за суетой своих молодых коллег. Было в позах и движениях этой старой вороны столько пришибленности, униженной птичьей гордости и чего-то еще, вызывающего сочувствие, что я, наблюдая из окна, зарисовывал эту знакомку каждый раз, когда удавалось ее тут встретить. Это я делал с небывалым умилением. Мама однажды обнаружила эти рисунки и долго разглядывала, вспоминая что-то.

- Не знаю, - сказала она, - специально ты старался или нет, но эта птица похожа на меня, а скорее всего я становлюсь похожей на эту ворону.

Ее тяжелую шутку я принял как высшую похвалу своей работе. Выходит, из меня прорывается художник. Выходит, что я носил в себе все твои страхи и страдания, мама, если душа моя вынесла их на белую бумагу и на какой-то миг заставила дрогнуть твое сердце.

- Вот наладится жизнь, может, комендант отпустит тебя на учебу, говорят есть такие послабления для молодежи, надо тебе учиться. Поезжай, брат Эйно поможет, он скоро закончит институт. Вдвоем вам легче будет.

Я не догадался тогда сказать спасибо маме, а просто был рад, что она понимает меня. Остальное все зависело уже от меня самого. Так мне думалось, мечталось.

Глава XI - В МОСКВУ ЗА ПЕСНЯМИ

- Неожданная дверь в искусство.
- Наш енисейский интернационал.
- Хочешь в Третьяковку - долби алгебру.
- На пристанях Мотыгино и Стрелка.
- Разгулялся антихрист.
- В краеведческом музее. Над макетом камерыл - картина.
- Праздник "Столбов"! В капле, как в небе, плывут облака.
- И вот Москва. О чем не писали газетыг.
- Одного автора собор в Москве и собор в Красноярске.
- Экскурсия в историю русской культурыл.
- Иван Грозныйг и метод социалистического реализма.
- Что тыг еще уготовил нам, Господь?..

Да здравствует Южно-Енисейская средняя школа, и память о ней да здравствует! Для сотен таких, как я, она стала открытой дверью на свободу, в большой белый свет, в искусство.

Нас собрали с десятков промысловых поселков сюда, на бывший Гадаловский прииск, в школу-интернат, всех вместе - детей спецпереселенцев и вольнонаемных. Я попал в комнату с немцем Ленардом Кринке, татаринoм Гумаром Казаковым, с украинцем Александрoм Дейнеко, кубанским казаком Петром Ганжулой, с сибиряками Костей Кирилловым, Федором Кашиным, Димой Баженовым. Названные мною друзья стали настоящими людьми, прошли все бои и войны, искренне служили советской Родине, забыв несправые гонения и пролив забываемые обиды. Они научили меня многому, а главное дружбе и доверию между людьми.

Наша Южно-Енисейская средняя школа называлась в подзаголовке политехнической. У нас были хорошие мастерские для труда - слесарного и столярного дела. Была лыжная база, создавался большой спортивный комплекс, включая каток для русского хоккея.

Нашим шефом была могущественная организация «Главзолото». Наши учителя были более обеспечены всеми благами, чем их коллеги в Красноярске и Москве, тем более в какой-нибудь деревне. Все это позволяло школе иметь хороших специалистов по всем предметам - даже по пению, физкультуре и рисованию. С благодарностью вспоминаю учителей рисования Костюнина, Кулькова, Мошарова, Кавецкую - на их примере, на полных драматизма их судьбах, я смолоду увидел и понял, что искусство -

дело серьезное, и можно в тот бесшабашный мир пуститься только имея ясную цель, фантастическую любовь к профессии, к ремеслу. И еще - примирение с нуждой и трезвость при наплыве славы от заработанной удачи.

Нас, рисующих мальчиков, из таежной школы вышло в искусство России несколько человек, не скажу, что уж очень известных, но вполне добротнo украшенных теперь почетными званиями и прочими знаками общественного внимания.

В нашей школе была такая обстановка, что хотелось учиться. За первую четверть в пятом классе я имел двенадцать отличных отметок и только по пению и физкультуре - четверки. И вот на итоговом собрании было объявлено, что все двенадцать учеников-отличников награждаются переходящей премией - поездкой в Москву во время летних каникул. Почему переходящей? Если я во второй четверти буду лениться и получать тройки, то эту премию передадут более старательному и талантливому ученику. Словом, каждый сам хозяин-барин. Хочешь побывать в Третьяковской галерее - учи ботанику, долби алгебру с геометрией.

Самый главный показатель - отметки по дисциплине. Это было трудное испытание - не ответить грубостью на грубость, не ударить кулаком в нос шутника, который выхватил за завтраком твой пирог с капустой и проглотил ради шутки и общего веселья.

Настал летний день, когда мы с рюкзаками, все двенадцать отличников за все четыре четверти собрались в дорогу во главе с директором Николаем Алексеевичем и приглашенным физоргом. До пристани Мотыгино ехали на открытой бортовой машине в хорошую погоду и по хорошей дороге - той самой, по которой я шагал в интернациональной рабочей колонне осенью 1931 года.

Справка

Введена ученику Б.п. почтой
 средней школы Удере́йского р-на
 Ряннелю Тойво В. 1921 г. род. в том, что ему разрешается
выезд в город Москву на экскур-
 сию, организованную почтой
 средней школы Удере́йского
 района Красноярского края
 Отцу Ряннелю Василию известна
 т/п. проживает на Кривом
 озере Удере́йского района
 что и заверяется

12/11 1926
 № 15-97
 пр. Удере́йск.

Райкомандит
 Отз. т.п. Удере́йск.
 по Удере́йскому району.

/Баранов/

Разрешение Удере́йской спецкомендатуры на выезд ученика Т. Ряннеля на экскурсию в г. Москву

Боже мой, сколько же прошло времени. Как многих уже нет в живых из моих товарищей, земляков, родственников, а я вот, отличник учебы и дисциплины, хваленый и подающий надежды благополучный малый, еду в Москву на встречу со своей мечтой.

- Чего надулся? Эй, проснись, - тормозил меня наш отрядный клоунишка Ваня Ковальчук, - может заболел? Может, авто остановить?

И в дальнейшем он часто пытался меня развлечь в местах, где я умолкал и подавленно вспоминал село Рыбное на Ангаре и устье Мурожной, где мы сжигали умерших современных невольников.

На пристанях Мотыгино и Стрелка мы по несколько дней ждали попутных пароходов, которые шли перегруженными - лето, пора отпусков, сесть на них было делом трудным, но увлекательным. Долгие дни тянулся наш однопалубный шлепунец от Стрелки до Красноярска. Но у нас была цель, и никакие неудобства не могли нас вывести из состояния ожидания чего-то нового, интересного.

В Красноярске нас поселили в пустующей школе на углу улиц Оборона и Красной Армии. Как нам сказали, это помещение, с толстыми, в метр кирпичными стенами, входило в комплекс Кафедрального собора, который планомерно уничтожался взрывами. В первую же ночь, вернее рано утром, в 4 часа, прогремел оглушающий взрыв. Мы подскочили к окнам и увидели громадное пылевое облако. Потом завывла сирена и грохнул еще взрыв. Крестилась пожилая женщина, ночная нянька:

- Какая церква была, красавица пятиглавая, иконы божьи - картинки, как живые... гуляет антихрист, нет на него силы.

К завтраку пришел Николай Алексеевич. Он сообщил нам, что билеты обещаны на пятый день, но в Красноярске есть что посмотреть. План экскурсии согласуется, физорг к обеду его доложит.

- Почему взрывают собор? - спросил я.

Николай Алексеевич сказал, что он сам не понимает, почему взрывают произведение архитектуры - центр городского ансамбля.

Первая экскурсия была в краеведческий музей, где не менее природы представлена история Приенисейского края от каменного топора до пушек гражданской войны.

Поразили нас писанные камни хакасских степных курганов, скелет мамонта в полном сборе и еще ряд бивней и огромных зубов этого великого травоядного.

Были там пушки времен завоевания Ермаком Сибири. Была настоящая тюремная камера, где в сером бушлате в наручниках сидел неуклюжий заключенный, сделанный из папье-маше, а над макетом этой камеры висела картина художника М.А. Рудченко на такой же сюжет.

Экскурсовод рассказала, что художник Рудченко был учителем рисования в Красноярске и благословил юного Сурикова на его художнический подвиг.

Во всех отделах экспозиции мы видели картины современных красноярских художников: Каратанова, Вальдмана, Петракова и Ефремова.

В отдельном небольшом зале были выставлены картины из коллекции П.И. Кузнецова - в том числе картины В.И. Сурикова «Милосердный самаритянин» и «Памятник Петру Первому при лунном освещении».

Я благодарен судьбе и везению, что мое прикосновение к искусству началось с этих удивительных картин. Мне часто говорили, что не боги горшки обжигают, но я был убежден, что человек, воссоздающий на полотне самую великую притчу о благородстве человека, сам должен быть вровень творцу. В чем-то самом главном должен походить на Бога.

В ожидании того поезда, который повезет нас в Москву, мы сходили на красноярские «Столбы». Нам предложили свои услуги красноярские школьники:

- Шамовка ваша, а остальное мы обеспечим: страховку, кушаки, ночлег в избушке, а то и у костра.

Среди наших новых знакомых оказалась девочка-старшеклассница, которая очень толково рассказала историю основания острога и города Красноярска, а также легенду и геологическую версию о происхождении этих широко известных причудливых скал - красноярских «Столбов».

Шли по лесной тропе, которая пролегла по вершинам высоких лесистых сопок и, наконец, привела нас в хаос огромных валунов в замшелой пихтовой тайге. Здесь тропа потерялась. Мы по карнизам обнаженных выступов скал поднялись на плоскую, разделенную глубокими трещинами вершину одного из «столбов». Возможно, эта скала была когда-то очень высокой и стройной, но рухнула в неизвестный нам год землетрясения: осталась как бы половина срезанной башни и гряда обломков, поросших лесом.

На вершине этой скалы есть качающийся камень, похожий на гигантскую картошку. Там мы фотографировались чьей-то камерой «Лейкой», но снимки до меня почему-то не дошли. Во все стороны с этой высоты открывается вид на уходящую к горизонту тайгу, из которой в разных местах подымаются розовые скалы, одна интереснее другой. Все это в обрамлении зеленой тайги и голубых далей с пятнами золотосолнечного света, падающего в просветы серебристых облаков.

Вернулись в город в тот же день уже под вечер, усталые, но обновленные открытиями. Эта встреча с солнечными скалами, с тайгой в сотни оттенков зеленого цвета навсегда определила мое отношение к Красноярску и Сибири. Помню отрывки из стихов, написанных мной от русской мысли на русском языке:

*Тропа поведет вас по солнечным склонам В
покой и прохладу, где сумрак зеленый
Сверкает в ущельи в струе родника, Где в
капле, как в небе, плывут облака,*

Если бы нас в Москву везли в телячьем вагоне и под конвоем, и я бы знал, что там есть Третьяковская галерея, встреча с Левитаном и Айвазовским, что там метро и высокий старик Корней Чуковский, у которого я неожиданно окажусь в гостях, я бы согласился ехать и в наручниках, как тот зэк из красноярского музея.

На пути в Москву я старался рассмотреть города и реки, которые видел смутно впервые тогда, по дороге в изгнание. Они виделись сейчас другими, и мои чувства были другими, да и сам я был другой.

Разное я слышал от мыслящих людей: не нужно возвращаться к руинам дома твоего и осколкам первой любви. Повтори твой путь пережитых унижений - и обретишь победу над страшной памятью, преследовавшей тебя.

Старый австралиец из детского рассказа поучал белого пленника: посмотри на мир глазами друга, и мир одарит тебя своею радостью. Радость, как бумеранг, пущенная тобой в полет к тебе же возвращается обновленной.

... В те годы поезда ходили медленней. Через четыре ночи на пятый день - Москва. Ночами иногда я возвращался в ту безысходность дороги в никуда весны тридцать первого. Лязг железных буферов и зацепов неожиданно из глубины памяти приносил холод и тревогу тех дней.

Но мы ехали в нормальном поезде с чистыми окнами, хорошими постелями, даже в плацкартном вагоне. Вежливые мужики в форменной фуражке приносили чай и к нему по два кусочка сахара. Четыре открытых купе занимала наша группа.

Наш добрый директор Николай Алексеевич заглядывал к нам частенько и интересовался нашим здоровьем, вернее здоровьем каждого. Дело в том, что в Красноярске мы навалились на мороженое в шоколаде - эскимо, и у всех заболели горло или животы. А мой маленький земляк Юхани Нуя даже ухитрился простыть до высокой температуры. Но основная забота нашего руководителя была в том, чтобы в Москве мы выглядели умными, уверенными в себе сибиряками. Перед обращением к нам он вместе с нами выдерживал большую паузу и, когда нам уже надоедало молчание, тихо произносил:

- Товарищи. вы едете в Москву. не забывайте, что вы отличники из Южно-Енисейской средней школы. Вас могут пригласить и на радио, и в редакцию «Пионерской правды», могут спросить, как вы живете. Избегайте общих слов, старайтесь привести какой-то пример, скажем, о том, что ваши шефы подарили вам новый спортивный инвентарь или музыкальные инструменты для духового оркестра.

Добрые наставления директора перебил вопросом откровенный до наивности Ваня Ковальчук:

- А вдруг меня спросят, кто ты такой, гражданин Ковальчук, я отвечу, что спецпереселенец, а меня опять спросят, что это такое, - что я могу тогда сказать?

- Наверяд ли так будет поставлен вопрос, но все же если придется отвечать на что-то подобное, так и скажите, что ты такой, но. скажите еще, что в нашей школе все равны по правам и обязанностям. Поощряем старательных и талантливых - это принцип коммунистического воспитания. Объясните, что такое переходящие премии - на вашем примере. Посмотрите, ведь в группе нет детей начальства, ни прокурора, ни секретаря райкома.

И тут мы обнаружили, что наша группа состоит в основном из детей спецпереселенцев. У меня возникли вопросы, но я их не задал Николаю Алексеевичу. Знает ли районный комендант о составе группы? Как отнесся райком партии к факту состава группы? Но один вопрос все же выскочил у меня сам собой - знает ли наш главный благодетель и шеф, товарищ Серебровский, что почин переходящих премий принадлежит нашей школе?

Тут Николай Алексеевич слегка покраснел и заулыбался, после долгой паузы ответил, что вот когда будете у Серебровского, то объясните ему о нашем методе соцсоревнования, ему это должно понравиться.

Я знал, что наши лучшие тетради по классным работам, примеры литературного творчества, данные о спортивных достижениях иногда посылали в «Главзолото» товарищу Серебровскому, чтобы доказать ему, что средства, выделенные на образование по системе «Главзолото», дают положительные результаты...

Забегая вперед, должен сказать несколько слов о судьбе профессора Серебровского. Он был заместителем наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, который поручил ему организацию восстановления золотой промышленности. Серебровский много ездил по золотодобывающим районам Союза, владел точной информацией о состоянии дел. Организовал обучение советских молодых специалистов в Канаде и Соединенных Штатах. Ездил туда и сам для ознакомления со строительством дражных комплексов. Строительство нашей мощной канадского типа драги было тоже его инициативой. Серебровский написал интересную книгу «На золотом фронте», в которой ряд глав посвятил «русской Америке», о городах Ситка и Форто-Росс, о русских песнях, слов в которых уже не понимают потомки русских поселенцев в Америке.



Юные спецпереселенцы, ученики Южно-Енисейской средней школы Ю. Нуя и Т. Ряннель, 1936 г. (стр. 72)

Серебровский не на много пережил своего наркома: он был стандартно оклеветан и застрелен где-то в застенках Лубянки.

В Москве нашу группу устроили в доме юных туристов на Богородском шоссе. От вокзала мы туда долго ехали на трамвае. Надо сказать, что нас встретили очень внимательно и ласково. Задавали нам порою вопросы очень наивные - ходим ли мы в Сибири в общие бани, мужики и женщины, нет ли с собой кусочка золота, чтобы новый зуб сделать. И уже тихонько спрашивали, начались ли в Сибири ночные аресты?

Так в первый день приезда мы узнали кое что, о чем не писали наши газеты: из газет мы знали только о больших судебных процессах над троцкистско-зиновьевскими бандами.

Меня это как-то мало интересовало. Я владел уже двумя правдами о Февральской и Октябрьской революциях, о гражданской войне, а о коллективизации моя правда не лезла ни в какие рамки, я не принимал никаких объяснений - верил своим глазам.

Первая наша экскурсия была на станции метро - от Сокольников до парка имени Горького. Мы выходили из вагона на всех станциях и внимательно слушали захватывающий рассказ экскурсовода.

- Это могло построить только наше социалистическое государство, здесь внесли свой вклад все республики - кто мрамором, кто стальными конструкциями.

Это было убедительно. На станции «Дворец Советов» мы вышли на улицу на огражденную видовую площадку над котлованом, где укладывались конструкции фундамента дворца Советов, тяжело ворочались гусеничные подъемные краны, где-то сверкали вспышки электросварки. Фотографию проекта дворца Советов я видел в «Пионерской правде». Я тогда не знал полного названия снесенного храма, на месте которого должен встать дворец - памятник Ленину.

Экскурсовод на плохо сформулированный мой вопрос ответил печальным и ярким рассказом из новейшей истории.

Тогда я и узнал, что собор в Москве и собор в Красноярске принадлежали одному автору - академику архитектуры Тону. К сожалению, все его творения, кроме Большого Кремлевского дворца, были уничтожены по инициативе кого-то, с молчаливого согласия видных советских архитекторов.

Так как мы были из Красноярского края, то экскурсовод рассказал о больших настенных картинах - «Вселенских соборах», выполненных В.И. Суриковым после учебы в академии. О судьбе этих картин он не знал - или их демонтировали, а возможно, и взорвали вместе с собором.

Я отошел от группы и смотрел на огромную черную дыру, где ослепительно сверкали огни электросварки и лениво двигались краны. Я уже не хотел ни у кого ни о чем спрашивать.

Николай Алексеевич посматривал в мою сторону. Когда снова входили в метро, он на миг положил свою руку на мое плечо. Это что-то означало, возможно сочувствие.

Только час назад я восхищался легкостью и гармонией подземелья станции «Дворец Советов». Но мой восторг рассеялся: перед глазами стояла опоясанная заборами и колючей проволокой пустота, которая проглотила великолепный собор - выдающееся произведение русского зодчества вместе с произведениями многих выдающихся русских художников конца девятнадцатого века. И этого словно никто не заметил!

Мне думалось, что в эту мигающую преисподнюю может вместиться и вся Третьяковская галерея, и многое другое, что составляет российскую национальную гордость. Видно, туда провалилась часть нашей совести и сострадания: прошли многие годы, и я не спрашиваю никого о невосполнимых потерях тех лет.

Намеченную на вторую половину дня экскурсию в Третьяковскую галерею Николай Алексеевич отменил. Мы проехали одну остановку на метро и вышли к грандиозному канатному мосту - Крымскому. Перейдя Москва-реку, оказались в парке, где красовалась винтообразная парашютная вышка. Не сговариваясь, мы сразу направились туда, и физорг купил длинную ленту билетов. Каждый билетик - на один прыжок.

Забравшись по винтовой лестнице на верхнюю площадку, мы немного притихли.: Оказалось, раскрытый парашют висел на конце длинного шеста на уровне площадки, с которой нужно было шагнуть в воздух и камнем лететь вниз метров пятнадцать, пока лямки твоей надежной сбруи не сдерут парашют и твой вес не заставит его раскрыться по пути к земле.

Вот этот первый шаг в пустоту оказался неожиданно трудным. Дежурный инструктор хотел мне помочь, слегка подтолкнуть, Коля Беспалов перехватил его руку:

- Это неправильно. Давай сам!

И я шагнул в воздух, даже пытался немного подлететь в сторону центра огромного полосатого купола. Опомился я, когда стропы основательно дернули меня, как будто вверх, да так, что лязгнули застежки широких лямок на моих доспехах. А дальше был полет навстречу людям, казавшимся с воздуха очень короткими. Круг лица со щелочками глаз и носки ботинок торчат из подбородка.

Приземлился я быстрее, чем хотелось - по всем правилам и советам нижнего инструктора.

- Хорошо, - сказал он и отстегнул меня от лямок и мешка-разновеса.

Я посмотрел наверх. Там на краю бездны стоял Коля. Он ждал, пока парашют за тонкий трос поднимут к вершине вышки. Я не отходил от круга приземления. Хотел посмотреть, как Коля шагнет в воздух, но его полет уже не произвел на меня впечатления. Я встретил его вопросом, похолодало ли чуток на душе?

- Пойдем, прыгнем еще, билетов много, девочки все равно струсят, а скажут, что не в спортивных они костюмах, - ответил он предложением.

Потом было колесо обозрения, были и пруды с лебедями, и весь мир был светлый, а люди - красивые! Шло лето 1936 года. Я тогда не знал, что в Ленинграде в тюрьме «Кресты» застрелен уже мой дядя Давид, администратор и артист финского Дома просвещения, и его жена Хелена. Их маленький сын Валтер потом написал мне письмо об этом, видно, не без помощи кого-то взрослого, пожелавшего остаться неизвестным. Письмо я получил осенью, но оно имело дату как раз тех дней, когда я развлекался и метался в тяжелых раздумьях на тротуарах Москвы.

Вечер в доме Юных Туристов показался бесконечным. Утром надо встать рано, после гимнастики и завтрака к 9 часам успеть в Лаврушенский переулок к чугунным литым калиткам двора Третьяковской галереи. Последнее наставление Николая Алексеевича было таким:

- Придем в галерею - не разбежаться. Нам все покажет и расскажет экскурсовод. Все они хорошо знают свое дело. Будьте внимательны - узнаете много важного. Вопросы задавать можно, но глупых вопросов не должно быть.

Неожиданно для меня экскурсия в Третьяковку явилась замечательным путешествием в историю русской культуры, в самые драматические страницы ее жизни, начиная с картин Флавицкого «Княжна Тараканова», Репина «Иван Грозный и его сын Иван», картин Сурикова «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» и далее к полотнам Ярошенко «Всюду жизнь» и «Тройка» Перова.

Перед просмотром картины Репина «Бурлаки на Волге» мы немного отдохнули на широких скамейках. Многое оказалось тут таким, как я представлял и знал по каким-то журнальным материалам. Но столь поражающего драматизма и сгустка психологического действия, которые я увидел в Иване Грозном, не ожидал - такого в жизни нет! Бывает отчаяние и раскаяние, бывает истошный крик души, но такого высокого драматизма в жизни увидеть невозможно. Только гений художника может остановить это мгновение, передать зрителю на полотне через суд и страдания своей души, крик и боль остановившегося сердца.

«Бурлаки на Волге» я смотрел спокойно и думал, что здесь в лаборатории души художника назревало то, что вспыхнуло потом грозой в «Иване Грозном».

Я соглашался с размышлениями опытного искусствоведа - красивой пожилой женщины, она так убедительно переводила сюжеты жанровых и исторических картин в зону обязанностей литературы, что я сам уже начинал придумывать свои варианты прочтения сюжета картины. Экскурсовод видел во взгляде и повороте головы молодого бурлака порыв уйти с холста, убежать в хмельную ватагу «Стеньки Разина». Я же видел в интонациях движения этого парня тоску по оставленному дому на том берегу Волги, а там - его мать и невеста.

В сизых далах «Владимирского тракта», казалось, вот-вот запылит колонна в сопровождении кандального звона, в путь сибирский, дальний - к нам на станцию Енисей, где так неудачно упал в дорожную пыль мой бедный братишка Суло.

В «Кочегаре» Ярошенко проникновенный экскурсовод увидела огненные искры зарождения революции: сильные руки, освещенные пламенем топки, резкую тревожную тень за могучей сутулой фигурой - все это как символ нарождающейся стихийной силы рабочего класса.

Вскоре рассказы экскурсовода я был убежден, что русские художники второй половины девятнадцатого века только и думали, как бы помочь неизвестным им будущим большевикам свергнуть царя-убийцу и выпустить из зарешеченного вагона бедных детей арестантов, раздавать хлебные крошки доверчивым голубям. Жаль, что при жизни художника Ярошенко не возили эзков в товарных вагонах: пришлось бы ему написать наш облитый парашами черно-коричневый вагон с маленьким окном и без голубей, мы их не жаловали хлебными крошками.

Начитанный мальчик из девятого «Б» Женя Доброхотов шепнул мне с явным оттенком ехидства:

- Слушай, старик, это и есть так называемая вульгарная социология. Слушай внимательно, для тебя это говорится, для воспитания, чтобы ты так же смело и ярко воспевал нашу прекрасную действительность.

Тут бы и дать пощечину этому холеному Женьке, учительскому сынку - что он понимает в нашей действительности? Не ему судить, комнатному котенку.

Экскурсовод заметила неладное в нашем крыле внимательного, замороженного полукруга.

- Пожалуйста, скажите, что непонятно, попробуем разобраться вместе, - с доверительной улыбкой обратилась к нам сияющая всезнающая женщина.

И тут Женя Доброхотов и задал вопрос, от подобных которому нас оберегал директор школы:

- Скажите, пожалуйста, могут ли современные советские художники создать подобные произведения, как вы сказали, с задачами критического реализма - что-то подобное «Ивану Грозному»?

Мне показалось, что белой старушке этот вопрос залетел прямо в полуоткрытый красивый рот. Она что-то проглотила, но, справившись с секундой замешательства, бодро ответила:

- Я думаю, что мой юный оппонент имел ввиду исторический жанр. У советских художников на вооружении советская историческая наука - она не имеет ничего общего с буржуазным объективизмом. Поэтому для советских художников исторические события имеют другую эстетическую базу - метод социалистического реализма.

Женя поторопился уточнить свой вопрос:

- Я имел в виду современные социальные, если хотите, классовые события - расправу с казачеством, насильную коллективизацию, голод на Украине...

Но директор Николай Алексеевич шагнул в сторону смелого мальчика Жени Доброхотова, с улыбкой положил свою тяжелую ладонь ему на плечо и сказал уже посиневшей даме - «Простите, мы снимаем вопрос».

Наша экскурсия и беседа продолжались. Мы подошли к главной картине Васнецова «Три богатыря». Я знал уже заранее, что это защитники рубежей Родины, в те поры - России, что они олицетворяют мужество, силу, ум и храбрость и даже остроумие русского народа. Возможно, я ранее читал на листке отрывного календаря такое энциклопедическое толкование об этой великой картине.

Я ушел в другой конец зала, где тогда висела «Аленушка». Мне с тех пор эта картина кажется лучшим психологическим произведением Васнецова. Тогда мне хотелось остаться одному, вернее, побыть наедине с любой из запавших в душу картин.

Нам всем и мне сказочно повезло. Экспозиция Третьяковской галереи была дополнена картинами Репина и Айвазовского из Русского музея в Ленинграде. Здесь были представлены и «Запорожцы» Репина, и «Девятый вал» Айвазовского. То ли предвечерний свет усиливал драму девятого вала и людей, держащихся за последнюю надежду - поломанную мачту, то ли мое желание увидеть что-то близкое моему состоянию, но что-то непонятное придавало этой картине невероятную силу воздействия.

Тогда я был неподготовленным новичком - зрителем; и теперь думаю, что для встречи с подлинным искусством зрителя готовить не надо. Он сам поймет, освоит те мысли и истины, которые он способен понять в данный период своего развития. Кто-то из моих учителей сказал, что хорошая картина, как библия - она неисчерпаема, и каждый может обогатить себя ею настолько, сколько может принять его душа.

К концу дня я был переполнен невеселыми мыслями о том, что затеваю непосильное дело - мне никогда не приблизиться, как к звезде небесной, к этому могучему искусству. Я отступал от «Явления Христа народу» Александра Иванова, уходил, оглядывался и возвращался снова. Пытался запомнить эту картину - вдруг никогда больше не увижу? Пытался представить самого художника - я тогда не знал его портрета - как он выглядит? Что он думал, был ли предан искренне и глубоко вере о явлении Христа?

Как могу я постичь красоту души чужого народа и далекого времени, красоту, о которой мы можем судить только по библейским сказаниям? Нет, не смогу я в истории моего забитого униженного народа найти подобные символы веры! Я представляю Христа только распятым, в той кульминации, когда он уже отдал все свои земные страдания за искупление грехов и злодеяний наших, и над ним уже появился светящийся нимб героя-мученика.

Я же не видел ничего героического в смерти моих маленьких друзей, даже братика Суло видел страдальцем в минуты его смерти, избавившей его от жгучей боли, раздирающей его грудь. А вот маму я понимал как символ скорби и мужества, когда она поднялась над гробом Суло с колен и, выпрямившись, глядела просветленными глазами в даль лесов с молчаливым вопросом:

- Что еще ты уготовил нам, Господь?! Нашу утомленную группу я догнал уже во дворе.

- Простите, засмотрелся немного, надеюсь, вы не потеряли меня?

Обычно мы шагали по Москве этаким косяком - впереди Николай Алексеевич, потом девочки и мы все парным длинным хвостиком. Говорящие обычно устраивались в хвосте. На этот раз - я и Женя Доброхотов. Он хотел узнать, что я думаю о его вопросе искусствоведу:

- Вывернулась, стараямышь, уперлась каблучками в советскую историческую науку! Ты не обиделся?

- Ты немного подвел Николая Алексеевича, он отвечает за наше с тобой воспитание! Но выглядел ты хорошо. У меня даже спину заохлоло. Нина с Валеи смотрели на тебя и цвели., честно говорю. Плохо, если эта старушка испугается и черкнет пару строк о состоянии воспитательной работы в нашей группе - у нее же все данные о нас.

Как-то незаметно я отстал. Женя присоединился к девочкам, а я не хотел ни чьих расспросов. Остановился на мосту через протоку Москва-реки, оперся о перила, ныла ушибленная нога. И вообще устал.

Я смотрел на воду. В мутной легкой ряби плыл окурок, отражалось небо, и мне показалось, что отражаюсь я - этакий темный взлохмаченный силуэт слегка колыхнется над речной глубиной. На мое отражение наплыла конфетная бумажка с плохим оттиском шишкинских медведей. У меня перед глазами мелькнула сегодня увиденная картина с настоящим утренним лесом и как живыми медвежатами на фоне тумана - как у нас в Сибири за Красным Ключом. У нас в Сибири сейчас созревает черника, глухарка выводит птенцов на ягоду. Ранним утром пахнет медом речка Микчанда. Я так и не мог установить, какие цветы так сильно благоухали на рассвете. А вдруг посадили отца? Жива ли мать - ее сильно мучают приступы малярии, а прошлым летом она чуть не умерла от воспаления легких. Причина болезни была в том, что она не могла переходить холодные речки босыми ногами, когда мы шли с ней на промывку золотого песка на свою речную косу на Удерее. Она целый день оставалась в мокрых ботинках и брюках.

- Вот Вяйне отправлю в школу, а там можно и умереть..., - слабым голосом жаловалась мне она.

Я то понимал, что она усыпляет бдительность ангела смерти, будто в любой момент готова - вот только меньшого подниму до школы.

- Слушай, милый, давай топай отсюда, - услышал я чей-то совет, но не догадался, что этот фамильярный совет обращен ко мне. - Не положено стоять на мосту, да и зачем нагибаться через перила.

Я оглянулся и встретился взглядом с глазами парня в одежде милиционера. Мне показалось, он немного испугался.

- Вы не заболели? - почти учтиво спросил он.

Но тут вернулся Николай Алексеевич и как-то туго выдавил вопрос: -Что?

- Все в порядке, в ушах немного шумит, отдыхал.

Милиционер изысканно козырнул и исчез за прохожими. Николай Алексеевич, провалиться мне, легонько указательным пальцем снял слезу с моей щеки. откуда она, нестати?

- Конечно, есть о чем подумать. Ладно. Все пройдет. Купим краски. Кто еще у нас в группе рисует, Коля Беспалов? Он тоже из спецпереселенцев? Пойдем. У тебя родители живы?

Я отвечал на ходу на все вопросы директора, и у меня отлегла от сердца дума о том, что мы у него на особом учете. По интернатским спискам мы были все равны, без красных точек против фамилий и чернильных птичек в графе после домашнего адреса.

- Как у тебя с деньгами? - как бы между прочим поинтересовался Николай Алексеевич.

- Домашний НЗ при мне и мелочь на газировку и трамвай.

- Вот, возьми, ты сам краски быстрее найдешь. На Кузнецком есть магазинчик, от Охотного ряда недалеко, найдешь. В акте потом распишешься, не потеряй.

Страх потери все же витал надо мной. Забегая вперед скажу, что когда я осенью в золотом сентябре приехал в интернат в школу, когда мы - вся школа, семнадцать классов, выстроились в спортивном зале на торжественную линейку, нам объявили, что назначен новый директор школы, а Рогов, то есть Николай Алексеевич, арестован, как враг народа.

Я ушел сквозь шеренги пятиклассников к открытому окну, и дальнейшее, что происходило в зале, уже не слышал.

Все было глупо, подло, мелко. Николай Алексеевич был сыном красноярского революционера, большевика Рогова. В музее висел его портрет.

Был ли Николай Алексеевич коммунистом - я не знал. Было ему не более 30 лет. Были у него жена и маленький сын. Возможно, он жив - он не успел по возрасту на войну. О Николае Алексеевиче я никогда больше ничего не слышал. Тогда интересоваться было не принято, да и правду никто бы не мог сказать.

Глава XII - БРОСОК НА ТРОПУ УДАЧИ

- Рюкзак книг и реквизиция рогатки.

- "За тобой следует пиковая дама".

- Страшный рассказ отца и легенда о Медном змие.

- Где же цыплята по осени?..

- Клей из ножек молодых коз.

- Почти как у Джека Лондона.

- Врать не хотелось, но...

- Ева с красноярской переселенки.

- Белый всадник на белом коне.

- Охрана недобытого золота - и как понять статью о недрах.

- *Двурогий мешок из штанов.*
- *"Должно богатеть государство, а не вы лично".*
- *Погиб человек за металл.*
- *Забегу вперед на полвека.*
- *Взятка птице, уже отлетающей.*
- *Кулек конфет в аспекте хрупкой вечности.*

Продолжаю рассказ о моих приключениях с золотом. В Москве я купил наборы масляных красок и кистей, книгу Рыбникова «Техника живописи» и ряд других книг о художниках и об искусстве. Мой рюкзак с этим добром я отправил с почтовой подводой со знакомым парнем из Южно-Енисейска до Кировского прииска, там в четвертом бараке спецпоселка наша дощатая клетушка, где мы все живем. Так как я возвращался из Москвы, парень обещал подбросить рюкзак до двери барака. А я сам же налегке пошагал через горы, считая телефонные столбы на просеке, где петляла тропа между пнями и валежинами.

Шел легко. Меня радовали синие гроздья жимолости, которую никто не собирал. Тропа забиралась на перевалы, я смотрел на таежные дали и мне казалось, что этого мне не хватало там, в Москве, что я ждал встречи с этой бескрайней тайгой.

На длинных пологих спусках я почему-то бежал. Не дойдя километра четыре до дому, где тропа выходит на открытые размытые поляны отработанного гидравликой полигона, я свернул туда, услышав привычные шум и скрежет промывочных агрегатов. Меня узнали и обрадовались мужики из бригады Семена Реди, готовые вручить мне скребок или лейку, а вечером записать в тетрадку мою долю золота. Забавно было, что они по-прежнему верят в мою удачливость, помнят, что мне иногда везло в разведке новых песков. Втайне я тоже верил в свой фарт, как и все, кто вышел на тропу золотого промысла.

Мне принесли из сарайчика резиновые сапоги и брезентовые рукавички, но я спешил домой. Я даже представил, как встречу отца, бережно приму его шершавую руку, как обниму мать, как подниму к потолку братика Вайне. Он должен пойти во второй класс. В бараке, в коридорчике, куда я вошел, было тихо. Я постучал в дощатую дверь.

- Ходи, крыто, - мама обняла меня и сказала, хорошо, что я приехал. Отец болен. Сдали нервы, иногда говорит глупости. Бывают ночами приступы страха, лежит, мол чит, не смыкает глаз. Вызывают его иногда на Центральный прииск в НКВД - все допрашивают, мне он ничего не рассказывает. Выслушай его внимательно. Пришло время помогать ему. Он тебе доверяет.

Вайне забежал чем-то расстроенный, прижался к моему боку и молчит. Я его погладил и спросил, что случилось.

- Гошка Моторин реквизирует мою рогатку.

- Что значит реквизирует? Откуда ты выкопал такое слово? Пойдем!

И мы кинулись в соседний отсек барака к Моториным. Братья Моторины очень обрадовались нашему визиту. Гошка отдал рогатку и принес нам вареных кедровых шишек.

Пришел с работы отец, подал мне руку, осторожно пожал мою, даже чересчур аккуратно:

- Мне уже сказали, что ты идешь, видели тебя на Центральном. Все ли в порядке? С пользой ли провел лето?

Я обещал все рассказать по порядку - но тут мама позвала за стол; за ужином сразу всем я отвечу на вопросы.

Несмотря на вечерний час, отец после ужина пригласил меня на рыбалку на речку Микчанду. Он взял удочку с единственной мушкой. Обычно мы брали с собой коробочку с разного рода, разного цвета обманками - бабочками, мушками и тараканами. Трудно угадать, на что клонет сегодня хариус. Но мы прошли через речку по стволу давно поваленного кедра и по вертлявым кочкам перебрались на сухой остров среди болота с карликовыми соснами и сухими пнями давно сгоревших деревьев.

- Дело дрянь, - сказал отец, - меня спрашивают во всяких подробностях о братьях Давиде, Иване, Михаиле и о твоём брате Эйно. Надо было тебе догадаться, насмелиться съездить в Питер повидаться с ним, я понял, что деньги у тебя были. Я плохой провидец, но боюсь, душа плачет, вы с ним больше не увидите. Стыдно говорить, но по выходу из «Крестов» я гадал у известного питерского шарлатана, к сожалению, его карканья пока сбываются. За тобой следует какая-то пиковая дама.

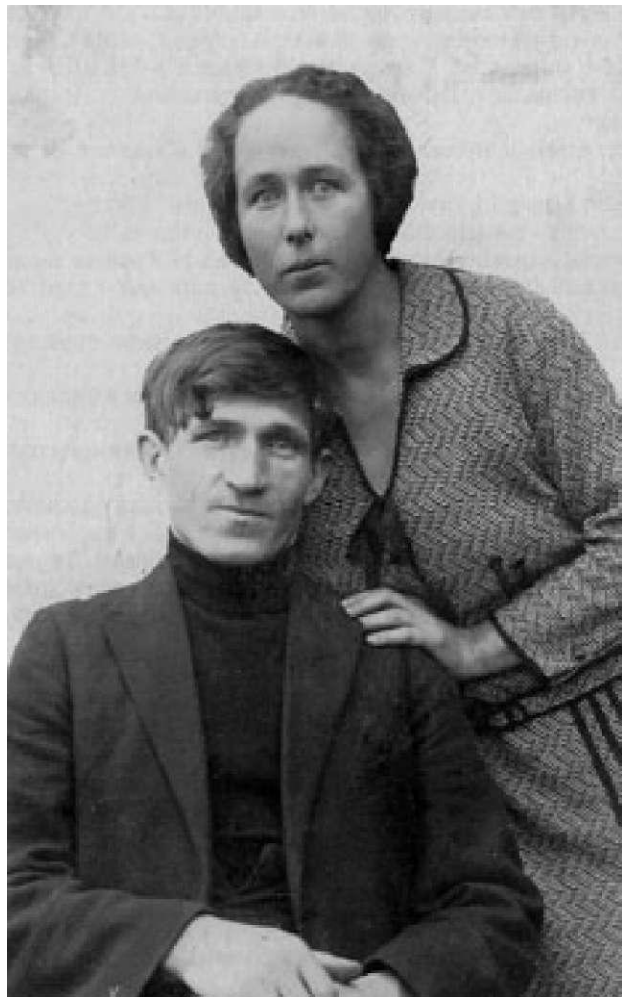
Я вспомнил слова матери и постарался перевести разговор в более легкую шутливую форму:

- За черную даму не беспокойся, твой колдун ошибся. Это не дама, а мой ангел- хранитель. Я обещал ему свою душу, если он обеспечит мне чистый паспорт и всемирную славу.

Отец обиделся:

- Я ему о деле, а он мне про нечистую силу. Как ты думаешь, почему требуют все домашние фотографии принести им - и дядей твоих и брата Эйно? Письма я уже показывал, в них ничего, оказалось, интересного для

них нет. Письмо Никиты Михайлова я уничтожил, не подумал, что они могли его уже просмотреть до того, как я получил. Что делать? Никита писал, что идет выселение всех наших финских деревень, людей отвозят и расселяют на чужих землях в Новгородчине, вологодских и псковских местах. Пишет, что готовится война с



Дядя Давид с женой Хеленой в 1936 г. (стр. 79)

это не мое дело. Пока я могу только мечтать о своем деле, но если не добиваться исполнения мечты, это значит предавать себя. Насчет ареста. Как ты сам говорил, на все воля Божия. Думаю, что ни Тигонен, ни Хайми, ни Миша Кяхяри никаких преступлений не совершили. Вспомни библейскую легенду о Медном змие. Наш директор говорил, что наступит период испытаний для каждого из нас - проба на веру, на преданность партии и Сталину. Отец горько усмехнулся:

- Кирова тоже проверяли на преданность - убили. Думаю, что среди сорока тысяч ленинградцев, которых обвинили в убийстве и посадили в тюрьмы, сослали в Сибирь, далеко не все с покорностью во взгляде обращали свои надежды к Сталину. А легенду о Медном змие я тебе рассказывал еще совсем маленькому - картинка была в той книге. Как же ты забыл?

В истории мирового искусства известны несколько картин о Медном змие, вернее об этой легенде. Есть и в русском искусстве такая картина академика Бруни. К сожалению, она мало известна в народе. Легенда гласила: пророк Моисей вел свой народ из долгого изгнания на родину - в землю обетованную. Путь лежал через безводные пустыни, и предстояло выдержать целый ряд других испытаний. Народ голодал, терял силы, упрекал Бога, проклинал свою судьбу. Моисей решил спасти свой народ от морального падения и распада вполне революционным методом. Он ужесточил условия и без того тяжелого пути. По его воле на бедный народ были напущены тысячи ядовитых пустынных змей. Они не кусали, не жалили только тех, кто обратил свои взоры к Медному идолу змея, вознесенному на высоту медной колонны, что высилась над пустыней. Так смертельная беда должна была сплотить израильтян.

В истории русского народа случалось так, что, потеряв святую веру, он мог объединиться только в годину страшных испытаний, присягая и падая ниц перед бронзовым идолом. Миллионы умирали, не присягая.

Финляндией - ремонтируют, расширяют к границе дороги. Тебе в анкетах лучше писать, что ты не знаешь финского языка. Здесь уже пересажали многих финнов, и русских тоже, и немцев. Все не в ногу шагают. Я все думаю, в чем меня могут обвинить. Меня тогда, в тридцать первом, отпустили с условным приговором - по воле тройки. Неужели это дело может возникнуть снова? Я вам не говорил, что подписал письмо Кирову от группы наших питерских переселенцев. Мы жаловались на необоснованную нашу высылку. Поехали с письмом молодые ребята, у которых не были изъяты паспорта, и как в воду канули. Знай, что я ни в чем не виноват. Если меня заберут, все останется на тебя. Федя малограмотным остался, но и его могут загрести - он же совершеннолетний и крепкий рабочий. В совхозе, где мы недавно жили с семьей, арестовали всех финских специалистов-агрономов, Суни и Егора - нашего родственника, тоже Ряннеля, зоотехника Вильки, экономиста Юхо Мюллеря.

- Приисковый врач пол учил чей-то указ не лечить наших ослабевших стариков, - продолжал свой страшный рассказ отец. - Не сердись, сынок, скажу тебе самое главное. Если тебя пошлют на войну с Финляндией, помни, кто ты есть. Если ты живым уйдешь туда, нас здесь затаскают, мы, ведь вне закона. Если выживешь - твое место здесь, твое дело помогать ограбленным' и униженным - вдовам и сиротам расстрелянных. Люди должны на кого-то надеяться. А пока я тебя записал в группу техминимума по двигателям внутреннего сгорания.

Я поднялся с коряги - отекала нога.

- Спасибо, отец, за заботы, но я не уверен, что оправдаю твои надежды. Двигатели - это хорошо, но

Свои мысли о неизбежности потерь мне хотелось растолковать отцу, но он меня не слушал. Как бы про себя он сокрушался, что был полный дом сынов - а вот тебе и цыплята к осени. Видно, он считал, что если я выберу живопись, значит уйду с концом в никуда, откуда уже нет возврата домой к святой обязанности кормильца, надежды и опоры.

Я был тогда молод и до глупости самоуверен, убежден в том, что со мной ничего не может случиться, ничто мне не мешает подготовиться к экзаменам в Академию художеств, на первый случай - в художественное училище. И мне казалось, что мама опасается напрасно - отец вполне реально смотрит на обстоятельства, без растерянности.

На следующее утро я направился в старательский разрез разведать, как идет намыв в бригадах, к кому примкнуть дней на двадцать, заработать золотых рублей к долгой зиме. Оказалось, все скальные обнажения с их бесчисленными трещинами и выбоинами обшарены и промыты - все выбрано до последней крошки, но заработали не очень-то, так себе. Впрочем, старатели и золотоискатели правду никогда не скажут. Каждый уверен, что удачу надо прятать от постороннего глаза. Но в бригаду меня не очень-то приглашали - видно, на самом деле с металлом было неважно. Что же делать?

Несколько дней я смешивал краски, радостно добивался все новых и новых их оттенков. Читал книгу по технике живописи. Книжные советы мне показались никчемными - у меня не было ни таких холстов, ни картонов. Клей для грунта рекомендовался из костей ножек молодых коз! Все это пустяки.

Что-то надо было делать. Заманчивый план похода на вновь открытые богатые россыпи золота в пределах Ерудо-Питского комбината предложил нам все тот же инженер С. Он почему-то избегал частых встреч с нами, но сочувствовал, иногда помогал.

- Там почти как у Джека Лондона, только везет тем, кто хочет работать - золота столько, что осеннюю добычу прошлого года старатели не сумели пропить в ресторанах Енисейска и Красноярска.

Отец и мать со страхом отнеслись к моему плану, советы давали самые наивные, но все же мое рвение обеспечить семью пищей и одеждой они молча одобрили.

Труднее оказалось с бригадой - с теми ребятами, с которыми я бил шурфы летом прошлого года. Тетка Валтера закатила нам такую истерику, что мы испугались за ее жизнь: она кричала и размахивала руками так энергично, что глаза ее, готовые выскочить из глазниц, как-то вдруг остановились и руки судорожно хватали голубую кофту, за которой захлебывалось сердце.

Я подал ей ковш воды из бочки и убеждал, что ее сирота-племянник - крепкий мужик и смелый и что приходит время и ему стать взрослым. Сейчас как раз такой момент. Со вторым участником оказалось проще, хотя в семье у них дела были хуже не придумаешь. Отец арестован, бабушка умерла от цинги и недоедания, у матери Анны на руках маленькая девочка. Естественно, она боится за Арви, вся надежда на него, если Бог даст еще счастья жить.

Нужен был нам в бригаду и «человек с ружьем» - кто-то из вольных, имеющий оружие, вернее разрешение милиции. Выбор пал на Петьку Дементьева: таежник, рыбак, терпеливый парень, артельный, как говорят у нас на приисках. Его отец даже обрадовался, дал нам винчестер, переделанный на универсальный патрон. Заряжай хоть пулей, хоть дробью. Он советовал о нашем походе никому не говорить, на вопросы отвечать только официальным лицам.

В то время в тайге, по слухам, бродили банды сбежавших из лагерей заключенных, с которыми лучше не встречаться. Банды промышляют чаще около основных дорог, поэтому дядя Федя - отец Дементьева, советовал нам пользоваться зимними затесами тунгусов-охотников, которые еще не перевелись в этих местах.

И еще мы взяли одного малого по имени Шамиль. Его бабушка плохо говорила по-русски, так что нам договориться было просто: я погладил ее руки и сказал, что завтра Шамиль пойдет с нами, сухарей дайте ему, если есть и соли, больше ничего не надо.

До зимовья на речке Ишимбе мы шли по тунгусской тропе через сосновые горы и болотистые ивовые долины - так было ближе на полдня пути. От зимовья мы шли по колесной дороге через таежные перевалы и речные перекаты до пустующего прииска Ереминского. Там мы догнали почтовую подводу, идущую на рудник Аяхту и Пит-городок.

Недалеко от Аяхты мы неожиданно встретились с фельдъегерями и их охраной. Они внимательно рассмотрели нас, но от вопросов воздержались - мы шли за почтовой повозкой, значит, при деле, как и они.

В Пит-городке мы зачем-то наврали, что ждем илимку Золотопродснаба, чтобы плыть до пристани Брянка, а там с попутной машиной на Соврудник. На самом же деле мы переправились через реку Пит выше Пит-городка и спецпоселка ранним утром, когда еще ни один рыбак не маячит на речном берегу с длинной удочкой.

До Ведут мы шли рядом с зимней дорогой. Это был тяжелый участок. По весенней распутице кто-то прогнал здесь тяжелый трактор, который оставил две параллельные бесконечные ямы, наполненные болотной

жижей. Зимой эта дорога сокращает путь на Еруду, но летом здесь может осмелиться пройти только дурной пешеход или смелый ездовой на опытном таежном коне.

Дорожный поселок Ведугу мы обошли тайгой. Недалеко от поселка заночевали на сухом южном склоне в кедровнике, украшенном белыми подушками сухого колочего мха. Утром я сходил в поселок в магазин, купил две булки свежего хлеба. Продавщица спросила к кому я приехал погостить - видно, здесь все хорошо знали друг друга и интересовались каждой новостью. Продавщица была немолодая, но с очень ясными глазами, и врать мне ей не хотелось. Однако сказал, что иду с товарищами на Пит - здесь проще, чем через Брянку, не каждый день бывает попутная илимка на Пит-городок. И мне пришлось из-за этого сделать крюк по окраине поселка, пока вышел на тропу, ведущую к горе, где остались друзья.

За поселком мы вышли на Северо-Енисейский тракт, но двигались по обочинам дороги, по краю леса. Так мы к вечеру вышли к зимовью, от которого до ерудинского сворота осталось километров десять. В зимовье жили две семьи дорожных рабочих. И тут меня неожиданно опознала женщина, которая заговорила на чудовищной смеси финского и русского.

Родители ее умерли в голодный тридцать третий год в Енисейске, а ее, молодую и прозрачную, прибрал к себе одинокий, отбывающий ссылку после лагеря, добрый человек с татарской фамилией, которую я тут же забыл. Она меня, эта Ева, запомнила по Красноярской переселенке, помнит и отца: он распределял хлеб и сахар при отъезде группы, видно еще до нашего отплытия. Оказалось, она по таежной тропе в выходные дни пробиралась к старательским разрезам и выменивала у откатчиков пару лопат золотоносной породы.

Так мы узнали, что на Ново-Ерудинском месторождении работают две драги и несколько старательских артелей на разных полигонах, которые, как кот в мешке, взяли золотоносные участки, получили экскаватор и другую технику от комбината, аванс - и пошли ворочать! Бригады сформированы из знающих друг друга работяг, которые клятвенно взяли испытать вместе и тяготы и удачи. Выходило, что нам мало что светит - никто нас в бригаду не возьмет, никто не поверит, что мы можем наравне со взрослыми действовать скребком или ворочать тачки с тяжелой породой и глиной к промывочному барабану.

Но все же по таежной тропе на следующее утро мы вышли, как бы с затылка, к огромной вырубке среди чахлой тайги. На этой площади развернулись в беспорядке груды развороченной земли вперемешку с поваленным мелким лесом, длинные дощатые колодины водоводов и трудноописуемые промывочные агрегаты. В разрезе ворочался экскаватор, а за ним на пригорке возле белых и серых скал, ближе к краю леса, виднелись палатки, корьевые шалаши, дощатые будки.

Свой наблюдательный пункт мы облюбовали в расселине известковой скалы, увенчанной двумя корявыми пихтами. Здесь мы поели вареной картошки, полученной от Евы, был у нас и хлеб, кроме неприкосновенного запаса из дому. Договорились, что в разведку идем по одному. Кто к экскаватору, где, очевидно, главная жила с золотым песком, кто к промывочным установкам. Желательно подсмотреть съемку металла, которую могут проводить два раза в день в зависимости от качества приемных матов и содержания металла. Следует обследовать мешки с продуктами, что-то купить, если можно - выпросить на время брезент для шалаша. Выяснить, что и как охраняется.

Я решил поговорить с бригадирами и артельными паханами - на каких условиях нам могут дать работу, хотя бы дней на десять.

Не может быть, чтобы души этих старателей так прикипели к непромытой еще горной породе с пылинками золота, которое еще не добыли, чтобы нам не дать несколько тачек этой породы на счастье. Промывочные лотки мы надеялись смастерить, только надо достать топор. Стамеска у меня есть в качестве холодного оружия. Договорились встретиться здесь в расселине, когда солнце дойдет до той остроконечной сопки за бараками далекого поселка.

Только вблизи можно было рассмотреть, что здесь работают сотни увлеченных добычей счастья людей - мокрых, хмурых, грязных и даже веселых. На мои вопросы, где здесь найти главного, как он выглядит, на кого похож, - отвечали кратко и вполне доброжелательно. Выходило, что главный похож на Чапаева - в папахе и бурке, на белом коне и сам весь в белом, но к нему по пустякам лучше не обращаться - может оттянуть плеткой по спине. Но может и выслушать, помочь. Хороший, правильный мужик, настоящий начальник. Мне посоветовали ловить его около технической будки, недалеко от временной столовой.

И точно. Возник этот белый всадник внезапно, но тут же как из-под земли, появились вокруг люди, желающие с ним поговорить.

Выслушав всех, он заметил меня, вопросительно посмотрел очень светлыми, почти детскими глазами. Я одним дыханием выпалил свою просьбу. Сказал, что хотелось бы и одеться к школе и купить муки и мыла к зиме. Главный сошел с коня, достал из полевой сумки отрывной блокнот, что-то чиркнул в нем карандашом, подал мне листок:

- Найдешь Якова! Подай эту записку, его решение будет окончательным.

Не дойдя до технической будки, он оглянулся и стал похож на миг на Тараса Шевченко. Записку я спрятал и подался к нашей скале. Решил на поиски Якова взять с собой Шамиля, хотя он пишется русским, он все же татарин, и это может разжалобить Якова. Мы должны эту встречу выиграть - другого выхода нет! Не будем же мы воровать землю, пусть даже золотиночную.

Почему-то в эту минуту я вспомнил не то статью из Конституции, не то из декларации - земля, недра, леса и воды принадлежат народу. Значит, и нам, юным гражданам Страны Советов!

В условный час мы собрались к своей скале. Шамиль рассказал, что ничто нигде не охраняется. Склады и сарайчики - на висячих замках. Палатки и шалаши открыты, даже как-то неудобно воровать. А лежат в палатках под подушками и куртками интересные книги, и деньги, даже золотые боны. Еды - завались: и сгущенное молоко, и баранки, и даже пачки с пиленным сахаром.

Из-под рубашки Шамиль, как фокусник, вынул палку сухой колбасы и коробку папирос «Северная Пальмира». Он уверял, что ему эти редкие вещи дал инвалид-старик, дежурный по шалашному поселку. Когда Шамиль выходил из очередной палатки, дежурный старик поймал его и обыскал, но так как Шамиль ничего не взял, старик выслушал его и обещал помочь, даже накормил. И обещал свой промысловый лоток и одну порцию породы, чтобы наша экскурсия в таежное Эльдorado не пропала даром. Еще тот старик сказал, что в бригаду нас никто не возьмет. Азарт сделал людей жадными и подозрительными - кто же пожелает отдать свой кусок золота - самородок с кулак величиной, а ведь он может оказаться как раз в том лотке породы, которую мы у кого-то из-под носа уведем.

Все данные, собранные нашими разведчиками, были интересными, все могло нам пригодиться, если сумеем здесь устроиться хотя бы на три дня.

Одного мы никак не могли понять: то, что было всенародным, общим - земля и недра, и недобытое золото - все ревностно охранялось от нас, любопытных подростков, сотнями серьезных мужиков; как бы мальчишки не перехватили то, что им еще не принадлежит. То же, что являлось личной собственностью, валялось в открытых шалашах, доступных любому воришке. И это личное добро охранялось почти условно случайно нанятым стариком, гостем, которого они не взяли в бригаду - стар, нахлебником окажется.

И встал перед нами вопрос: пойдем ли мы просить несколько мешков породы у всемогущего бригадира Абдрезякова или экспроприируем часть неучтенных доходов и прибылей у личного сектора. Выходило, что лучше выпрашивать на разных участках понемногу золотиночной породы - концентрата, еще не ставшего металлом. Кража металла - это преступление против государства. Но кража денег и продуктов из чьей-то палатки - не просто преступление, а подлость, которую мы отвергаем напрочь.

Старик Иван Иванович, в чью палатку мы перебрались на ночевку, нам вполне профессионально растолковал, какие малые преступления можно делать безнаказанно, за какие большие преступления не принято судить кого-то выборочно, сажают человека подставного. И выходило так, что все же законы лучше не нарушать.

О своей жизни Иван Иванович ничего нам не рассказывал. Мы с удовольствием ели в его гостеприимной палатке соленые галеты со сгущенным молоком, запивали горьким чаем и холодной водой. Утром мы все аккуратно выстроились у бригадного сарайчика, куда к семи часам приехал на сером коне бригадир Яков Абдрезяков. Мы вручили ему записку начальника, похожего на Чапаева и Тараса Шевченко. Бригадир с улыбкой перечитал записку, оглядел всех нас и повел в карьер - прямо под нос еще не разогревшегося экскаватору.

- Берите, кто сколько унесет, - показал он на глинистую смесь песка, мелкой гальки и какой-то черной и серой массы с блеском, в которой угадывалось «на глазок» доброе содержание металла.

- Берите, но только один раз! Промойте, металл сдадите здесь в конторе. Домой возьмете только бону. Сделайте именную. Продуктов здесь не набирайте. Нет смысла тащить за двести верст. Здесь не задерживайтесь. О своем пребывании заявите оперу полномоченному - такой порядок.

Если завязать гачи брюк крепкой бечевкой или тонкой проволокой, то получится двурогий мешок, куда войдет столько породы, что и не унесешь сразу. Конечно, лучше рюкзак с хорошими лямками, но и мешок из штанов хорошо ложится на спину и плечи - неси, только не упади. А нести надо было метров триста вверх по ручью от полигона и там в тени скалы, в стороне от лишних глаз промыть дарованную нам породу и собрать золотой пепел, блески, крупинки и такой желанный самородок, будь он хоть с таракана величиной. Должен же он когда-нибудь попасться.

Так в Ерудинской тайге мы начали укреплять золотой запас страны, надеясь и на свою личную, семейную выгоду.

Трое остались караулить не такую уж и большую кучу породы, которую смогли мы притащить и аккуратно высыпали на большой лист бересты, отслужившей полом в чьем-то шалаше, двое пошли к палатке Ивана Ивановича за промысловым лотком. Этот инструмент мы принесли в закрытом мешке. Прихватили и железный скребок с коротким черенком.

Первый лоток я промывал в тупиковом ответвлении протоки ручья - там и задерживалась мутная вода. Когда были удалены глина и крупные галечные камни и обнажился край мелкой фракции песка, показались и первые золотишки. После нескольких аккуратных промывочных движений днищем лотка в легкой струе воды обнажилась целая россыпь золотых блесток, сияющих как звездное небо на черном, хорошо прокаленном лоточном донышке. Сладко защемило в груди и чуть перехватило дыхание. Когда показались золотишки величиной с тараканье яйцо, а то и с самого таракана, каждый пожелал участвовать в первой промывке. Но я лоток не мог доверить никому.

Первые золотишки собрали тут же, и они звонко легли на дно баночки из-под сгущенного молока. Говорили мы почти шепотом, но все же унимали и сдерживали друг друга от вопросов и ненужных восторгов. Я поучал ребят (как меня когда-то поучали), что настоящий старатель должен радость удаче принимать молча, не меняясь в лице - удача любит людей серьезных, выдержанных. Но когда середина черного лотка засияла сплошным неровным покровом золота, мне стало ясно, что первый лоток дал не менее ста граммов дорогого немного страшноватого металла. А это значило более ста кг муки, столько же масла и сахара, новый костюм, печенье, сгущенку, и даже литр спирта можно взять - может пригодиться.

Лоток с золотом я отдал ребятам. У Арви имеется пузырек с притертой пробкой в кожаном чехле. Там ртуть. Пусть соберут и испекут самородок для сдачи в золотоскупку - в контору. Сам я лег на холодные камни, закрылся с головой под ватником и про себя, тайно от себя, не шевеля даже губами, прочитал забытую молитву Сыну Божьему за хлеб насущный.

Было и другое, не менее тайное сомнение - не сам ли диавол подкинул нам этот фарт, недаром дьявольский голос пел, что люди гибнут за металл.

До конца разобраться в этом вопросе я решил как-нибудь после, а сейчас нужно было спешно и тщательно промывать дарованную Богом и Яковом породу. Начальную работу я поручил своим артельным связчикам, а когда из лотка стала выплескиваться чистая вода, я принимался за самую ответственную процедуру - ни одна золотишка не должна убежать в ручей.

Мы старатели-любители, и фарт нам простит, если я скажу, что второй лоток еще более обострил нашу неумную радость - плоские, со сложными краями золотишки, похожие на приотпанный махорочный окурочок самокрутки. Но, оказывается, у радости бывает предел.

После второго лотка мы стали трезво рассуждать, как нам поделить добычу, как распишем боны - на именные или представительские, которые можно продать за кучу совзнаков, то есть денег обыкновенных, порою бесполезных, но которых всегда не хватает.

О содержании остальных лотков, промытых нами с нарастающим волнением, я рассказывать не буду, чтобы фарт не отвернулся от нас.

К сдаче в золотоскупку мы предъявили нашу добычу с первого лотка, чтобы не напугать старого приемщика всей нашей удачей. Он разломал на куски наш искусственный самородок, проверил, нет ли внутри остатков неиспарившейся ртути и, убедившись в доброкачественности продукции, положил куски на весы, сняв с них стеклянный колпак. К стограммовой гирике он прибавил еще маленькие гири и пластинки с загнутыми уголками - такие гири тоже бывают, и брал он их аккуратно пинцетом из коробочки. Получилось сто двенадцать граммов и еще сотые, тысячные доли грамма!

Но дальше пошло такое, от чего наши круглые физиономии вытянулись: нам каждому выписали по девятирублевой боне с копейками.

Чуть овладев собой после такой невероятно низкой оценки, я все же решил выяснить, что к чему:

- По какой цене вы покупаете у нас металл?
- По тридцать семь копеек. Золотых копеек. За один грамм. Понятно?
- Не совсем, - и я привел цены закупок на ленских и минусинских приисках, и даже рядом - на Совруднике. Тогда лысый специалист объяснил, что расценки эти временные, пока идет сверхбогатое содержание металла.

- Должно богатеть государство, а не лично вы, - он смешно произнес наши фамилии в списке, на котором мы должны были оставить свои подписи. - Таков принцип социализма, милые мои, извольте жаловать.

Мы пожелали везения ему, если он окажется на нашей таежной тропе - ни в чем не виновный ехидный винтик, «извольте жаловать». Гуськом шли к нашей скале, глядя перед собой на тропу. Нас не радовал шум и грохот труда на полигоне. Хрен им на постном масле, а не золото. Сдадим в другом месте за настоящую цену.

Петька сходил к палатке сторожа, подкинул мешок с лотком и скребком и, не попрощавшись, на английский манер, поспешил к нам.

Пришло время уходить опять в неизвестном ни для кого направлении. Мы провели небольшой военный совет. Золото поделили на глазок на пять частей. До возвращения никто не должен развязывать узелок; сдавать металл будем вместе, там и выровняем расчеты.

Было два варианта отступления. Первый, наиболее сложный, мы отвергли сами сразу - надо было запастись большим количеством хлеба, чтобы сделать плот и сплавиться по речке Еруде до реки Чиримбы, по ней - в реку Пит. Какие условия сплава по этим рекам - мы не знали. Второй вариант был уже знакомый. По пути есть два магазина, да и Ева может дать нам кастрюлю вареной картошки. Договорились о кое-каких мелочах. Если на нас внезапно нападут, будем отступать враспынную по направлению нашего пути. Если кто окажется схваченным - сразу все летим на помощь. Условный крик - братцы, стреляйте гада! По мере необходимости - отмахиваться ножами. Петька стреляет вверх только один раз - второй выстрел прицельный. Я надеялся, что такая наша готовность как-то отпугнет опасность, я привык верить в благополучие всех моих затей.

Но не успели мы дойти до Северо-Енисейского тракта с километр, как к нам с правой стороны тропы кинулась наперерез черная лохматая фигура с хриплым криком:

- Стойте, аперсосы, обокрали меня, все равно догоню, зарежу!

Мы кинулись враспынную вниз по склону, но я краем глаза видел, что упал Арви и тут же крикнул: стреляйте в гада!

Бандит уже выкручивал ногу Арви, как прогремел за кустами выстрел. Незнакомец отпрянул от Арви, когда я уже достал рукояткой стамески его большую голову и он, как бы пытаясь выпрямиться, повалился на меня. Струя теплой крови ударила мне в лицо, я отскочил, отплевываясь от соленой, казалось, вязкой жидкости, но тут же подхватил несчастного, пытаясь усадить и прижать артерию ниже уха, но его глаза как-то сразу побелели и остались открытыми.

Как я ни пытался остановить кровь, она пробивалась сквозь пальцы и застывала. Плакал Арви, швырнул нож куда-то в лес. Навзрыд матерился Шамиль. Валтер сидел на мху красный с синими губами и круглыми одичалыми глазами смотрел на меня и на раненого, теперь уже убитого.

- Я вверх стрелял! Вверх! Не мог же я в эту кучу стрелять, - оправдывался Петька.

Я опустил тяжелое тело на землю. Подошел к Арви и обнял его:

- Ты не виноват, он сам наскочил на нож, дурак, ханыга. Меня начало тошнить.

- Давай закидаем лапником и деру отсюда - кто его искать будет? Никто, - Петька предлагал самый легкий, но какой-то трусливый план. - Из-за этого зверя нас иначе пересекают.

- Ну что ты молчишь? - надрывно спрашивал меня Валтер. И я стал приказывать:

- Закрыть лапником, сделать затес на сосне возле тропы, слышите - на сосне длинный затес. Спуститесь к ручью, приведите себя в порядок. Я вернусь, найду опера, все объясню. На тропу выйдете на два длинных свистка в ладони.

Я вытер руки сырым мхом и они стали пахнуть берлогой и медведем и, немного - кровью. Меня снова тошнило.

Я пошел назад к старательским разрезам. Ребятам я еще раз приказал ломать пихтовые лапы.

Я почему-то знал, что когда-нибудь это должно было случиться, и мне стало почти что легко. Но снова накатывался приступ страха: мог этот, что шел нас убивать, быть не один. Напарник мог струсить, когда услышал выстрел. Сейчас он бродит где-то в тайге, может, совсем рядом.

Вывод правильный. Надо обо всем сказать милиционеру, если он окажется в своей фанерной дежурке около столовой. Как определить меру поведения при самообороне? Не мы, а он напал на нас, угрожая зарезать. Вот с перепугу мы и зацепили его за убойное место. Что он, дурак, не видел, с кем связывается? Любой так же бы отмахивался.

Выйдя на полигон, я умылся из лужи отстоявшейся белесой водой. Подошел к будке, когда оперативный уполномоченный уже замыкал свой фанерный скворешник. Я просил выслушать меня, но он свой домик не открыл и почти раздраженно сказал:

- Выкладывай!

И я выложил. Он меня не перебивал, вопросы задал в конце. Я ответил на все вопросы, кроме одного: я скрыл, что у меня в кармане золото, а показал девятирублевую бону. И еще я сказал, что на тропе, не доходя до зимовья, на сосне длинный затес. Ниже по склону под кедрами - тот.

- Я все понял, пошлю криминалиста. Вы будете проходить как заявитель, случай но нашедший труп. Остерегайтесь, он был не один. Этот не главный.

После короткой паузы он как-то близко посмотрел на меня.

- Теперь слушайте. Я вас не видел. Дома не проболтайте. За вас комендант не заступится. Ну, давай! - и он дружески коснулся моего плеча.

Мимо работающих агрегатов я шел, ничем не показывая своего волнения. Меня здесь уже ничто не интересовало. Прощай, Еруда, прощай, Абдрезяков полигон. Я стал на три дня старше, но опытнее на пять или десять лет. Прибавив шагу, я незаметно перешел на бег, и казалось мне, что за поворотом выйдет на тропу тот, кого я боюсь, которого опер не сможет взять с поличным. Ну что ж, я готов к встрече, я сам нападу на него, с

бега метну ему в горло нож и ударом пятки под дых уложу на зеленый лесной ковер, пусть отдохнет, хватит охотиться за бедолагами-старателями.

Бандиту повезло - он вовремя сошел с тропы, не встретился со мной. Ребята откликнулись на мой двукратный свист, и уже вместе мы бежали, ничего не опасаясь, без отдыха до самых сумерек. Ночевали недалеко от поселка со смешным названием - Дорогой. По старой зимней дороге мы шли, не торопясь, засыпая на ходу после бессонной ночи. Мы не разжигали костра. При неодолимой дреме мне казалось, что нас окружают, открываю глаза - предрассветная серость подступает от ручья и еле различимый туман как бы освещает сосновые вершины снизу - они начинают слегка светиться.

В тишине тают шаги, а может, звуковые призраки шагов, не услышанных мною вчера. Вчерашние события кажутся кошмарным сном. Они то отступают в дальние кладовые памяти, то возникают снова в пугающих подробностях.

Надо попить. Надо умыться. Но не хочется спускаться в болотную низину, где бесшумно и медленно течет среди кочек холодный ручей. Но идти надо! На ходу делаю какие-то упражнения из утренней зарядки, бью открытой перчаткой по стволу сосны, прыгаю через спящий муравейник.

Если удастся достать хлеба в магазине этого поселка, то можно не заходить в магазины Питского спецпоселка. Там местная комендатура, могут возникнуть вопросы, к которым мы не готовы. Вообще-то мы путешествуем в пределах одного административного района, вроде ничего не нарушаем из предписаний. Но мы не сказали в нашей комендатуре о самовольной отлучке. Я числюсь еще в московской экскурсии. Группу без документов могут задержать до выяснения личностей, тем более что у нас никаких личных документов нет.

К вечеру мы подошли к реке Пит в районе второго переката - это довольно далеко от спецпоселка, и перед нами встал вопрос - сейчас вечером, или утром по холодку форсировать реку?

Вода сейчас невысокая, если раздеться, можно перебрести по груди, не замочив одежды. Проголосовали: за вечер - трое, за утро - я и Петька. Получилась небольшая заминка. Я попросил Петра объяснить, почему он за утро.

- Во-первых, вода кажется теплее, утреннее купание даст зарядку на целый день. А самое главное - утром никто не будет сплавляться сверху. Голых нас как щенков могут взять, поняли? - Тут Петька выглянул из-за ствола ели на верхний конец галечной отмели и тихо приказал нам лечь.

Мы легли, но думал я, что этот знаток нас пугает. Однако когда против нас на реке тявкнула собака мы, что называется, заткнулись, пока проплывала лодка. Собака подала голос еще раз, уже ниже косы перед поворотом, теперь можно посмотреть, кто там.

- Милиционер и еще двое с ружьями, собака на носу лодки, ветерок на нас, учуять не могла, гавкнула так, для порядка.

Мы углубились в лес, выбрали сухое место на высоком берегу старого безводного русла реки. Я сказал, что буду дежурить от двух до четырех утра и удалился в вечные свои заоблачные мечты, которые обычно кончались цветными снами поразительной красоты.

Прежде чем рассказать концовку этой истории, уделю несколько строчек моим друзьям, забегая вперед на полвека с помощью машины времени, подвластной авторучке. Жизнь распорядилась так, что вместе мы не участвовали больше ни в одном походе, ни в одной экспедиции по трудным дорогам таежных промыслов. Меня, с разрешения комендатуры, увела воистину тернистая тропа в живопись, и я не возвращался долгие годы в те края.

Петьку, вернее Петра Федоровича Дементьева, убили под Сталинградом в сорок третьем.

Шамиль Рамазанов под Мурманском попал в штрафной батальон и сгинул где-то без вести.

Арви Тигонен, оставшись один из всей дружной семьи, погибшей в 1937 году, немного изменил фамилию на русский лад и работал учителем в Иркутской области. Его сын не побоялся взять настоящую фамилию этой семьи. И как-то в Красноярске на гастрольной афише я увидел фамилию Тигонен и позвонил в театр. Оказалось, что эту фамилию носит женщина, невестка Аркадия Павловича, того Арви - друга моего. Сам же Арви умер несколько лет тому назад от сердечного приступа.

Валтер Саволайнен до конца дней своих отслуживал бессрочную ссылку в Удерейском районе. Его племянники живут в Красноярске. Они забыли, потеряли финский язык, но от фамилии не отказались.

Рассказанное было экскурсией в нашу общую будущую историю, а у нашей артельной истории концовка была вот такая.

После переправы через Пит мы прошли мимо Аяхты, с короткой остановкой - Шамиль сходил в магазин за хлебом. Не только хлеба он принес, но и целый набор рыбных консервов, как бесплатное приложение к трем булкам хлеба. Возможно, он размягчил сердце молодой продавщицы-татарки девятирублевой золотой боной и заплатанными на пять слоев брюками, как у настоящего нищего старателя.

До зимовья Ишимба шли по единственной в этой тайге плохой колесной дороге, а на наш Кировский прииск - через горы по затесам. По домам мы расходились по одному, а в золотоскупку явились все вместе - чистые, причесанные. Мы подождали, пока оформят свою добычу местные любители, на которых мы смотрели

с превосходством, как на первоклассников. Да и с приемщиком мы начали беседу с общих разговоров: сколько можно взять муки, спирта, масла, мясных консервов, белого коленика и носков на сто граммов золота

- Их надо намыть, эти сто граммов, что зря считать?

- А вы все-таки подсчитайте. Да, и почему у вас нынче золотишко?

- Как обычно, рубль семнадцать, а «николаевский» золотой червонец по рубль сорок пять копеек за грамм. Что, нашли монеты? - с тревогой и любопытством спросил старик, поправляя очки. - А ну-ка?

Я положил на стол туго завязанный носовой платок с осколками испеченных на лопате в костре золотых самородков. Старик снова поправил очки, достал из стола толстую увеличительную линзу:

- Так, так, - прошептал он, - надо же, какие крупные единицы, неужели с Вениаминовской косы? Что, в бригаде у Марьева старались? Или ваш кореш Петька у отца на драге саданул?

- Валентин Иванович, ваше дело принять, - осторожно начал я, - вы же знаете, что настоящие старатели никогда правды не скажут. Ты уважь старателя, когда у него фарт - душа широкая делается, и он тебя уважит.

Старик пристально посмотрел на меня. Я еще раз повторил, что размягченная душа старателя может процентов на пять да уважить умного приемщика.

- Ты Василия Федоровича, прораба, сын?

- Так точно.

- Загляни-ка в эту папочку.

Старик показал жестом, чтобы я прошел за его стойку, где стояли весы под колпачком. В папке была инструкция, где было сказано, что с Ерудинской россыпи металл принимать по 37 копеек за грамм. Я не стал настаивать на химическом анализе, но сказал, что металл с Вениаминовской косы, но работали мы не в бригаде, а сами, как любители.

- С Вениаминовской, так с Вениаминовской, как словом, так и делом. Сыпьте сюда.

Я подвинул свой сверток ближе к весам, кивнул ребятам - и еще четыре свертка легли на стол приемщика. Я помог развязать свертки - у старика тряслись руки - видно, это профессиональная болезнь приемщиков золота.

- Ну и ну! Вот это ребята! Давненько я такого не видывал. Закрой-ка дверь на ключ. Я вполне согласен со стариком. Здесь уже нужна тайна.

- Валентин Иванович, уважьте нашу просьбу. Надо сделать так: все пять частей взвесить вместе. От общего веса отчислить пять процентов и выписать предьявительскую бону, а остальные 95 процентов поделить и выписать пять именных бон - это нам поровну. Вот список фамилий.

Наши самородки были измельчены в бронзовой ступке. Старик похвалил обжиг.

- Если бы не ноги, рванул бы с вами следующим летом. Но увы, кому нужна птица, которая не летает.

Золото взвесили. Мне стало казаться, что я обещал очень высокий процент взятки, но тут же устыдился своей скупости. Боны оформлялись молча. Пятипроцентную бону я подсунул под папку учета. Остальные поименно раздал ребятам. Мы поблагодарили старика. Он поблагодарил нас, даже уголок глаза потрогал пальцем:

- Заходите, ребята!

Мы вышли из золотоскупки, постояли молча. Петька как бы под нос себе высказал размышление, уже ненужное:

- Что же это получается? Семьдесят пять золотых отвалили этому хрычу. За что?

- Это плата за услуги, - говорит Валтер, - мы же втянули старика в преступление.

- Золото есть золото, а цена ерудинского металла - это грабеж рабочего, - сказал Арви, но тут же добавил, что инструкции правительства - это чистое золото, а боны надо отovarить, пока у нас их не отобрали в пользу МОПРа.

В магазине был специальный отдел, в котором продавались товары только на золотые боны по специальному графику норм. Скажем, на десять золотых рублей я не мог взять муки на всю сумму, а только на один рубль. Баян, к примеру, тогда стоил сто золотых рублей вне нормы.

За работой этого отдела с белой и черной завистью следили те, кто не имел сил и возможности таскаться по речным отмелям и старым выработкам в поисках и добыче крохотных желтых крупинок, приносящих прежде всего добрую еду.

На семейном совете мы решили драгоценную гербовую бумагу менять на товары по частям - много продуктов держать в барачном отсеке нельзя: как откажешь нуждающимся соседям?

Уже в магазине, когда мы с мамой с сияющими лицами укладывали в мешок кульки с печеньями и конфетами, нас окружили не только дети, но и женщины -наблюдали внимательно, молча, но вот одна девочка лет семи не выдержала, протянула Руку:

- Тетя, дай маненько!

И тут же получила шлепок по руке от прослезившейся женщины, бабушки или матери - я тогда не понимал. Моя мама протянула кулек с конфетами:

- Бери, маленькая, все берите, - она подносила кулек из серой бумаги по тесному кругу, люди отказывались, но брали конфеты в голубых обертках с рисунком белого медведя.

Я в этом благотворительном акте участия не принимал, но чувствовал себя счастливым, справедливым и богатым.

Драматический случай, произошедший в северной тайге, нет-нет да и напоминал о себе, как нечаянно задетая заноза, которую невозможно вытащить - глубоко зашла.

Но что делать? Что было, то было! Рано ли, поздно ли, за все надо отвечать, как говорится, Бог рассудит, кто, когда, в чем виноват, в чем прав.

Возможно, я всю жизнь буду помнить тот фонтан теплой чужой крови на своих пальцах. Возможно, со временем все притупится, сгладится. Неужели мой ангел-хранитель будет мне постоянно напоминать о том, как неисповедимы тропинки жизни и как случайно она может оборваться, как поступок, содеянный в порыве отчаяния, может изменить все - безвозвратно.

Может, в этом сознании хрупкости моего земного пребывания и теплится надежда на светлое будущее, забота - прожить свою жизнь как можно лучше, искать и найти свою судьбу, сыграть свою роль, реализовать все свои возможности в удовлетворение своего внутреннего Бога и на радость людям.

Глава XIII - СЛОВО О СЛОВАХ

- За пеленой тумана долгих лет.
- Слова, рождающие мелодию в сердце.
- Переписать диктант.
- Где ты, радуга над Валаамом?
- Интернет как новейшая история.
- Пушкинские мозаики и Некрасовские откровения на Енисее.
- Встреча с Евсеем Марышкиным.
- Есенинский случайный семинар и история с синей тетрадкой.
- Нет худа без добра - поеду в Омск.
- Как я сорвал урок Конституции.
- Колонна мимо окон школы. "Дети, урок продолжается!"

Я был учеником старательным. В третьем классе русской школы у меня сложился большой арсенал слов. Я понимал все, что слышал, понимал почти все, что читал, докапывался сам до смысла слов, их корней. Меня удивляло, что те же самые слова, но составленные в предложения в другом сочетании, рожают новую мысль, новые картины. Кроме того, я был учеником послушным, легко все принимал на веру и очень огорчился когда бывал обманут или приходилось разочаровываться в ранее сложившихся представлениях.

Я долго был в плену одного назидательного стихотворения, которое рекомендовало читателю пойти в лес и в поле и понять, что у природы есть свой собственный язык. Я забыл за давностью лет последнюю строку, но смысл был таков, что только там, на природе, услышишь, как шепчет в поле каждая трава и «лишь тогда живыми станут книги мертвые слова»! Для меня слова не были мертвыми. Я протестовал. По-моему, автор стихотворения что-то не понимал, или не нашел нужных слов, чтобы мне, начинающему читателю, открыть чудесное единство слова и природы. Ведь слово само по себе - это чудо!

В сопоставлении, в сочетании с другими словами оно как бы обретает новую силу, а если эту силу слова поддержать новой группой слов, то получается такая неожиданная, проникающая в душу мелодия, способная вызвать бурю или штиль умиления.

В четвертом классе мы писали диктант на правомерность применения вопросительного знака. Олимпиада Федоровна диктовала: «Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?» Я прислушался и перестал писать; учительница медленно и выразительно повторила эту строфу с крылатым вопросом и моя душа отлетела на родину, к синим волнам Ладоги. Да это же был вопрос прямо в мое сердце. Это были яркие поющие слова! Кто же мог их сказать, написать? Почему я не догадался, ведь эти слова мне были известны все, даже их сочетание, вызвавшее сейчас во мне тоску, где-то таилось в моей душе. - Товик, почему не пишешь?

Я закрыл лицо руками. Как я мог сказать, почему я не пишу? Да разве непонятно? У меня в горле стоит ком и я не вижу строк, но я вижу сквозь свои ладони, как одинокий парус идет к радуге, что висит над

горизонтом, где загадочные Валаамские монастыри и церкви с золотыми куполами в виде миража мерцают, опрокинутые в небо. Учительница сказала: «Сходи умойся, диктант перепишешь после уроков».

Учительница была умным педагогом. Она понимала, как нас разноязычных, разновозрастных, очерстевших в полуголодной жизни лоботрясов учить добру и состраданию. В какой-то день она прочитала нам рассказ Горького «Дед Архип и Ленька». Я не помню у этого писателя вообще неинтересных рассказов, но еще до сих пор кажется, что великий рассказ об этих двух почти святых русских людях надо прочувствовать и пережить в детстве. Возможно, этот рассказ был в школьной программе или в методической рекомендации. Там извечная борьба добра и зла и так естественны поступки людей добрых и злых, что противоречивый жестокий мир делался мне понятным и доступным. Было еще одно действие у этого рассказа - я стал искать оправдания нашей неустроенности, нашим бедам: так было всегда, так всегда будет, всему есть объективные причины, надо терпеть, трудиться и трудиться. Все должно измениться само собой. От этой мысли я пришел к выводу, что могу замерзнуть как мальчик Ленька, если из последних сил не окажу сопротивления разгулявшемуся злу. Стрелять в него бесполезно - оно бестелесно. Телесны исполнители зла. Но вместо одной отсеченной головы дракона вырастают три, а то и пять новых, всевидящих, с длинными жалами. Кроме «Дубровского» я перечитал все «Повести Белкина», искал ответа на вопросы о возможной победе справедливости, но не находил. Красиво проигрывали герои свои жизни, а жизнь не приносила победы Добра.

Жизнь при школе в общежитии интерната, трехразовая казенная кормежка в столовой - все это на время отдаляло нас от жизни поселка, от очередей и добыывания пищи. Мы как бы мысленно строили нашу будущую жизнь, которая шла к нам, где-то еще за горами. А рядом с интернатом, в самой школе, среди нас шла наша новейшая история - она незаметно вырабатывала нам походку, и правила поведения, и духовную классовую стойкость, и чувство исключительности.

Я тоже любил коллективные игры, но все остальное время выделял на чтение. И скоро я понял, что ничего не знаю. Я пересмотрел, перечитал, пережил и перечувствовал всю русскую поэзию, которая была в школьной и районной библиотеке. Я тогда еще не знал, что многие хорошие русские поэты вообще не печатались, а то, что было ранее напечатано - выброшено из библиотек, сожжено на свалках.

Наша добрая интернатская воспитательница Евдокия Николаевна раза три в неделю вечерами читала нам, как маленьким, романы Жюль Верна, Фенимора Купера или Джека Лондона. Оттуда, из романтической дали южных морей и синих лесов Америки нас приветствовали благородные рыцари науки и храбрые защитники справедливости.

Подвиги героев из невиданных мною земель ласкали душу и, возможно, это были отличные переводы с английского, но глубже увлекательного сюжета я там как-то ничего не улавливал. Пушкинские кристальные мозаики из точнейшим образом подобранных слов я мог рассматривать бесконечно: «ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит!». Я чувствовал запах первого снега! Сама природа как бы стала самой поэзией. И я был счастлив, что стал это видеть - и я поверил, что могу освоить русский язык. Не менее меня удивляли и бередили душу какой-то сверхизысканностью признания Лермонтова - «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит.», - и тут я видел ущербный лик луны над крутым плечом горы за Тереком, хотя о луне ничего там не сказано. Наверное, у души есть предел, она не может принять и переплавить даже такой легкий материал как слова, если этого материала очень много и причем очень высокого - у поэзии иной оценки нет - высокая, да и только. Но как-то я мало останавливался на Баратынском, Тютчеве и Фете. Конечно, я знал наизусть какие-то самые яркие стихи и Григорьева, и Полонского, но по-настоящему новый мир, русский, крестьянский, сермяжный я открыл в поэзии Некрасова. Ах, какое это было счастливое время! «За каплю крови, общую с народом, мои вины, о Родина, прости!». А предшествовало этому горькому признанию почти прозаическое, без метафор и сравнений - «. и я, друзей теряя с каждым годом, врагов встречал все больше на пути.», - и даже такое и далее такое пронзительное откровение посильнее молитвы! Пребывание в этой многоцветной волшебной стране хороших стихов отсекало меня от тяжелых и безответных вопросов. И мне стало казаться, что в звездной таблице поэзии есть где-то незанятая клетка с глубоким небесным фоном, где может появиться мой символ, если я до конца преданно буду служить слову, разгадаю законы поэзии, которыми как-то легко, будто от Бога, владел Пушкин, а иногда и другие поэты.

Желая иметь рядом, под рукой, великие книги поэзии, я написал брату Эйно в Ленинград, просил прислать, если найдет у букинистов, «Божественную комедию» Данте и «Потерянный и возвращенный рай» Мильтона. «Илиаду» он мне прислал вместе с деревянной коробкой акварельных красок. Я тяжело одолевал выпретенные, бесконечно длинные строки древней поэмы и мне пришлось признаться, что этот канонизированный прием мне не нравится, что нельзя русский язык загонять в эти ранее заготовленные ископаемые формы. Да простит меня Гомер и его переводчики.

Однажды осенним днем, когда мы украшали зал общежития стенной газетой и яркими букетами веток рябины, ко мне подвели нового ученика - это был крепкий паренек с карими глазами, как у «Незнакомки» с картины Крамского, высокий лоб окаймлен темными кудрями. Белый стоячий воротник рубашки был

небрежно повязан цветной косынкой. Мне показалось, что он как-то неустойчиво ставит правую ногу - или хромой на самом деле, или играет Байрона.

- Я много слышал о тебе, - сказал он, глядя мне в глаза и, казалось мне, что видит он меня насквозь. - Рисунки твои видел. Я тоже рисую, но чаще всего море, свободную стихию.

Хотелось спросить, где он видел мои рисунки, но я пожал ему руку и сказал: «Спасибо за комплимент, всегда заходите».

Оказалось, что зачислен он в 7«А». Из-за переезда вместе с сестрой на место ссылки ее мужа в приисковый поселок Тюрепино. Я никогда не был на этом далеком старательском прииске. Был он где-то на отшибе за Герасимо-Федоровским рудником. Евсей Марышкин показался мне человеком открытым и доверчивым. Он пропустил полгода учебы в прошлом году и снова поступает в седьмой класс.

- Все равно, что-то узнаю новое. Говорят, у вас интересные литераторы?

Он просил вечером зайти в одну из комнат, где живут семиклассники, обещал что-то показать интересное. И я пришел после быстрого визита в столовую. Оказалось, там были не только хозяева комнаты, но и ребята из восьмых и Девятых классов - весь актив литературного кружка.

Марышкин развернул общую тетрадь в клеенчатой обложке, долго выбирал устойчивую позу, поморгал, глядя на притихшее собрание, и...

*Закружилась листва золотая, В
розоватой воде на пруду, Словно
бабочек легкая стая С замираньем
летит на звезду. Я сегодня влюблен в
этот вечер, Близок сердцу желтеющий
дол, Игрок-ветер по самые плечи
Заголил на березе подол!*

Красивый, глуховатый, совсем еще детский голос доносил до нас нечто неслышанное, дерзновенное, очень русское по размаху мысли и свободе рифм. Неудержимый поток есенинских образов с лунных русских равнин переносил нас в сады далекой Персии, где «розы больше кулака». Я никогда не чувствовал такой окрыленной радости и восторга от слов, собранных в аккорды - это было нечто больше, чем даже сама музыка. Это было большое что-то, светлое, которое втягивало и меня и многих сидящих в какое-то новое состояние. Бог ты мой. И я этого не знал. Мял цветы, валялся на траве, молился на звезды и не знал, что обо всем этом сказано с такой любовью и преданностью, на которые я, пожалуй, не способен. Самое пронзительное стихотворение «Письмо к матери» Евсей Марышкин приберег к концу первого отделения концерта. Он сам из красивого Байрона превратился в усталого Демона. Он смотрел на нас, на мир за окном с такой тоской и сосредоточенностью, что мне казалось, что он видит там кого-то -наверное, мать, которой адресованы эти пронзанные болью строки.

*И тебе в вечернем синем мраке Часто
видится одно и то ж - Будто кто-то
мне в кабацкой драке Саданул под
сердце финский нож. Ничего, родная,
успокойся, Это только тягостная
бредь. Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб тебя не видя, умереть... Я
вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад...*

Дальше я не мог слушать, давило на виски, щемило в горле. Это же я не давал о себе знать месяцами. Никто моей души так не тревожил.

Тетрадь у Евсея была толстая - там были, пожалуй, все наиболее действующие, как песня, стихи и поэма «Анна Снегина». Эту поэму предложил нам завоевавший наши симпатии новичок Евсей Марышкин на второе отделение. Забежал дозорный с высокого интернатского крыльца и криком прошептал: «Директор идет!» Марышкин на миг задумался, посмотрел на нас всех сразу и чуть сникшим голосом продолжил:

*Я помню только то, что мужики роптали,
Бранили бога, черта и царя, А им в ответ лишь
улыбались дали Да наша жидкая лимонная заря.*

Евсей входил во вдохновение. Он стал похож на самого Есенина - улавливал какие-то очень важные интонации движений, жестов и голоса поэта. Лично я доверял ему полностью.

И тут у приоткрытых дверей появился директор в сопровождении секретаря школьного комсомола. Чтец начал было перестраиваться, но директор подал знак - продолжайте, а сам присел на подставленную кем-то табуретку. С напряженным вниманием мы прослушали поэму до конца. Директор встал, сказал:

- Спасибо. - И, подумав, добавил: - Я эту поэму не читал. По долгу службы должен дать краткую характеристику - она официальная, подумайте над этим - стихи Есенина у нас временно запрещены, их не печатают, из библиотек его книги изъяты. За нелегальное распространение стихов Есенина полагается наказание, как за политическую ошибку. Мы благодарим нашего нового ученика за хорошую информацию о литературе начала двадцатых годов. На этом неурочный семинар завершаем. Если будут у вас в интернате какие-то другие хорошие мероприятия, не стесняйтесь, приглашайте и меня, а то я узнал о семинаре случайно, подумал, что у вас пожар.

Директор отсалютовал по-пионерски, но с какой-то свойской небрежностью и ушел. За ним на некотором расстоянии удалился секретарь комсомола.

- Товарищи, - сказал как-то усталو Евсей Марышкин, - тетрадку у меня отнимут как пить дать, уж это я знаю. Спешите переписать, кто не боится стукачей и прислужников НКВД.

У меня полыхнуло огнем внутри, как раз в том месте, где живет наша невидимая душа. Значит, я боюсь. Но ведь это естественный инстинкт самозащиты, такой вид борьбы за жизнь. Нет, это все-таки трусость. Из школы могут выгнать, если райком или НКВД нажмет на директора. Но какое же здесь преступление, если я перепишу для себя? Надо взять тетрадь у Марышкина, чтобы никто не видел. Значит, я обхожу указ цензуры и в его лице волю партии, а вид делаю, что согласен с изгнанием поэзии Есенина из рядов современной русской поэзии? Нет, так не годится.

Я подошел к Евсею, чтобы взять тетрадку, но Коля Колпаков предложил устроить диктанта, чтобы могли записывать все желающие. Пришла на вечернее дежурство воспитательница и без всяких объяснений отменила диктанта.

Тетрадь у Евсея я взял на виду у всех и унес в нашу большую, о шестнадцати койко-местах комнату, где закрыл в тумбочке со своими книгами, баночками гуашевых красок. Утром ровно в шесть, когда радио начинает передачи о погоде, я ушел в изолятор, где никого в это время не было и до семи часов переписал «Письмо к матери», «Письмо бабушке» и «Голубую родину Фирдуси».

Тетрадь была у меня под свитером за широким поясом, пока я ходил в столовую и отсиживал уроки.

Моя тумбочка оказалась открытой и перерытой. Закладки из книг валялись возле тумбочки, исчез дневник. Вот это да! Вот это началось! Да за это убить мало! Смелые ребята!

Я обратился к дежурной сестре и возможно резко спросил, кому она открывала комнату. Молодая женщина заплакала, повела меня на кухню и при закрытой двери просила ее не выдавать. Приходил инструктор райкома Коля, а другого она не знает.

Коля Т. был инструктором школьного отдела райкома комсомола, отозванный из механического цеха на комсомольскую работу. А кто же второй? Кто же мог приказать открыть дверь и выдернуть замочные кольца из тумбочки? Лица официальные. Может, имели задание какое-то.

Морду бить вроде неудобно, на работе люди, хоть подлость сделали. И я решил никому ничего не говорить, вроде ничего не случилось.

На третий день вся школа знала, что в интернате был есенинский вечер. Требовали тетрадь - почитать только. Переписывать, знали - нельзя. Я отговаривался - нет тетради, кто-то увел из тумбочки, ничего не знаю!

На большой перемене, когда я в кабинете физики готовил приборы на предстоящий урок, ко мне заглянули «три богатыря» - Яшка Жуков, Федька Попков и Петька Матвеев. По возрасту они могли бы уже завершать учебу в школе, но они еще маялись в седьмом классе. Учились они легко, как бы между делом. Слыли они у нас защитниками справедливости, но почему-то их побаивались даже не такие уж робкие парни из милиции. Иногда вечерами их приглашали в старательский ресторан «Медведь» навести порядок, если приисковики из бродячих отрядов не могли между собой договориться.

- Чем могу служить? - спросил я обступивших меня добрых молодцев.

- Не уважаешь нас, - с улыбкой протянул Жуков. - Значит, не доверяешь.

- Кто такой Марышкин? - спросил Федька Попков. - Как ты думаешь, не разыграл ли он тебя, как провокатор, с тетрадкой Есенина?

- Нет, Федя, - клялся я, - так играть нельзя, невозможно. Евсей наивный честный парень.

- Значит, тетрадь у тебя, - заключил Петька Матвеев, - впрочем, весь поселок об этом говорит, у тебя не могли украсть.

Петька был прав, но эта его правота обидела меня и я сказал резко, без адреса, всем богатырям:

- Если у вас держится в заднице вода, я могу сказать, где тетрадь, более того - могу показать.

- У нас держится, - сказал за всех Петька Матвеев, - надо сделать так: тетрадь Есенина ты нам дашь, мы его размножим в райкоме на стеклографе на папиросной белой бумаге. Мы знаем, кто тебя шмонал, нам обидно за тебя. Надо что-то делать, - и Петька рубанул краем ладони по парте.

- Со шмоном я сам разберусь, я думаю, что службистов бить не надо, это их работа - идеологическая.

- Я вытащил из-под пояса и свитера помятую заветную тетрадь и положил на парту.

- Тишина. Железо. Могила. - кивнули ребята, - Марыскина приведи к нам на Пролетарскую - третий дом от конного двора. Приходите в субботу, вдвоем. Плохо, что затеялось таинство со стихами Есенина. Ленин что сказал? Что стихи принадлежат народу и они должны поднимать в народе художников, имею в виду писателей тоже, а писатель - это инженер человеческой души. Это сказал Сталин, если верить Горькому А кто сказал, - спросил Петька Матвеев, - что неподкупный голос мой был эхом русского народа? А? Не помнишь.

В ответ я отвесил Петьке макаронину по его железной шее, краем ладони - это он сам учил меня еще в четвертом классе.

- Три оттиска получишь, - ребята забрали тетрадь и ушли.

Мне почему-то стало легко и весело. Я думал о встрече с Николаем Т. Надо забрать у него дневник, если он у него есть, пока он, Николай, не попался в руки «трем богатырям». А если они у него найдут мой дневник с черновиками моих стихов, могут крепко помять. Зачем он, Коля, допустил это хамство? А может, не он взял, а тот референт при третьем секретаре?

Не в школьной, а в общей столовой в раздевалке меня кто-то взял сзади за уши, да так крепко, что я, растерявшись, применил не рекомендованный в спорте прием.

- Ты с ума сошел! - корчась и кривясь от боли, упрекал меня Коля. - Я его прикрываю, а он пинается. Он достал свернутую в трубку мою синюю тетрадку и продолжал оправдываться: - Стихи у тебя хорошие, но уж очень печальные, пожалуй, не напечатают. Лучше, если подозревающие люди знают правду о тебе. Забавно, в вашем классе двое дают о тебе справки и сведения, причем очень разные. Тут еще ваше интернатское чтение Есенина, вот и подключили меня. К несчастью, я бывший двоечник, бывший слесарь, ведаю школьным отделом, прости.

- Извини и ты меня, Коля, - растрогался я от этого признания. - В один момент я даже плохо подумал о тебе, теперь вижу, зря подумал.

- Заходи, старик, - хлопнул меня по плечу Николай и скрылся среди толпы, осаждающей вход в ресторан «Медведь». Там уже начинала рыдать скрипка под минорное одобрение пианино.

Прошло дня три, а может, больше, и мне вернули не только есенинскую тетрадку, но и со значительной ухмылкой преподнесли перепечатанные на папиросной бумаге стихи, целую пачку толщиной с палец - это было десять комплектов стихов. Не было «Анны Снегиной». Не знаю, чем было вызвано применение этой тончайшей бумаги - техника дело тонкое, но читать текст можно было, только подложив белую бумагу под эту воздушную оболочку.

Я с благодарностью вернул тетрадку Евсею и показал ему невесомые странички машинописного сборника и способ прочтения. Евсей задумался и спросил:

- Сколько экземпляров можно так сразу отстучать?

- Думаю, не больше пяти, но это уже нарушение запрета.

- Я не спрашиваю, кто печатал, однако неладно получилось, но теперь дело сделано. А что, если машинистку с работы выгонят?

- Машинистка здесь ни причем. Никто ни при чем, только ты да я. Возьми экземпляр сборника. Я не знаю, сколько стихов и какие напечатаны, и я не знаю, кто печатал. Чтобы дело довести до какого-то результата, давай пошлем по экземпляру сборника стихов первому секретарю товарищу Гайдуку, начальнику НКВД района, редактору газеты и директору школы. Жаль, что мы не узнаем, как они отреагируют на этот подарок, кто кому первый стукнет, а кто вообще скроет получение такого оригинального подарка. Исполнение этой акции будут решать другие...

По гулким дощатым тротуарам, по травянистым переулкам, по золотым листьям на еще зеленой земле мы шли к трем богатырям. Я думал, что их особенно притягивали не сами стихи, а та заботливая возня и слухи вокруг них.

В кругу богатырей на Пролетарской улице Евсей читал цикл «Москва кабацкая» и поэму «Черный человек». Разумеется, богатыри, имея тетрадку, могли уже знать эти произведения. Но в исполнении Марыскина от них бросало то в жар, то в холод, обдавало неожиданным откровением так, что перехватывало дыхание.

Возникло, как на уроке, обсуждение «Черного человека». Я сказал, что если бы Есенин прослушал свою эпитафию в исполнении Марыскина, он стал бы бояться себя, пожалуй, бросил бы пить. Он как бы предсказал свое печальное завершение дел земных. Впрочем, можно эти произведения прочитать совершенно по-другому, с сарказмом, посмотреть как бы со стороны несочувствующей критики. Оказалось, что наши богатыри,

отъявленные троечники, мыслят вполне самостоятельно - этак на пятерку. После обсуждения пришли к выводу, что запрещен Есенин дураками и подлецами, которые не понимают русскую душу, не чувствуют русскую поэзию, а читать Есенина надо, пусть гонят, посадят - и так рано ли, поздно ли посадят, а тут хоть за дело. С этим согласился и Евсей Марыскин. Муж его сестры отсидел и сослан в Сибирь за принадлежность к какой-то молодежной организации или литературной проесенинской группировке.

Петя Матвеев как бы издали разглядывал Марыскина, - каков парень, а? - он спрашивал меня как бы мимоходом и больно совал костяшку гребня кулака мне под ребро и восхищенно продолжал: - Такой может бросить гранату в автомобиль царя-батюшки. А? Что молчишь? Или ты не думаешь над этим?

- Надо учиться. По возможности помогать людям, потерявшим веру в жизнь. Читать хорошие стихи, помогать куском хлеба.

- Бьют по щеке, подставляй другую? Так, что ли? Нет, мой друг, - тут Петя собрался в сгусток феноменальной динамики и силы, его стальная пятерня стиснула мое плечо. - Надо держать в страхе мелких и средних держиморд, чтобы не унижали нас, не топтали наши души. Надо, чтобы они боялись творить беззаконие. Чтобы они были уверены, что будут наказаны не Богом, а нами, здесь, на конкретном участке.

Я знал, что Петр парень решительный, но такой ясной целенаправленности я за ним не предполагал. Глядя в мои ноги, он продолжал:

- Ты учись, иди к своей цели, а таким горячим ребятам, - он имел в виду Марыскина, - помогай, их надо поддерживать, приводи к нам.

Евсея Марыскина исключили из школы как-то незаметно. Без приказа. Объяснение состава его проступка выглядело бы несостоятельным - читал в комнате интерната стихи Есенина. Очевидно, его куда-то вызывали, предупредили, напугали. Но заявление на выдачу справки о добровольном уходе из школы писать отказался. Уехал к сестре на далекий прииск Тюрепино. Стал работать в золотодобывающей артели. Изредка он писал мне письма, полные отчаяния, видно, не по силам была ему работа - и нет хуже положения самого младшего в артели, объединенной азартом добычи, потогонной системой погони за манящим призраком удачи.

Я помню себя в артельной работе. Я старался делать все наравне со взрослыми, но мне приходилось как бы добровольно по приказу подавать бригадирю куда-то запропастившуюся рукавицу, слетать в соседний забой за дополнительным рукавом шланга, соединить удлинитель под напором холодной струи или бежать к рубильнику за сто метров через пень-колодину на временной силовой линии. В конце концов я возненавидел такой труд и приказы, и не выполнял их, пока до меня не доходила полезная необходимость приказа.

Иногда я получал с попутной оказией от Евсея картины моря, написанные на кусках фанеры. Они были написаны тремя красками - белой, черной и синей. Была в них безысходность, хаос, крик души, тоска по свободе. Я собирался сходить к нему, послушать его стихи, о которых он стыдливо упоминал в письме, но были всегда какие-то неотложные заботы и свой поход я откладывал.

Но прежде чем изложить последние сведения о Марыскине, я должен сказать несколько слов о своих заботах. Работа старателя всегда связана с холодной водой и резиновыми сапогами и как результат - болезненные приступы ревматизма, долгие дни в необорудованных больницах. Так как по здоровью я не годился в местное горнопромышленное училище, меня спецкомендатура отпустила в город Омск, где я поступил в художественное училище. Потом были кряду две войны. Меня выбраковывали по разным причинам, но самой унижительной была выбраковка по мотивам гражданским и тайнствам спецприказов, которых я в глаза не видел. Так неожиданно я оказался среди самого низкого сословия политотверженных. Лечил я свою душу редкими занятиями живописью, когда удавалось достать краски. Когда было не вмоготу - писал стихи на русском. После войны я оказался в большом сибирском городе Красноярске в маленькой комнате общей квартиры-коммуналки. О моих картинах и об участии в выставках иногда писали местные газеты. По-видимому, по этим материалам меня разыскала сестра Евсея Марыскина. Она отказалась от чая, не снимая пальто, присела на край табуретки и тихо рассказала, что все это время Евсей мыкается по лагерям за колючей проволокой. Своими бредовыми наивными мыслями о свободе слова и свободе личности он всех восстановил против себя.

- Мы все надеялись, - говорила сестра, - что после смерти Сталина его выпустят, но увы, ему еще добавили пять лет.

Нет, Евсей не просил у меня помощи. Это она сама решила, что я стал известным и могучим, но теперь убедилась, что я мало преуспел за эти годы. Я обещал написать кассационную жалобу прокурору края и непосредственно начальнику лаготделения куда-то к черту на кулички, на таежную реку Бирюсу, в номерной «ящик», просить о милости и снисхождении к моему мятежному другу, человеку, который нес, как легендарный Данко, свое горящее сердце на ладони, желая людям добра во всем мире. Вот такие завихрения происходят в жизни.

*Да здравствует Страна Советов
-Наш общий лагерь трудовой. Мы все
за все всегда в ответе И отвечаем
головой.*

Эти лагерные стихи зэка Марыскина, как порыв патриотизма, были напечатаны в общелагерной многотиражке накануне первого мая 1953 года. Прислал их мне начальник культурно-воспитательной части лаготделения и пригласил в гости и, если можно, привезти красок. В конце письма он откровенно написал, что мой друг болен и снят с общих работ, будет теперь при КВЧ. Узнав о моем запоздалом вмешательстве в его судьбу, долго плакал, но письмо написать мне отказался.

Теперь, дорогой читатель, вернемся туда, в далекий год, в Южно-Енисейскую среднюю школу, где я чувствовал себя очень виноватым после исключения из школы Марыскина. Стихи Есенина, вспорхнувшие на тонких крыльях белых страниц из рукописной тетради Евсея витали над поселком, над нашей школой, проникали в сердца, пугали и окрыляли на выводы и размышления.

Перед экзаменами по весне меня лишили общежития в интернате - это было равносильно изгнанию из школы. Причина была пустяковая, но в истолковании бюро школьного комсомола она выглядела так: попытка срыва урока Конституции в 7«Б» классе. Да, я на большой перемене заряжал патроны - свидетель мой друг Петя Хахалев, мы сидели пару лет за одной партой, обычно на последней парте у окна. Собирались на открытие утиной охоты в воскресенье. Порох, который мне достали, показался мне сырым. Я насыпал такую черную строчку из пороха на подоконнике и поджег. Если порох негоден, его фракции будут вспыхивать лениво, это значит, что порох надо хорошенько просушить на листе бумаги, на весеннем солнце, то есть на окне. Но порох дал неожиданно хорошее возгорание. Значит, и детонация в патроне будет хорошей, но уж очень много дыма. Я открыл форточку, но дым не хотел, как назло, уходить в весеннее небо, а поднимался к потолку классной комнаты.

Очевидно, тут же на перемене об этом стало известно в учительской и кабинете директора. Протренировал звонок, пришла Анна Захаровна. Все встали, ответили на приветствие учительницы.

- Ряннель - к директору, напишете объяснение. Остальные садитесь. Директор хмурился, но я видел, что он чем-то обрадован. Когда я ему объяснил свою оплошность, он засмеялся:

- Вот видишь, как хорошо все решается. Мы лишаем тебя общежития, как-нибудь дотянешь год и поезжай в художественный техникум за своей жар-птицей. Ты же отличник, а по химии двойка! По немецкому тройка, по физике тройка и пятерка, как это объяснить? Говорят, напропалую рисуешь на уроках, карикатуру на физика слепил, куда это годится?

И директор извлек из стола рисунок Дон Кихота, увешанного оружием и дичью, но в Дон Кихоте узнавали физика с его ехидной полупышной улыбкой. Это был хороший предметник, но он не любил искусство, а меня и Петю Хахалева он считал клоунами. Да, мы занимались в школьном драмкружке у замечательной актрисы Натальи Сперанской. Я немного обижался на физика за его нелюбовь к искусству, но рисовал его вполне доброжелательно, и даже ласково. А этот украденный кем-то рисунок я хотел подарить Николаю Алексеевичу на охоте у костра, где нас иногда сводила любовь к природе и неотвязное желание пострелять. Директор рисунок обещал мне отдать, как-нибудь после.

А теперь он мне поручил готовить альбом рисунков к 100-летию Пушкина.

- Остается немногим больше полугода. С учителем рисования уже составили тематический план выставки. Будет конкурс. Выставка общешкольная. Попробуй сдаться иллюстрации к произведениям Пушкина. У тебя должно получиться.

И он опять достал из стола мой рисунок, к стихотворению «Гусар», где усатый учитель физики кропил из колдовской склянки обстановку украинской хаты, где летели в трубу и горшки, и табуретки.

- Я понимаю, это поиск художественного образа, но это же карикатура, причем злая. Иди на урок, считай, что ты наказан.

И я пришел на урок, открыл дверь и, не спросив, прошел за свою парту. Все сделали вид, что не заметили меня. Анна Захаровна тоже не стала меня учить школьной этике. Дым в классе чувствовался слабо. Когда прозвенел звонок и ушла учительница, ко мне подскочил Кеша Убиенных и скрутил вокруг своего кулака рубашку на моей груди. Он был красный и синий сразу и кривил рот, выговаривая мне дрожащим хриплым голосом:

- Ты скажи, за что меня бьют по физиономии твои корешки?

- Первый раз слышу! - в растерянности оправдывался я.

И тут же Кеша получил из-за моего плеча такую резкую и неожиданную оплеуху, что чуть не увлек меня с собой через парту, куда он перепорхнул. Это взорвался Петя Матвеев. Оказывается, первую легкую пощечину воспитательного плана Кеша получил после моего ухода к директору, когда он очень красочно докладывал обстановку Анне Захаровне. Появилась в стенгазете веселая заметка «История с Конституцией» с

печальным концом о несостоявшейся охоте и о выводах: весна весной, а бдительность прежде всего - неугомонный, не дремлет враг.

Эта весна принесла нам новые тревоги. Окна класса, где мы в тот день слушали урок о физиологии человека, выходило на главную улицу Южно-Енисейска, которая является продолжением таежного тракта, соединяющего все приисковые поселки нашего района.

На полуслове замолчала учительница, глядя на улицу. За ее взглядом прильнули к окнам и мы. По дороге двигалась колонна людей, как бы придавленных к дороге заплечными мешками и общей печалью.

Учительница сказала:

- Питские, аяхтинские, кировские - идите в раздевалку потихоньку, оденьтесь и на улицу, может, увидите своих родных, попрощаетесь хоть.

Петя Матвеев увидел своего отца, он шел с краю колонны и смотрел в широкие окна школы, облепленные вскочившими на парты учениками. И я увидел знакомых -высокий забайкальский крестьянин Иван Пешков, не менее высокий наш ленинградец Илья Лебедев, Сандер Хами, и опять забайкалец Авдей Музнин - наш кировский председатель огородного кооператива. Здесь в классах их дети. Своего отца я не увидел, он мог быть с другого края, и я его, невысокого, мог и не увидеть. Пока я оделся и выскочил на улицу, там творилось что-то неестественное. Молодые здоровые конвоиры прикладами винтовок и пинками отгоняли учеников от арестованных, которые пытались обнять плачущих детей.

- Ты, дура, уводи детей, - кричал красный от натуги конвоир на нашу учительницу. Петя Матвеев пристроился к колонне и пошел рядом с отцом, пока конвоир его не вытащил из строя. Я боялся, что Петька нокаутирует его и события из драмы превратятся в трагедию.

- Дети, товарищи мои, урок продолжается! Идемте! Повидались, увидите еще, должна же быть справедливость!

Занятия в классах продолжались. Мы до боли в горле записывали с доски домашние задания на следующую неделю. Кто-то тяжело всхлипывал. Я прилег щекой к холодной парте и заставлял себя заснуть. Я не слышал, когда вошел в класс Петя Матвеев, но проснулся, когда почувствовал на плече его тяжелую руку.

- Как сельдей в бочку, стоя, друг к другу, ни сесть, ни прилечь, может кто-то символически стоя и умрет от разрыва сердца. Скажи, сколько может выдержать чело век? Это же казнь еще до допросов и суда. Что делают, сволочи! Но я этих молодцов достану. Кто-то же должен начать их выбивать.

Слова учительницы доносились через какой-то удушливый мрак - эпителий, эндодерм, эктодерм и другие слова где-то зависали, не доходя до сознания.

Как-то незаметно в самую глубь души подкралась и, пожалуй, навсегда осела тревога. Мысли неотвязно провожали колонны уходящих неизвестно куда наших старших товарищей. Может, где-то уже недалеко за тем лесом шагает с мешком за спиной мой отец, а может, и старший брат, а я тут сижу и размышляю о роли хлорофилловых зерен в химических процессах при кислородном обмене зеленого листа.

А вдруг это везде на бесконечных дорогах нашей неохватываемой мыслью Родины серой тенью идут такие же колонны, беспомощно оплаканные.

*Какая дьявольская сила Их гонит
строим в никуда, В полях
безропотной России Они исчезнут
навсегда. Запоминай, мой друг
свидетель, Какие страшные дела
Идут-бредут на белом свете
И бьют навзрыд колокола.
И неужели воля божья
Благословила этот ад?!
Где свет свободе не поможет
И к правде нет путей назад?*

Да простит читатель, такими мне сейчас кажутся за пеленой тумана долгих лет в переполненной кладовой памяти юношеские стихи, вылившиеся на последние страницы школьных тетрадей, которые я не сумел и не пытался сохранить.

Глава XIV - ДОМИКУ ПОДНОЖИЯ ГОРЕЛОЙ

- Вихрь должен взлететь до луны.
- В семье Матвея Ронгонена.
- Первое открытие Бунина.
- "Писать грязно нельзя ни о чем!"
- Читая, душу укрепляй.
- Конфликт с "невольниками чести" и письмо из Академии художеств.
- Тот горький, сладостный мой пушкинский альбом.
- Первые промывки золота.
- Могикане сибирского прииска "Калифорнийский".
- И Эйно взяли!
- В бараке Красного ключа.
- ...Избегал солнце провожать.
- Таежный рекем по брату.
- Визитка с сибирским адресом в Сортавале.

Я все чаще задумывался над рисунками, которые как в тумане, еле вырисовывались рядом со стихами Пушкина. Было несколько рисунков, но они были очень простые, вроде бы прозаический пересказ стихотворения «Буря мглою небо кроет.»

Я чувствовал, что нужно что-то очень живое, обязательно должна быть линия, она должна как бы проглядываться сквозь метель. Вихрь должен взлететь до луны, нечетким краешком закрывать луну. Должно быть очень тоскливо и очень одиноко «среди белеющих равнин» в этом рисунке. У меня есть черная акварель. Бумага может быть серая, магазинная, для эскизов вполне пригодится. До февраля, до юбилея, еще девять месяцев. Директор и учитель рисования Андрей Александрович обещали конкурс. Но заявлять заранее о своем участии, пожалуй, не нужно. Если получится хотя бы небольшая серия, которую можно показать на выставке - пусть зачтется как участие в конкурсе.

Я брел по дощатому тротуару улицы Советской, не глядя на низкое вечернее солнце, придерживая лямки рюкзака. Из интерната я ушел незаметно, пока наша комната заседала за ужином в столовой. Я не хотел никому объяснять свой уход. Я даже боялся встретить знакомых, чтобы не объяснять пустяковые, но неприятные причины моего изгнания из общежития.

И, как назло, столкнулся с Колей из райкома, прямо так и залетел в его объятия. Он увлек меня с тротуара к чьему-то палисаднику: - Ну, как ты, куда бредешь? Почему с мешком?..

- Все в порядке, не надо вопросов, мне надо зайти по одному адресу. Приглашали, так что я устроен. Все хорошо!..

- Слушай, не кипятись. Получил, значит, секретарь в белом конверте листки со стихами Есенина. Надо думать, прочитал. Кого-то вызывал, чего-то спрашивал, но вот дошло дело и до меня. - Коля победно улыбался. - Скажи, кто меня уважил такой редкой рукописью, я ведь, признаться, и не читал Есенина, а разговоров слышал много. Говорю, не могу знать, если узнаю, обязательно скажу. А он говорит, надо думать, еще экземпляры есть, видишь, напечатано как наши инструкции, на наших машинках. Еще спрашивает, как думаешь, у кого еще может быть такой экземпляр, а сам мне говорит: надо это дело пригасить. Стихи хорошие, а дело может получиться некрасивое. Может и тебя директор завтра выдернуть, имей в виду. Давай, желаю удачи.

Меня приютила семья старика Ронгонена Матвея Петровича - нашего земляка из села Колтуши. У них был небольшой собственный дом - творение старика и его сынов Петра и Александра. Этот дом, затерявшийся за хозяйственными постройками на краю мелколесья, у подножия горы Горелой, притягивал к себе многих наших ленинградских финнов, заброшенных сюда по воле высочайших секретных приказов и указов. Не только возможность поесть и переночевать в тепле, но и узнать что-то новое о нашей неустроенной жизни, услышать добрые слова утешения, мудрые советы - все это вполне понятным образом звало путников. От этого низкого домика шло какое-то ощутимое излучение милосердия. Внук деда Матвея - Эйно Ронгонен - учился в параллельном классе, он, возможно, и поведал деду Матвею и бабушке Анне о моих злоключениях. Он же мне передал их приглашение.

Дед Матвей первым делом спросил, когда я ел. И пока Анна Андреевна готовила ужин, Матвей Петрович пожелал увидеть, какие книги распирают углами мой рюкзак. Я показал ему большой однотомник Лермонтова, редкое издание «Илиады», вышедшее еще при жизни Гнедича, томик Бунина из первого полного собрания, где вместе в хронологическом порядке были и стихи, и проза. Седой и розовый, он слабой улыбкой как бы благословил мои книги; он аккуратно, бережно касаясь скрюченными пальцами сохранившимися желто-зеленые пятна крестьянских мозолей, перебирал плотные страницы бунинского тома. Он так тепло и

вопросительно посмотрел на меня, что я даже испугался и как бы в свое оправдание продекламировал несколько строк из баллады «Сапсан»:

*...По небесам в туманной мути,
Сияя, лунный лик нырял, И
серебристым блеском ртути
Слюду по насту озарял... И в окнах
небеса синели, И в этой сини четко
встал Черно-зеленый конус ели, И
острый Сириус сверкал...*

Еще недавно мне казалось, что Пушкин сказал о зимней ночи все, и так точно и образно, что не осталось места для нового свежего слова. Поэтому открытие Бунина было для меня радостным откровением и я не удержался, выпалил все свои чувства, как будто имел право бунинские строки пропеть по-своему.

- Спасибо, юноша, признаться, я мало знаю Бунина как поэта.

Попала ему на глаза книга Зазубрина «Два мира». Я еще этой книги не читал, о чем и сказал деду Матвею. Немного помедлив, он сказал:

- Выбрось! Гражданская война дело сложное и грязное. Но писать нельзя грязно ни о чем, даже о врагах, тем более, что эти враги были прежде всего патриотами России. Книги нужно читать только хорошие.

- Проходите в комнату, - ласково пропела бабушка Анна, придерживая ухватом чугунок с ароматной кашей, - проходите, а то торчите здесь как петухи.

А ведь точно сказала: петухи! Человек, самозабвенно читающий стихи, похож на петуха. Об этом я помнил всегда и, наверное, потому читал стихи неважно, подавляя чувство восторга или грустной расслабленности.

Старик Ронгонен считал русскую прозу высшим достижением человеческого духа. Достойнейшими он называл Толстого и Достоевского, которых я не знал дальше школьной программы и не научился еще ценить.

- Счастливый ты человек, - говорил дед Матвей, - тебе еще предстоит радость войти в мир настоящей большой литературы.

Он настойчиво рекомендовал поискать рассказы Лескова.

- Боже мой, сколько добра натворено человеком для своего ближнего - читай, укрепляй свою душу, а нет же! Живем в ненависти, недоверии. А ведь это только начало царствия антихриста. Это время унижения человека, крушения веры, уничтожения целых народов. Жаль, если никто из нас не выплывет, не выберется на тот светлый берег.

Мне вспомнилась картина академика Бруни «Медный змий» - о страданиях древнего еврейского народа, ниспосланных ему своим же пророком, с позволения Бога.

Матвей Петрович, а не кажется ли вам, что в истории все повторяется, как и многое уходит без возврата. В нашей судьбе какая-то неизбежность, фатальность, мы быстро скатываемся к своему исчезновению?..

- Жить надо, не сдаваться, в труде обретишь свое право на жизнь.

Это были правильные, общие слова на все случаи жизни. Если бы он знал иной ответ, он сказал бы мне.

Для работы и для сна мне отвели угол, где стоял большой сундук с зимней одеждой. Край сундука выходил до окна в середине комнаты - светло! Можно рисовать. Закрепили за мной еще табуретку. Это было не хуже, чем в интернате. Там моя тумбочка контролировалась любопытными друзьями, иногда даже пропадали краски и даже рисунки.

Я продолжал ходить в школу по необходимости - все, что было в школе, казалось не главным. На этот раз я опоздал специально, пришел только к большой перемене и сразу был вызван в учительскую. Там переминались с ноги на ногу два моих товарища по общежитию, учились они классом старше. Я поздоровался, опустил на пол сумку, ждал вопросов.

- Ну-с, господа, невольники чести, объясните ваше поведение товарищу - это говорил рассерженный литератор, обращаясь к Борису и Ивану.

- Мы вскрыли письмо из академии на твое имя. Прости. Одолело любопытство. Уж очень большой красивый конверт, - Борис замялся, а продолжил Иван: - Подумали, что приглашают наше юное дарование в академию на экзамены, а там письмо, даже не на машинке - от ворот поворот, ты уж не сердись, что уж тут сердиться, раз не приглашают.

Это уже было слишком. Мне казалось, что пол удаляется от моих ботинок, наверное, я в самом деле взлетел, так как удар по Ивану вышел прямо в переносицу - от плеча с движением всего корпуса. Борис попал под отмашку левой, тыльной стороной кулака - удар не сильный, но впечатляющий и звучный. Меня пытался

схватить за руки мой добрый наставник Евгений Флорович, но я как-то неловко выпрямился и макушкой зацепил его подбородок. Кто-то навалился на меня сзади, пытаюсь не то удержать, не то свалить, но резкий крик неузнаваемого женского голоса остановил всех сразу:

- Остановитесь! стыдно, мужчины. Майн гот, Рянэль - боль моя и гордость! Как жаль, как жаль. Вы должны нести красоту и созерцание прекрасного.

- Простите, Клара Карловна, я этим и занимаюсь, - пролепетал я, - видите, какие красивые ребята получают. Пусть сами расскажут о своих нуждах и хлопотах.

- Мы, - начал Иван, кивая на Бориса, - из любопытства цензуровали письмо, т.е. вскрыли и прочитали, адресованное ему, но и при этом неловко пошутили, в общем, растерялись. Виноваты, конечно. Вот, посмотрите, какой конверт - Российская Академия Художеств.



Последний подарок брата Эйно - коробка акварельных красок. Ученики Южно-Енисейской средней школы Т. Ряннель и П.Хахалев, 1938 г. (стр. 99)

Тут уж любопытство охватило всех заглянувших на необычное оживление в учительской.

И я прочитал вслух написанное рукой пожилого человека письмо профессора Михаила Михайловича Любимова, адресованное мне. Это был ответ члена экзаменационной комиссии, известного художника ученику, приславшему в конверте свой рисунок и вопросы ректору Академии И.И.Бродскому, который, очевидно, и попросил ответить Любимова, известного своей доброй общительностью с молодыми, даже незнакомыми людьми. Картины Любимова я знал - они о революции, о гражданской войне, находятся в экспозициях многих музеев. Это было доброе письмо доброго человека. Он писал, что в среднюю художественную школу принимают только жителей Ленинграда, а для экзаменов в Академию я еще не подготовлен. Он посоветовал поступить в Иркутское или Омское художественное училище, а там и самому мне виднее будет, как действовать дальше. А далее шли общие советы: наблюдать жизнь, быть выше всех невзгод и мелочей, сохранить свое сердце от злобы и мстительности, как буду в Питере - просил заходить. Присутствовавшие учительницы прослезились. Неожиданный конфликт был замят, но в школе возникали вопросы, буду ли я заканчивать школу здесь или меня сразу забирают в Академию. Да, было в ходу такое выражение - забирают.

Я не скрывал, что хочу поехать учиться, если на то будет добрая воля спецкомендатуры и разрешающие указы

свыше.

Я научился думать целенаправленно, хотя в мечтах я облетал несколько раз в день весь мир и заглядывал даже в Ватикан к «Сотворению мира» Микеланджело. Я часто думал о работе над Пушкинским альбомом, читал все, кроме «Истории Пугачевского бунта» и писем.

Старлся рисовать то, что чувствовал. «Ночной зефир струит эфир, шумит-бежит Гвадалквивир». Казалось бы, все ясно, и я вижу Паганини в крылатом плаще на фоне сияющего лунным светом моря. Рисунок этот я калечил долго - все искал силуэт Паганини, были варианты, которые нравились моим доброжелательным критикам, в которых я не мог уже ничего изменить. В альбом этот рисунок я не поместил. Мне казалось, что он живет самостоятельно, где-то вдали от текста. Спустя много лет мне попала книга Виноградова «Осуждение Паганини» и на титульном листе знакомый до боли силуэт Паганини. Он был даже более прозаичен - этот не мой рисунок, чем мой настоящий, не выведенный мною в люди, заброшенный, очень искренний поиск. Горько признавать, видно, я не был до конца предан искусству, сомневался в себе постоянно, и многие хорошие идеи и сюжеты зависли и высохли, как забытые на скамейке цветы несостоявшегося свидания. Я и сейчас не знаю, где тот Пушкинский альбом, в каком из моих оставленных архивов.

Но все же работа над этими рисунками была полезной, хотя бы потому, что я начинал свой труд утром, как тяжелое обязательство, но вскоре я увлеченно погружался в саму работу, а уже потом незаметно подходило вдохновение - оно ласкало мое сердце и я сам начинал казаться себе способным на многое. Поддерживали меня в моих поисках почему-то люди пожилые и я им верил, их опыту. К Матвею Петровичу приходил пожилой, очень вежливый человек в старинном военном френче, стройный, несмотря на синеватую белизну его редкой прически «под бобрик». Мне казалось, что я видел его в кино - отставного полковника, добывающего свой хлеб

работником почты или сберкассы. Вначале мне казалось неестественным, что он знает много стихов совсем неизвестных мне поэтов - Надсона, Северянина, Гумилева. В перерывах между стихами он весело рассказывал, как его на этапе пугали Сибирью и полосатым зверем по имени бурундук. Он как-то незаметно вовлек меня в рассказы о старательском труде. Разумеется, я тоже пугал его романтикой фарта и неудач, но все же он готов был пойти в нашу молодежную бригаду мыть золото.

Наверное, он запомнился мне тем, что хвалил мои рисунки, он находил в них какую-то внутреннюю динамику, что он называл порывом души. Однажды во время его долгой беседы с Матвеем Петровичем о толстовской повести «Отец Сергей» я сделал акварельный набросок этой сцены, очень схематичный, но лицам пытался придать состояние спора. Сам того не желал, но мой рисунок скатывался к форме карикатуры и я его резко отложил и вымыл кисточки. Старики просили рисунок им показать, что я и сделал, хотя было очень неловко, что я их возвышенную беседу о Боге превратил в шутку. Но старики пришли в восторг, они весело смеялись и гость просил подарить рисунок ему.

- Если я когда-нибудь вернусь в Петербург, ваш труд займет достойное место в моей скромной коллекции. У меня несколько рисунков Льва Бакста, созданные так же, между прочим, казалось бы, но в них дух тех моих дней. - старик помолчал и сказал:

- Да-с.

Лето для меня было не особенно удачным. Между острыми приступами суставного ревматизма я ходил с матерью на промывку золота. Ходили мы, как и другие любители, по следам уже старых россыпей, где самые богатые пески были уже промыты. Как разведчика меня не приглашала ни одна компания - кому нужен рабочий с опухшими коленями. Но все же в это лето нам однажды повезло. С речной косы, где еще недавно гремел и плескался промысел, как-то резко ушли старатели - говорили, что в районе старого прииска Боголюбовского старик Семенов застолбил счастливую наносную россыпь, там вся его семья в поте лица намывает в день грамма по 3-4 на каждого. Да и другие рядом с ним устроились на хорошую добычу. Нам он тоже не откажет. Но прежде чем уйти с косы, где мы все же добывали по грамму в день на брата, я решил хорошенько рассмотреть геологическую ситуацию формирования этой косы, которую мы уже превратили в промытую гальку. С высоты горного склона я заметил в однообразной массе березово-осинно-ольховой зелени темно-зеленую дугу кедрового леса. На болотистых низинных землях кедр устраивается на веками намывных рекой песчаных берегах. Напротив этой кедровой дуги должна быть старая песчаная коса, на ней может расти только тальник. Там может быть и старое русло, вернее, серп длинного озера с родниковой водой. Если в верхней по течению стрелке косы окажется золото, хотя бы самое бедное, есть надежда отыскать богатый песок в более низких отложениях, чем нами обработанные горизонты на более позднем русле реки.

Мы спрятали наши орудия труда в густом лесу до лучших дней. Мама занялась шитьем, я решил разобраться с новым местом сам. Я по-прежнему верил в свою удачливость, вернее сказать, в счастливую случайность. Кто-то из ученых-опытников сказал, что случайности тоже имеют стройную систему - счастливая случайность идет сама к подготовленным и старательным людям - фарт не преследует слабых и ленивых.

Примерно в пятистах метрах от выработанной косы, на старом русле, закрытом тайгой, на самом мысу кривого песчаного намыва я заложил шурф - пробный колодец и промывал по паре лопат породы в разных слоях речных наносов. На третий день мой шурф углубился до водного горизонта, и тут как раз и залегала самая обильная россыпь. Я не кидался промывать лоток за лотком и определять содержание золота в каждом промытом кубометре породы. Я спокойно перетащил наши инструменты - буддари, лейки и скребки на новое место - все подготовил для нового рывка. Слепил я довольно-таки впечатляющий шалаш из захудалых березовых жердей и лоскутов еловой коры на случай дождей, а может, пригодится и заночевать здесь.

С мамой мы начали промывать самые богатые пески. Она проявила завидное хладнокровие при виде сплошного золотого руна, во что неожиданно превратился наш суконный улавливатель. Мы без устали работали до позднего вечера и уже при свете костра я испек самородок, на долго и ярко мигающих углях выпаривая ртуть. Вечернюю молитву мама обычно читала шепотом по установившемуся образцу, а сегодня она, удачно импровизируя, благодарила Бога за хлеб насущный, просила оградить нас от дьявольского искушения - вернее, от жадности и чувства превосходства над себе подобными.

В субботу утром нас едва нашли - отец, Федор и маленький Вяйно. Вяйно пришлось густо намазать антимошковым составом - смесью дегтя, машинного масла и глицерина. Нашей удаче больше всего удивился и обрадовался брат Федор. Он первый раз был в работе на богатой россыпи, но внес полезное организационное предложение: пройти конец косы глубокой траншеей метров на двадцать. Верхние слои песков с меньшим содержанием золота заскладевать в виде бруствера. Дно траншеи с более богатым содержанием металла промыть в первую очередь и сразу определить примерные размеры этого слоя по протяженности песчаного намыва. Мне эта затея казалась почти невыполнимой, но Федор показал, что не хуже лучковой пилы владеет лопатой. К ночи я его еле успокоил: доверил испечь новый самородок, который по нашим прикидкам вышел не менее двадцати граммов. Весь воскресный день наши старшие мужчины работали с азартом, отдыхая минут по

десять через полтора- два часа. Я уже обленился - бродил с Веной по ароматному кедровому лесу, где было значительно меньше комаров, чем в нашем разрезе. Я учил братика узнавать красивые мухоморы и откапывать из- под мха редкие еловые грузди.

Воскресенье заканчивалось мелким дождем. Наши уходили все, кроме меня, в поселок. Был испечен еще один самородок величиной с окурки с неровными краями. Я просил отца не относить пока золото к приемщику. Я не мог наш разрез оставить бесхозным, а заявить бригадир старателям о нашем участке намеревался так через неделю.

- Чуть не забыл! - виновато сказал отец, - с этим золотом я совсем голову потерял. И достал из кармана плаща письмо и краевую молодежную газету. В ней была краткая информация о выставке рисунков школьников края в зале краеведческого музея. Упоминалась моя акварельная работа с верной передачей утреннего света. Письмо было из клуба юных туристов. Предлагали написать заявку на участие в плотовой экскурсии по реке Мане. Я обрадовался этим документам, хотя и знал, что никуда не поеду. Наверное же не для туристических походов меня здесь пасет спецкомендатура! Как я напишу заявление - прошу отпустить прокатиться на плоту по реке Мане? А уезжать надо. Мне уже предлагали поступить в местное горно-промышленное училище, но я ссылаясь на плохое здоровье, как-то уклонялся от ответа.

Нам удалось еще целую неделю работать на хорошей россыпи. Бригадир отыскал нас и сказал, что вынужден с дальних кос перевести старателей сюда. Там дражный полигон - и частный сектор отсюда приказано выгнать. Этот участок не попадает под схему буровой разведки, и вообще он удивлен, как я откопал этот участок и по-хозяйски подготовил разрез. Он попросил лоток и промыл пробу с конца нашей траншеи.

- Отстой мне поперек косы кусок метров на десять, сегодня же. Я оформлю и твой и свой участки в отделе. Но людей я вынужден привести. Пока!

Бригадир, уходя, оставил у меня в мешке ружье и патронташ и большой кусок вяленой сохатины в холщовой сумке:

- Ешь, не стесняйся, смотри, у тебя кроме сухарей да соли ничего нет. Будь здоров. Завтра встречай гостей.

Недельную добычу золота я решил сдать в скупку не у нас на прииске, а на Центральном, куда я отправился однажды поздно вечером уже потемну. Я считал, что ночью не встречу тех, кого не хотел видеть днем на моей тропе. Опыт недавнего прошлого внезапной болью давал о себе знать.

На рассвете я пришел к домику Ронгонена со стороны огородов и мелколесья, не заходя в поселок, не хотел будить собак. Матвей Петрович был какой-то скучный, не спросил даже меня, почему я ввалился к нему в такую рань. Он обычно не курил по утрам, а тут аккуратно свернул махорку в обрывок газеты, закурил и продолжал молчать. Я рассказал, что мыл золото в семейной бригаде, сказочно разбогател и могу рассчитаться кулем сахара за приют и харчи.

- Неужто можешь куль сахару поставить? Или шутишь? Вправду повезло с золотом? Если так, то возьми и кофе. В золотоскупке, говорят, есть, но на совзнаки не дают. Дед Матвей снова помолчал, а потом, не глядя на меня, сказал:

- Твоего доброжелателя - помнишь доброго Дон Кихота? - арестовали и куда-то увезли. Не только его, но и других, поступивших на поселение из Питера после убийства Кирова.

А кто же он был, этот одинокий пилигрим в желтых крагах с элегантной тростью, инкрустированной серебром и маленькой эмблемой двуглавого орла? Со светлыми, почти детскими серыми глазами, он смотрел на всех ласково и мне казалось, что я его давно знаю. Может, он бродил с ружьем в наших осенних перелесках, как и многие питерские случайные гости.

- Простите, Матвей Петрович, я ведь так и не знаю, кто он, этот добрый человек?..

- Милый мой, это генерал Буксгевден, последний из династии прусских военных, служивших в России. Его прадеды упоминаются в докладах Грюнвальдской операции русской армии.

- Что ж теперь? У него есть семья в Питере? Скорее всего, расстреляют. Зачем им старый человек.

- Старшая дочь живет в Эстонии. Младшая в Питере. Адреса он не оставил. Наивный человек, надеялся, если вышла ссылка, так это уже все.

В девять часов с дедом Матвеем мы пошли в золотоскупку, прихватив ручную тележку. Приемщики в ступе расколотили мои самородки, остались довольны качеством обжига. Оформили целую кучу десятирублевых бон на предъявителя, подсчитали, сколько нужно сделать пометок и на чем, что сахар-песок - 50 кг получен.

- Неужели самогон выгоднее, чем спирт на золотые боны? - спросила продавщица.

- Конечно, дешевле, - ответил дед Матвей. - Но мы самогон не варим, а вот с вареньем мы будем в этом году.

- Так из варенья самый лучший самогон, - восторженно объяснила продавщица.

- Век живи, а всей мудрости не постигнешь, - отшутился Матвей Петрович и мы дружно выволокли на крылечко золотистый куль отоваренного золота.

За вторым завтраком дед Матвей осторожно спросил о моей работе над рисунками. Я ответил, что душа не на месте, серьезно работать не могу, а главное - не хочу. Шуровать гальку в бутаре могу - думать не надо, а зарплата идет золотом. От брата из Питера ничего нет. Мать заждалась письма. Мне кажется, она безошибочно чувствует приближение беды. Да и мне казалось, что я должен что-то увидеть или услышать - но что? - это «что?» ускользало, словно недосмотренный сон. Иногда подступал страх от мысли, что мы больше не встретимся. Почему из Москвы не прокатился к нему, ведь были деньги и Николай Алексеевич отпустил бы меня, и справка от комендатуры была у меня, впрочем, там о Ленинграде ничего не было сказано. Бабушка Анна удивилась, что я собрался сразу же в обратный путь.

Пройдя Покровское зимовье, остановился на речке Холме, попил воды, переобулся, в кармане куртки оставил одну бону на десять рублей и какие-то мелкие деньги, а все свое богатство спрятал под берестяную стельку ботика. Так, на всякий случай. Откуда такая неуверенность, сам не пойму. Никто же не догадается меня из засады убить, чтобы забрать боны, а на тропе лесной кто же может меня остановить? Можно же допустить, что у меня в правом рукаве на резинке подвешен «финик» - тряхну чуток вниз, и он тут как тут, в моей ладони. Как он себя поведет, мой стальной друг, в какой обстановке, сказать трудно, да и гадать не надо.

На пустых полянах на месте Калифорнийского прииска я вышел с лесной тропы на колесную дорогу. Несколько лет тому назад здесь в помещении бывшей конторы золотопромышленника Крутовского летовал пионерский лагерь. Мы с мамой приносили сюда небольшие набирки из берестяной ленты, которые сами сплетали для меновой торговли. За те симпатичные детские корзинки нам давали крупу и вермишель. Я очень стеснялся этой процедуры, но приходилось терпеть, так как мама совсем плохо говорила тогда по-русски. Мальчишки и девчонки тащили меня играть в волейбол, чем не на шутку перепугали вожатую. Тогда я остро переживал такие моменты отчуждения. Возможно, оттуда, из далеких детских обид тянется за мной неудержимая вспыльчивость, за которую мне очень горько. Сколько хороших ребят я обидел в безобидной, казалось бы, обстановке игры.

На самом высоком месте сухой поляны сохранился фундамент большого хозяйского дома, заросший местами высокими кустами крапивы. Оттуда тянуло дымом костра и запахом махорки. Я было ускорил шаг, но заставил себя остановиться и аккуратно подойти к зарослям крапивы. Мой слух уловил глухой кашель и еще мне послышался скреб железной лопаты по дереву. Можно было уйти, но я уже завелся и, обжигая руки о крапиву, пролез сквозь куст и увидел двух небрежно одетых стариков, старательно очищающих от засохшей грязи куски гнилых досок и каких-то толстых чурок, возможно, на них раньше лежали матицы пола. На углях костра стоял солдатский черный котелок, в стороне на траве лежали свернутые брезентовые куртки и на них - заплечные мешки. Ни топора, ни ружья я не увидел. Еще не поздно было уйти, не напугав стариков, но я уже был втянут в какую-то навязанную любопытством и озорством игру. Слегка кашлянув, я вышел из куста и весело сказал:

- Бог в помощь, отцы небесные, неужели здесь надеетесь червей накопать? Старики с трудом встали, пытаюсь выпрямить спины, смотрели на меня с испугом.

- Говорю, здравствуйте. Учужал дым, думаю, надо потушить костерок. Вот и зашел, извините, если помешал.

- Здравствуй, коли не шутишь. Заходи, закури.

- Я присел на кусок очищенной чурки и невольно продолжал рассматривать непонятную мне работу стариков.

- Простите, кто вы будете, издаля ли пришли на эти развалины?

Я сказал, что я действительно издаля и помню этот дом, назвал себя правильно, но старики, видно, не поняли.

- Вы не хозяйский ли сынок из Харбина?

- Нет, я из Питера, из Ленинграда, но здесь уже давно, - и как-то я сразу понял, чем заняты старики.

- Не надо ли вам помочь?

- А как вы можете нам помочь? - переглянулись и задумались старики.

- Вы же работаете вслепую, - сказал я. - Вы же не знаете, как были использованы помещения этого дома.

- Как не знаем? Вот с северной стороны была контора и, следовательно, здесь была и касса и работа с металлом.

- Вы же ковыряетесь на месте вестибюля. Я бы на вашем месте разобрал для начала остаток печи, проверил бы все колодцы дымоходов, потом бы проскоблil нижний пол в комнате приемов, где хозяин мог с гостями играть в карты. А вам известно, что играли в основном на рюмки золотого песка? Вы пробы промывали?

- Таскаем на старый разрез, но там муть долго держится, а на Удерей далеко.

- Вы при хозяине работали здесь, или по легенде действуете?

- Отец мой кучерил, а мы вот в разрезе с ним мыли в большой артели. Многое меня интересовало - и судьба этих, видно, не особенно удачливых людей, и судьба последнего владельца прииска и происхождение этого экзотического названия - Калифорнийский, но надо было уходить. Конечно, неплохо бы отыскать крынку с золотым песком. Здесь возможен один из неоткрытых кладов, которые рано или поздно поступят в казну. По закону приходится откопателям четвертая часть. Скорее можно это намыть, чем таким способом искать счастье. Я пожелал старикам здоровья и успехов и ушел по Елизаветинской конной дороге.

Дома я никого не застал. Вскоре мама пришла с тазом отжатого белья, снизу от Микчанды. Как-то небрежно поставила этот таз на скамейку на крыльце и, словно споткнувшись, упала, но задержалась на моем плече.

- Письмо пришло, не знаем, кто писал, подписано - ваш доброжелатель. Прочитай сам. Я посижу здесь, бог ты мой.



*Давид Ряннель - администратор финского домпросвета в Ленинграде и студент Эйно Ряннель, 1936 г.
Расстреляны в 1938 г. (стр. 103)*

Кто-то незримый наступил на больное место в груди, словно так и надо, прямо на старую рану. Из первого чтения я понял, что арестованы дядя Давид и тетя Хелена еще в июне, а теперь арестован Эйно. Взяли его на спортплощадке. Он, улыбаясь, кивнул друзьям и сел в «черного ворона», который в последнее время, уже не стесняясь, рыскает по Ленинграду средь бела дня. Его знакомая девушка Айно добивается свидания, но пока не получается.

В чем его можно обвинить? Он еще не успел даже поработать после техникума, как был принят в институт. По весне писал, что собирается в алылагерь. Далее в письме говорилось, что арестованы все активисты финского дома просвещения, радиогруппа, половина редакции газеты «Вапаус» («Свобода»), пасторы лютеранской церкви, народный поэт Карелии Ялмари Виртанен. Я, не дочитав, отложил письмо. Где же отец? Я вышел на крыльцо и сказал маме дежурную фразу - разберутся с Эйно, вот увидишь, отпустят, может, разрешат к нам приехать. Где отец - на складе или у заготовителей в лесу?

- В лесу. Слушай меня внимательно. Федор решил жениться. Невеста - Анна Кяхяри, они когда-то жили в нашем бараке, брат ее Павел умер здесь в тридцать, кажется, третьем. Потом арестовали Михаила, мать и девочек увезли в Маклаково. Там умерла мать. Анна и Лида приехали сюда. Лида устроилась учиться в медтехникум в Красноярске. Но дело в том, что надо помочь Федору построить дом. Ты мало с ним говоришь, вас что-то разделяет. Надо тебе быть нежнее с ним. Отец выписал лес на корню. Ему дали выбрать участок - сосны прямые, можно поставить сруб шесть на семь метров, а то

и более.

- Мама, я отсюда уеду при первой возможности. Федору я помогу заготовить бревна, ошкурить и скатать на просушку. Я его люблю и жалею. Ты права, ему время жениться, если Анна пришлась по душе. Я ее помню - умная, старательная, но резкая. Отцу с ней будет трудно. Дом надо срубить до морозов и покрыть.

От этого, еще не согласованного плана, как-то на сердце стало легче, но душа моя витала над питерскими тюрьмами, но я никак не мог увидеть, что делает брат Эйно, я не мог представить, как он сидит на полу в углу камеры, где набито людей - дышать нечем. Как можно представить, что ему, доброму парню, который кроме учебы и стихов ничего не знает, предъявляют обвинения в подготовке убийства Кирова, или подготовке взрыва обкома партии - Смольного. Мне представлялось, что Эйно в ответ на эти обвинения мог только улыбаться. Пришел отец и прямо спросил:

- Что нам делать? Где искать правду, где искать спасение?

- Будем строить дом. Все образуется. Рано ли, поздно ли восторжествует справедливость. Все говорят, что Бог все видит, но я не думаю, что он не может разобраться в такой куче ложных обвинений, доносов, сфабрикованных процессов. Наверное, Бог мыслит нормальными понятиями логики, как и мы - его подобие.

- Не бросай нас, не дай Бог, и ты потеряешься.

- Я пока не еду. Но и в техническую школу не пойду, - я подал отцу пачку бон. - Вот возьми, планируй, распорядись. Сахар я частично отоварил. А теперь дай мне письма Эйно.

Я не нашел в них никакого предчувствия беды. Если и попадались минорные строчки, то это было вполне естественно, от вынужденной разлуки с нами и незнания нашей жизни.

Я поселился у Федора в бараке Красного Ключа. Половину дня мы обрабатывали его норму. После обеда и короткого отдыха мы принимались готовить бревна для нового дома, где он намеревался начать новую взрослую жизнь. После слов матери, которые воспринял как укор, я старался понять своего старшего брата, быть более внимательным к его планам и размышлениям. Я увидел его как-то по-новому - он ничего не утверждал на словах. Я смотрел, как он выбирал сосну для очередного бревна. Стукнет обушком по сосне - если сосна отзовется звучным, как бы грудным вибрирующим баритоном на этот стук - значит, дерево здоровое, прямослойное, и мы снимали с нижней части ствола кору и соскабливали ножами белый сладкий слой клетчатки, питающий крону. Когда у нас появится около шестидесяти таких разутых деревьев, мы их срежем и разделаем, хотя на ошкурение подсохшего дерева придется потратить больше времени и сил.

Ко времени спиливания сосен созрела черника и к нам в лес приходили целые компании женщин и детей. Почти каждый день приходила мама с Веной. Слава Богу, был сахар, заготавливали варенье в холодильных ямах под баракom и снова приходили за ягодами. Меня такая жизнь, тихая и размеренная, устраивала, только сил и светового дня не хватало на чтение. Но такую жизнь я считал временной и оторванностью от книг и радио меня устраивала тоже временно. Душа требовала силовых игр, но так как не было футбола, я бегал провожать солнце на горбатую вершину горы, где открывались картины на синее таежное море с пологими волнами гор. Я любил это одиночество, минуты мысленного слияния с величием далеких гор и высокого неба. Но этой причастности к бесконечному мирозданию я долго не выдерживал. Начинали приходиться сомнения в полезности моего трепыхания на белом свете, поднималась обида за постоянные конфликты, бессмысленные унижения, постоянная борьба за свою жизнь, шкуру. И я уходил вниз, в дышащую теплом долину, в тихий уют барака, где уже храпели лесорубы.

Однажды утром мама принесла мне письмо, оно было адресовано нам всем. Писала девушка Айно. Она добилась свидания с братом только после того, как обещала уговорить его подписать акт обвинения. Она уговаривая, плакала, просила подписать, что бы ни было в акте - обещали только десять лет лагерей и сохранить жизнь. На свидании брат не улыбался, он показал ей исполосованную, в кровавых рубцах спину, говорил очень мало, давал ей свободу от своей любви, ложь подписать отказался, просил родителям и братьям передать, что не уронит чести семьи, не примет условия палачей в обмен на поруганную жизнь, просил прощения у мамы за причиненные тревоги и раннюю седину.

Возможно, были еще какие-то наказания, но убитая горем девушка Айно боялась о них написать. Больше она нам не писала, свой адрес не оставила. О брате мы ничего толком не знали. Отец в течение восемнадцати лет писал в различные правовые и карающие организации. Первый ответ был, что осужден брат на 10 лет без права переписки и содержится в режимных лагерях на востоке страны. Знающие люди говорили, что такой ответ пишут о тех, кто расстрелян по решению тройки вскоре после ареста и пыток. Но отец продолжал писать, иногда приходили ответы, они были уклончивые, советовали писать по каким-то адресам. Мама говорила, что она чувствует, что Эйно жив, когда-нибудь напишет из Австралии или Новой Зеландии, куда бежали от финляндской гражданской войны восемнадцатого года наши родственники... Еще до письма Айно об аресте брата я видел страшный сон. Это было какое-то видение, я даже голос его слышал, отчего и проснулся, когда видение исчезало на темном потолке. Я никого пугать не стал своими бредовыми выводами и толкованиями, но засела у меня тревога, что брата уже нет в живых и в тот страшный миг, уходя из жизни, он прихватил с собой кого-то из палачей.

Я слабо верил, что мой тихий, разумный брат, доведенный до отчаяния, мог выхватить зубами горло палачу, если даже руки у него были завязаны за спиной, но почему-то такое слабое видение не покидало меня долго, сердце верило.

И тогда в ночном мраке избышки у подножия горы Горелой я дал клятву жестоко отомстить за него. Кому точно, я не знал, я просил моего ангела-хранителя навести меня на верный след, моего черного ангела-вещуна просил дать мне решительность на точный удар моей мести. Лет пятнадцать спустя после ареста брата, а точнее, в 1953 году на мою красноярскую берлогу заглянул Виктор Нятенен (новая фамилия Куницын), актер, вернее, бывший актер Петрозаводского драматического театра, отбывавший пятилетнюю ссылку в поселке Бородино после девятилетнего пребывания в лагерях на таежной реке Бирюсе.

Этому Виктору писала сестра Пекка Варваса, что кто-то видел моего брата в городе Магадане. Я готов был поверить этой версии, но брат не писал, не искал родителей, адрес вечной их ссылки в Удереиской тайге он забыть не мог.



Эйно Ряннель, 1917-1938, снимок 1936 г.

Отлегла среди забот о семье и прочих житейских дум неотвязная жажда мести, но и молиться я не стал за врагов наших, которые прекрасно ведали, что творили. И раньше у меня были несовпадения в жизни, поведении с евангельскими заповедями. После арестов и бесследных исчезновений наших близких родственников - братьев и сестер мамы Давида Кольенен, Ивана Кольенен, Анны и Никиты Михайловых, отцовских братьев Таави и Юхани и Хелены Ряннель, а теперь и брата Эйно - двадцатилетнего доброго парня, мне стало казаться, что власти, с позволения всевышнего, переусердствовали в отношении нашей семьи, да и, пожалуй, всего финноязычного населения ленинградских пригородных районов. В 1956 году, когда мои родители жили в Емельяновском районе близ Красноярска, где младший брат Вяйне (Вениамин Васильевич) работал учителем, отцу пришел ответ на очередной запрос, где говорилось, что Ряннель Эйно Васильевич посмертно реабилитирован, умер в Ленинграде в 1945 году, справка о смерти прилагается, но в письме справки не было, и брат не мог быть в Ленинграде в 1945 году, ни один зэк в ленинградских тюрьмах не дожил до этого года.

Любознательный читатель, посмотрите хронику блокадного Ленинграда, посмотрите приказы об эвакуации через Ладогу за 42 и 43 годы. Да и в сорок пятом не ввозили ни одного заключенного в Ленинград. Опять была ложь официальная. Но в этом письме была квитанция ленинградского скупочного магазина на 4 рубля за сданную рубашку и денег шестнадцать рублей и студенческий билет на имя брата. Это были вещественные доказательства расправы и кощунственная акция в

адрес несчастных родителей.

*Я не знаю, где твоя могила,
Где упал, раскинув руки, ты.
В рудниках ли Колымы постылой,
Или в талых тундрах Воркуты?
Ты ко мне приходишь в сновиденьях,
Вознесенный в небо по ночам
И зовешь к святому отомщению
Справедливой пулей палачам!*

Такой плач или реквием, начало которого привел выше, я выдохнул вместе со слезами, когда отец показал мне это правительственное утешение - «реабилитирован посмертно».

Мне было тяжело еще и потому, что он прислал мне свою многотрудную поэму на финском языке, от которой отказались карельские издательства. Возможно, здесь приложили руку и кто-то из старших товарищей-поэтов того времени, вскоре расстрелянных и загнанных в лагеря. Эта рукопись десятки лет кочевала в моих бродячих архивах. Это вполне профессиональное произведение. Ее сюжет сейчас воспринимается прямолинейно и конъюнктурно. Но для 1937 года, написанная автором, которому не было и 20 лет, верноподанным комсомольцем, она воспринималась вполне нормально, в духе подвига Павлика Морозова. Молодой человек любил девушку и она пыталась его завербовать в какую-то тайную, читай, антисоветскую организацию. Превозмогая душевные муки, он заявляет о ней в органы НКВД, и вместе с ней «закладывает» и своего будущего сына. Вот такая драма. Вот такой психологический отбор идеала нового общества, нового человека предлагал молодой поэт в своем произведении. Как же было в жизни? Возможно, еще выплывут, благодаря поискам карельского «Мемориала», многие печальные подробности этой трагедии.

Лирические отступления в поэме, описания пейзажа заслуживают рассмотрения специалистов. В библиографическом справочнике литературы Карелии зарегистрированы два его стихотворения, тексты

которых я не сумел сберечь. Так от талантливого человека не осталось ничего. Теперь уже и мой младший брат стал пенсионером. «Кому из нас последним в день лица торжествовать придется одному?» Эту пушкинскую вопросительную строку я вспомнил, когда мы осиротели, похоронив мать. Она умирала в сознании на девяностом году жизни. Пожелала нам жить достойно, отдать все долги добрым людям и простить гонения нашим врагам.

Желая быть когда-то хорошим сыном, я решил хотя бы частично осуществить ее добрые пожелания. Одно из них - простить убийц моего брата, поговорить с глазу на глаз, навести на раскаяние и покаяние, если это будет возможно.

После долгих расспросов, трехлетней переписки с ленинградскими товарищами и доверительных встреч, я узнал две фамилии палачей - русскую и финскую. Обычно судьбу финских советских граждан решали тройки с русскими фамилиями. Но иногда попадались пособники с финскими фамилиями. Я не могу назвать эту распространенную в наших местах фамилию - она принадлежит многим добрым людям и их детям. Моего должника я нашел на окраине города Сортавала. Во дворе уютного особняка он подстригал куст шиповниковой красной розы. В глубине двора играли дети. Войдя в калитку, я попросил разрешения на присутствие и спросил о здоровье гражданина майора такого-то. Бело-розовый старик в расстегнутой на груди рубашке пристально посмотрел на меня. Я медленно снял дымчатые очки левой рукой и театрально улыбнулся как старому знакомому. Отставной приспешник палача побелел и как-то сник.

- Мари, - обратился он к кому-то в сторону веранды, - к нам гость, дорогой гость. - и рухнул на грядку в размягченную землю грозный садист, когда-то идейно-бешеная собака. С немолодой женщиной мы уложили на веранде бывшего майора. Она позвонила в «Скорую помощь». Пульса она не могла обнаружить.

- Что вы ему сказали? - закричала женщина. Я понял, что она его дочь.

- Я поздоровался и больше ничего не успел сказать. Он позвал вас. Нужен электрошок и сильное искусственное дыхание.

- Вам лучше пока уйти, - сказала Мари, услышав на улице сирену «Скорой помощи». - Как о вас сказать, когда отец оклемается?

Я положил на стол визитную карточку с моим сибирским адресом. Когда вошли люди в белых халатах с двумя черными ящиками, я ушел, не попрощавшись.

За кого принял меня отставной майор, не знаю. Я никогда никого не пугал своим сходством с братом. Возможно, он от страха увидел за моими плечами вздыбленные черные крылья. Они могли показаться, когда я нащупывал на рукоятке кнопку взлетающего лезвия. Старик понимал толк в такого рода делах.

Завершив свои дела в Ленинграде, нагрузившись красками, я улетел домой и вскоре получил письмо с районной газетой из Сортавалы. Там был некролог без портрета умершего палача, но была в том же конверте фотография брата с фамилией и датой на обороте. Как снимок попал в материалы отставного майора, почему он его хранил? Или он коллекционировал портреты своих жертв? Или оставил портрет брата в порядке исключения, как память о смелом несломленном человеке? Этого я не узнаю никогда. Майор не нуждается в моем прощении, но я все же простил его. Но облегчения от этого прощения нет. Я что-то сделал не так.

Глава XV - ДОЛГОЕ РАССТАВАНИЕ

- Не было покоя на душе.
- А вы лечились муравьями ?
- Жизнь Клина Самгина и теория композиции.
- "Из школы тебя все равно исключат".
- Встреча на большой перемене.
- Сталинский лозунг.
- Кража на Леоновском приiske.
- "Кроме Репина все художники были нищими в России".
- Стихия свадьбы и песни.
- Привет от Костюнина.
- ...И Бог-Отец позволил сына распять на кресте.
- Засада на Ефимовском.
- Нет, ничего не надо назад!..

Появился в свободной продаже хлеб и небогатый выбор других продуктов, приделались, уже не ходили с заплатами на коленях, радио реже стало клеймить троцкистско-бухаринских предателей за их тайную черную деятельность - наверное, всех переловили, пересудили, пересадили, перестреляли. Но не было покоя на душе. Гитлер вводил свои войска куда хотел, где-то полыхали настоящие войны, о которых мы мало что знали. Впереди был туман.

Как на грех, меня свалил очередной приступ суставного ревматизма. Ходить было почти невозможно - горело что-то внутри суставов постоянно ноющее. Никакие упражнения не помогали. Я понимал, что это расплата за усердие в старательских работах, многочасовые стояния в холодной воде в резиновых сапогах, но от этого понимания мне было не легче. Я видел, как болезненно мне сочувствуют отец и мама, а братик Вена шепотом говорил мне на ухо: поправляйся, мне скучно.

А была пора таежного промысла - ягод, кедровых орехов, уже табунились молодые рябчики, а мне пришлось перебраться в больничную палату. Врач жаловался, что давно нет и, наверное, не выпускают какую-то волшебную мазь, но если бы кто принес из тайги муравейник, хотя бы мешок трухи из середины муравьиного дворца для горячей ванны - возможно, эта процедура и уменьшила бы боли. Я лежал в шестикоечной палате один, вначале меня это устраивало - я прочитал толстый журнал, от корочки до корочки напичканный умными статьями. Выше по духовной наполненности других материалов мне показался очерк Юрия Жукова о поездке на Дальний Восток, где, между прочим, было интересно рассказано об искателях корня женшенья, о сказочной тайге, о взаимоотношениях человека и природы. Я знал, что разорить хотя бы на время муравейник есть большой грех, как говорила мама, но я все же попросил ее во время свидания поручить отцу принести мешок трухи из середины большого муравейника.

- Как же я сразу не догадался, - сокрушался отец, когда они на следующее утро с Веней принесли длинный, туго набитый мешок со всем содержимым муравейника.

- Да! Чуть не забыл. Мама вечером принесет - дед Ронгонен тебе послал что-то вроде библии, говорит, хорошо помогает от ревматизма.

На самом деле это были тома из собрания Горького «Жизнь Климата Самгина» и толстый энциклопедический словарь без начала и конца. С книгами была и записка от деда Матвея, в которой говорилось, что автор в этом романе блистает энциклопедической самообразованностью - и это как бы минимум для любого мало-мальски культурного человека, а для художника и подавно. Тут содержалась критика в адрес моей малограмотности - он прав. Он имел в виду и мои взаимоотношения со школой. Я действительно не хотел терять время в школе на отсиживание уроков по точным наукам и химии. Я считал искусство не менее точной наукой, даже более сложной, если иметь в виду теорию композиции картины. Такая позиция позволяла мне окончательно облениться.

Но ехать в школу надо, хотя к первому сентября мне из больницы не выбраться. Придется писать заявление - и насчет общежития в интернате, и отпуска по болезни.

Две ванны, которые я принял через день, были по рецепту отца горячими. Согнув колени, я сидел в ванне, наполненной обжигающей бурдой. Требовалось еще закрыться простыней, но глаза выедал резкий запах муравьиного спирта. Врач эти ванны отменил, прослушав и простучав мое сердце и несколько раз замерив пульс. Но и теплые ванны, которые я через несколько дней стал принимать, мне очень быстро помогли - перестали огнем гореть колени, наметилось спадание опухолей.

Теперь я читал, иногда заглядывая в энциклопедию, целыми днями и бессонными утрями. Герои Горького красовались друг перед другом, их разговоры мне казались надуманными, неестественными - откуда мне знать среду, где они росли и набирались мишурной мудрости - я не поверил им, они прошли мимо меня пестрым строем. Я их не полюбил. Я оправдывался перед Горьким тем, что мне еще рано до этой всеохватной эпопеи кануна российской революции и октябрьского переворота.

Неожиданно ко мне заглянул наш бывший комендант Федор Борисов. Его приход меня удивил и обрадовал.

- Чего здесь забаррикадировался книгами? Как дела? Разное слышал о тебе - я тебя не осуждаю. Если пойдешь в горно-промышленное училище - прием будет в октябре, я дам тебе рекомендацию в комсомол. Я член бюро райкома. Подумай. Из школы тебя рано или поздно исключат. Дело со стихами Есенина так и не закрыто - НКВД занимается твоими богатырями, кто-то сильно на них несет. Говорят, ребята всему начальству подсунули стихи Есенина, и те не знают теперь, признаваться им друг перед другом, что тоже приложились к этому запретному писателю.

- Спасибо, Федор Филиппович, за доверие, - теперь меня душила радость. - Спасибо за приятную информацию, но при первой же возможности я поеду в художественный техникум в Омск, если гражданин комендант товарищ Толстиков не получит приказ - не пущать! Задержать меня.

- Толстикову я скажу о тебе, не беспокойся. Подумай тут, пока читаешь Надежная техническая профессия тоже не помешает в жизни. Я теперь в райкоме, заходи.

Результаты февральской выставки в дни пушкинского юбилея придали мне уверенность в том, что я могу быть принятым в училище. Альбом у меня, в общем-то, не получился. Была дюжина рисунков, ничем не объединенных. Лучше я не мог. Но мои добрые зрители этого не заметили, они видели прежде всего мои искренние намерения. В школе я сделался человеком заметным. Даже большие девочки из десятых классов стали заговаривать со мной.

Мое опоздание в школу на целый месяц заметили все - сочувствовали, расспрашивали. В интернатской комнате меня ждала заправленная кровать и свободная тумбочка - их никто не занимал даже временно. О старых ошибках и грехах как-то забыли, и я сам стал забывать и уже подумал о себе в самом положительном свете, но случилась одна встреча, которая меня сильно озадачила, заставила над многим задуматься - ничего нельзя забывать.

На большой перемене меня вызвали в учительскую. В комнате секретаря, разделяющей кабинет директора и учительскую, сидел человек в поношенной кожанке и такой же помятой фуражке. Немолодой человек. Он встал, снял фуражку и подал мне руку. От такой церемонии я растерялся и не расслышал его имени и отчества. Фамилия мне показалась знакомой - и я тут же вспомнил о его великолепных портретах Ленина и Сталина. Они постоянно украшали авансцену, находясь по бокам красной бархатной занавеси в клубе. Это был художник Костюнин из административно-ссылных. Он года три тому назад крепко сел по какой-то бытовой статье - так мне говорили, когда я спрашивал об исполнителе этих удивительных портретов. Из вопросов, которые он задавал мне, я понял, что он знает всех в районе, о всех делах знает многие интересные подробности. Для меня он был прежде всего художник. Большой мастер, а обыкновенный человек, даже не скажешь, что художник.

- Ты, оказывается, еще совсем юный, - как-то разочарованно сказал он мне на прощание. - Тебе надо учиться и, по возможности, все в жизни подчинить этому делу - живописи. Поезжай в училище, уезжай отсюда. Даже наш великий Суриков, патриот Сибири, говорил молодому красноярскому художнику Каратанову: хочешь, Митя, стать художником - беги отсюда. Нужна среда, чтобы стать на ноги.

Он уже подал мне руку, но потом как-то вынужденно сказал, что здесь должен появиться некто по кличке «Адольф», бытовик, специалист по золоту. Идет он по наводке на «богатырей».

- Я выяснил, что ты их знаешь, они у него как бы под крышей. Если он войдет в дело, он сыграет на себя, он их заложит. Он и в лагере двойную игру вел. Это опасный человек. Надеюсь, увидимся еще, мне пора.

И он ушел. Я немного испугался, но был горд доверием, что владею непонятной мне тайной. Мне было грустно и в то же время радостно, что этот непостижимый мастер, возможно, запутавшийся в жизненных перипетиях добрый человек, пришел познакомиться со мной, доверил какую-то тайну, возможно, он меня предупреждает, хотя прямо ни о чем не сказал, возможно, он еще от лагеря поневоле связан с этим тезкой Гитлера.

Ребят я должен отвести от встречи с этим вором, если она как-то не связана с ним по неизвестным мне нитям, ходам и каналам. Петьку я знаю хорошо - он достаточно авантюрен и зол, а что я знаю об остальных богатырях? Их сдерживает на некотором расстоянии моя непомерно раздутая слава районного масштаба. Я знал, что они готовы защищать меня в трудную минуту - они сильны и безрассудно рискованны. Петру я доверяю больше, чем им. Мы с одного приискового поселка. Я знаю их семью. Наши судьбы в чем-то похожи.

Я Петру сказал о разговоре с Костюниным и возможном визите «Адольфа». Он меня подробно расспрашивал о нашей беседе, пытаясь понять, почему именно на их дружину идет неизвестный специалист по золоту. И он почему-то решил, что это не чистый вор, а еще и провокатор. Очень возможно. Ни одна из краж в нашей золотоскупке не была раскрыта за последние год-два. Значит, милиция выпускает по следам своих подозрений этого человека с кличкой, потерявшего от нелегкой жизни вкус к ремеслу и ничтожную воровскую честь.

- А если он выйдет на тебя? - задумчиво спросил Петр. - Может, он больше знает о тебе, чем ты знаешь о себе?

- Мне он дело не предложит. Мне оттуда приветы никто не передает, - спокойно ответил я, а в душе что-то скребло. - Да он и не откроется мне, а если будет понтовать, брать на испуг, я слегка покалечу его и сдам милиции.

Такой вариант почему-то обрадовал Петра, он хохотнул и хлопнул меня по плечу, что означало высшую похвалу.

- Правильно, - решил Петр. - Если эта дешевка и будет нас вербовать, зная наше гражданское положение, его надо сдать ментам обязательно. Если он провокатор к тому же - туда ему и дорога. Если будет качать клятву под пером - соглашайся. Мы в тот же день приберем его в засол на приманку соболям.

Я после этого разговора почувствовал себя на лезвии этого пера, даже очень неудобно; но я знал, что мой ангел в облике художника Костюнина дал понять о главном, предупреждал напрямую, а Петькины ангелы

будут тенью ходить за мной. «Адольф» сначала выйдет на них, на что-то надеясь, кем-то наведен - или воровской бандой, или милицией - вот в чем вопрос! И еще: что? где? когда?

Но разве это мои заботы? Мне надо получить вызов на экзамены, поступить в училище, открепиться от спецкомендатуры, не зря же добрые люди надеются на меня, учат, советуют.

А если где-то рядом готовится настоящее преступление, если я могу сработать в пользу справедливости, почему я боюсь и заранее ухожу в кусты?

После всего этого мне стало казаться, что в людных местах за мной следят - в фойе ли клуба перед киносеансом, в обеденном ли зале общей столовой, куда я иногда заходил поесть настоящих колет, не то что в школьном зале. Мне казалось, что обо мне говорят, меня кто-то кому-то показывает. Господи! Да я же ни при чем. Это загнанное в тупик, под запреты, золотое сердце Есенина вырывается к народу и высвечивает меня своим отраженным сиянием.

В школе жизнь шла по расписанию. Наступал очередной праздник, надо включаться в его оформление. Иногда мне поручали писание двухцветных больших пейзажей клеевыми красками для оформления сцены для концертов. При определенном освещении сцены они выглядели вполне настоящими декорациями - создавали иллюзию пространства. На фоне таких пейзажей хорошо смотрелись хоры и танцы. Лозунги писать я не любил. Они вроде бы адресованы всем, но их никто не читает, и я их воспринимал как чей-то формальный отчет на участке многоступенчатой власти. После случившегося на этот раз я стал вообще бояться работать с лозунгами. Было принято в тексте лозунга выделять большими буквами имя Сталина, что я сделал - все буквы в этом слове были заглавными, то есть на одну треть выше рядовой буквы. Дело было в клубе. Кто-то из райкомовцев по долгу службы принимал эту работу, прежде чем вывесить к празднику на фасаде клуба. Этого товарища я не знал, возможно, он был новый работник аппарата. Он спросил заведующего клубом, присутствовавшего при этой акции, достаточно ли выделено имя Сталина. Заведующий посмотрел на меня и у него затряслись губы.

- Я его предупреждал, что имя великого Сталина должно быть выделено, - он оробело смотрел на райкомовца или талантливо «ломал дурака». - Мы переделаем, думаю, что художник по молодости не понимает значения и силы наглядной агитации, уж простите нас.

И тут меня черт дернул опереться на прочитанные рекомендации в каком-то пособии по наглядной агитации и оформительским работам.

И я вполне авторитетно заявил, что шрифтовой лозунг имеет сложившиеся традиции и логические пропорции, определенные стилевые особенности. Другое дело панно или плакат. Там можно развернуть не только авторские эмоции, но и умаслить плохой вкус или дурь заказчика.

- Что ты мелешь! - закричал завклубом. - Это он нам морочит шарик, смеется над нами. Я его не приглашал - это школа направила его в счет шефской работы.

- Хватит, не пугайтесь, - успокаивал бледного зава розовый инструктор. - Лозунг принимается. Товарищ художник найдет журнал с полезными советами по праздничным оформлениям и ознакомит нас. Учиться никогда не поздно. До свидания.

И все-таки мы с заведующим клубом достали целый тюк алого сатина из райкомовского резерва, развели мел на казеине и за ночь написали новый лозунг для клуба. Заведующий своей рукой кусочком мела отмечал высоту букв для имени Сталина. Первый лозунг мы отправили в хозяйственный цех, а оттуда его передали на конный двор в порядке шефской помощи. За наше усердие и душевное волнение приисковый комитет профсоюза выписал нам премию в 50 рублей, которую мы по-братски поделили. Я даже расписался в их получении в какой-то ведомости. Заведующий попросил меня прийти завтра - разговор какой-то будет.

Я пришел в условленный срок в его кабинет и в ожидании хозяина прилег на диване и как-то незаметно переселился в розовый сон, где невероятно вкусно пахло копченой колбасой, но сама колбаса где-то отсутствовала и я проснулся от желания найти этот редкий деликатес.

Завклубом протянул мне полный стакан какого-то розового зелья. Я отпил глоток густого, приторно сладкого напитка и вернул стакан в протянутую руку, которая натренированным жестом направила розовую волну из стакана в приподнятый открытый рот моего напарника. Суетливый завклубом так театрально и аппетитно крикнул, что я, не дождавшись, когда мне предложат, отломил половину батона и подвинул к себе половину стопки нарезанной головкружительной колбасы.

- Может, опрокинешь? - по-свойски спросил зав и тут же допил ликер, быстро среагировав на мой отрицательный жест.

- Парень ты хороший, - продолжил он, - но надо научиться молчать при начальстве, свое мнение надо говорить, когда спросят, и то надо ориентироваться, ты же меня и инструктора поставил в неловкое положение. А тут момент идеологический, нельзя никаких вольностей. Особенно тебе.

- Разрешите уйти, я опять пропускаю уроки. Позвоните директору, школьную шефскую помощь клубу я выполнил.

Я ушел, как бы не заметив его поданную руку. Красавец мужчина, неплохой специалист культурного фронта. Зачем он подхалимские гримасы корчит, неужели это искренне? Нет-нет, бежать отсюда надо к своему настоящему делу, если оно где-нибудь есть для меня.

Наш таежный Южно-Енисейский, Удере́йский район по территории, говорят, превосходит Бельгию или Голландию. Сколько там хороших дорог, я не знаю, но у нас одна - автомобильная от пристани Мотыгино на Ангаре до центрального Гадаловского прииска. Все приисковые поселки и промыслы связаны с Центральным поселком дорогами похуже, но зато телефонная связь у нас отличная - все далекие поселки сидят на одном проводе. Есть, конечно, специальные линии, но дело не в них. А дело в том, что все новости, деловые указы и просто сплетни делаются достоянием всего района на второй день, а на третий день новости уже обрастают лирическими или же страшными подробностями и сообщаются из поселка в поселок как нечто новое. Ко мне в школу зашел фельдгегерь с портфелем и наганом на боку и сказал:

- Нам в управление звонили из конторы Кировского прииска. Вас вызывает домой отец, просит прийти немедленно.

- Кто умер?

- Не сказали, просили вас найти.

В кабинете директора школы был плохонький телефон, но фельдгегерь сумел сразу соединиться с Кировской конторой. Мне ответила знакомая женщина - бухгалтер материальной группы, она повторила просьбу отца, сказала, что все живы, но дело в том, что арестованы все смены драги, украдена большая партия золота, арестован и сам сменный драгер, и его сын, участник нашего рейда за золотом на полигон Новая Еруда.

- Скажите отцу, что я вечером буду.

Фельдгегерь слышал весь разговор и немного поправил информацию, но, разумеется, он не стал делиться теми сведениями, что знал он. Но он удивился, что прямо по телефону называют предварительно арестованных.

- Возможно, это профилактическая работа органов, ротозейство ведь на каждом шагу.

Я отсиживал уроки, почти ничего не слыша, а с последнего урока отпросился, но меня перехватили и попросили зайти в учительскую. Вопросы были о краже золота - просили объяснить, как можно украсть золото на таком строго охраняемом объекте, как драга, где сменная добыча золота снимается при специальной комиссии, пломбируется в металлические капсулы и передается вооруженным людям - фельдгегерям - для доставки на Центральный прииск или в Красноярск. Все это оформляется соответствующими документами, украсть золото можно в том случае, если добыча превышает в несколько раз предварительные показания буровой разведки. Тогда можно и перевыполнить план и остаток скрыть. Но здесь уже все решают кадры, как сказал наш великий Сталин. Нужно единство всей смены, приемочной комиссии и даже руководства прииска. Нет смысла воровать из небогатой дневной добычи - сразу заметно и делить-то нечего.

- Как подготовить такую бригаду при строгой круговой поруке? - этот вопрос задал завуч по воспитательной работе. Этот вопрос меня развеселил, и я вдохновился для полного ответа.

- Я не специалист по краже золота, но думаю, что все преступления начинаются с секретности. Данные буровой разведки и фактический вес добытого на этом полигоне металла никто не знает - значит, не подлежит контролю. А дальше уже кадры решают все! Как сумеет начальник драги и парторг поставить воспитательную работу. Тут все решает доверие, дисциплина, чувство своей исключительности над черной массой разных работяг - эзков, спецпереселенцев и прочих несибиряков. И главное, все-таки - это индульгенция за безнаказанность. Что это значит? Это значит, что без решения бюро ворюгу с партбилетом даже для следствия не могут арестовать. Индульгенцию от грехов люди в старину покупали на нажитые от торговли и обманы деньги. Сейчас вопрос значительно сложнее. Может, хватит?

- Хватит! - закричала старшая пионервожатая Люба. - Вы искажаете нашу действительность, как вы смее так говорить, у вас вообще нет права голоса! - и тут она топнула ножкой, словно поставила точку на моей просветительской лекции перед учи тельницами.

- Не надо истерики, мы сами попросили и наш ученик - человек хоть молодой, но откровенный и даже смелый, что очень важно - нам объяснил логический вариант возможности кражи. Мы же все знаем, что он прав, - это сказал наш историк Иннокентий Тимофеевич, человек сложной судьбы, во многом противоречивый. Он уже тогда говорил о необходимых реформах в обществе. Отсидел, вернее, отработал свой «грех» на Беломорканале, был восстановлен в партии, но не исправился, продолжал критиковать всех, кроме Сталина.

- И вы, коммунист Якушев, - Люба ударила в слезы, - поддерживаете таких, они же противопоставили себя комсомолу, а их еще в Москву на экскурсии катают. Вы сами-то молчали бы.

- Гражданка Лысцова, вам не место в школе, - спокойно сказал историк, - вы сеете классовую рознь в школе, возможно, у вас свои задачи, о которых мы не знаем, но о вас лично я буду говорить в районе. Тут из кабинета вышел директор и настала тишина.

- Совещания не будет, можно идти по домам, занят инспектор районо, извините. К себе он пригласил историка. Я пожелал счастья всем и убежал. Немного хотелось плакать, но приступ удушья смыла легкая волна умиления и радости: историк все-таки заступился за меня. У меня еще будет повод рассказать о нем, вы только напомните.

В общежитии о своем уходе я не сказал никому. Из поселка ушел через поля по Каменской дороге, а там уже лесом по телефонной линии вышел на Кировскую тропу в районе Покровского зимовья. Я толком не знал, зачем эта примитивная конспирация, но так требовалось и я так поступил.

Я шел спортивным шагом, иногда сбавляя темп по возможности дыхания и степени боли, которая начала возникать в левом колене. Через три часа я был в нашем бараке. Я так и не привык за семь лет ссылки называть угол барака своим домом, хотя слово «домой» иногда выскакивало, ведь там были мама и братик Вена. На кого же я его оставляю. Воистину, искусство требует жертв.

Отец обрадовался моему приходу, он даже обнял меня, что он старался вообще не делать. Мама утерла слезы и стала греметь посудой, готовить ужин, делая вид, что не интересуется нашим мужским разговором.

- Тут такое заварилось. Сел кассир, старик Викентий, и драгер. Перетаскали на допросы все смены и даже кого-то из приемной комиссии. Начальник прииска ходит чернее тучи. Ко мне на склад приходил следователь, спрашивал, не предлагал ли мне на хранение драгер Федор банку крупного россыпного золота. Я ответил, что не предлагал. Хотя на самом деле сын его, Петька, твой напарник, мне такое предложение делал. Петьку совсем затаскали, он и сейчас, наверное, сидит.

- Отец, ты поступил правильно. Ты здесь ни при чем. Они же раньше, пока дело шло хорошо, тебя не приглашали в пай. А сейчас им важно иметь больше людей, причастных к делу, чтоб было кому отсиживать срока, а кому проскочить свидетелем. Откуда следователи?

- Четверо из Красноярска, есть и районные.

- Говоришь, фигурирует в деле банка с россыпным золотом?

- Да, говорят, что по документам все проходит гладко, но кое у кого на дому нашли подозрительное количество.

- Но ведь на старательские работы все ходят и в каждом доме могут оказаться какие-то крохи, не сданные еще в золотоскупку.

- А вдруг кассир и Петька разговаривают и выйдет ваша туфта с расценками на золото на белый свет.

- Местная переоценка металла не моя выдумка. Это и есть преступление. Мы просто не дали себя ограбить, так разве это вина? Да им сейчас не до этой мелочи.

- То, что сходит с рук большому вору, не прощается мелкому жулику, - грустно пошутил отец, - остается ждать, авось пронесет.

- Не хочу спорить, но думаю, что это дело замнут. Кое-кого снимут с работы, посадят на другое место. Это семейная ссора. Золото, конечно, вернут. Так ты меня только по этому поводу и вызывал?

- А это что, мало? Рано тебе еще по тюрьмам таскаться. И так заклеял неизвестно за что!

- Отец, не надо мелочиться. У нас отняли все - родину, землю (Земля - крестьянам!), дом, гражданство, наконец, могут отнять честь, так как мы вынуждены врать и творить мелкие махинации. Но достоинство у нас не отнять, если сами не позволим.

Отец был тронут моим пылким красноречием, он даже на минуту потерял голос. Потом тихой хрипотцой сказал:

- Я очень доволен. Вырос-таки в доме мужик. Надеялся, что пойдешь учиться на доктора, раньше это была хорошая и выгодная работа. Ладно. Но я не верю в профессию художника. Кроме Репина, все были нищими, и твой хваленый Левитан - тоже. Да-да. Я прочитал твои книги.

Я продолжал посещать школу, но каждую субботу бегал домой. Никаких подробностей из процесса об исчезновении золота узнать не удалось, специально расспрашивать было стыдно. Узнал, что новые буровые пробы показывали очень высокое содержание металла, что могло быть и в выработанных драгой кубометрах породы. Регистрация металла по документам соответствовала сдаче его государству. Можно было сказать, глядя на звезды, что утащено два килограмма или двадцать. Вещественных доказательств не было. Обыски и допросы ничего не давали. Лжесвидетелей не нашлось, хотя их активно искала одна залетная дама. Дело заходило в тупик. Под расписку о невыезде людей отпускали и они продолжали работать и ни на какие вопросы отвечать не хотели. Но ведь была же банка с россыпным золотом.

Как-то неожиданно у нас в классе заговорили о свадьбе. Кого-то убеждали, что самое лучшее время для свадьбы - это весна. Тепло, цветы и прочее. Но почему-то многие думали, что правильнее было бы сыграть свадьбу осенью. Я тоже принял эту сторону.

- Ты рассуждаешь, как колхозник - закончил страду деревенскую весенне-летне-осеннюю, получи за трудодни и танцуй на свадьбе.

Это девочки доказывали мне, и я их вынужден был поддержать - пора любви к каждому приходит по-своему, зачем откладывать на осень то, что сердце просит сделать весной. Выходила замуж девушка из параллельного класса. Значит, так надо. Жениха я знал мало. Он играл за «Динамо» в защите и довольно-таки резко шел на столкновения и со мной и с моим инсайдом, со связным. Тогда нас учили играть по системе дубль-вэ на английский манер, но так как ни у кого не было времени на серьезные тренировки, мы чаще говорили о футболе, чем играли. Николая, то есть жениха, я никогда не видел в милицейской форме, но он работал где-то в этих бараках с голубыми ставнями, мимо которых люди проходили собранно и торопливо. На приглашение Николая ответить отказом я не мог. Согласие вышло уклончивое - ведь не обязательно пить разведенный водой спирт или хмельную брагу, настоящую на махорке для убойности.

- Приходи обязательно, - настаивал Николай.

Совсем неожиданно забежал Петя Матвеев и тоже с каким-то подходом издали толковал, что надо прийти обязательно. Я отмалчивался. Тогда он сказал открытым текстом, что там будет один новичок, возможно, тот самый, а может, и не он - но я должен определить без ошибки - или это милицкий провокатор или посланец красноярских скупщиков краденого золота. И те и другие торопятся, ты обязательно расколешь их на пустяке.

- Отступления нет - игра эта сложная, ее можешь выиграть только ты. Сделаем дело и я тебя больше никогда не буду просить ни о чем. Самое простое, надо определить отношение милиции к его присутствию, терпят ли его без всяких подозрений. Нам страшен провокатор. Тут ошибиться нельзя.

И он сказал адрес, куда к четырем часам в субботу надо явиться. В конце Пролетарской улицы, где на спуске к Банному ключу сгрудились домики самостроек, выделялся один большой, о двух половинах, откуда-то привезенный и перестроенный дом. Там во дворе пиликала плясовые мелодии татарская гармонь и редко вздыхал глубокими аккордами русский баян - был очень весенний праздничный фон из знакомых шумов и над ним взлетали отдельные взвизги припевов - слов частушек я разобрать не мог, они тонули в тонком разливе смеха. Я ожидал каких-то обрядовых подвохов: вот выйдут девочки с тазом и попросят закрыть дно звонким серебром! Но никаких обрядовых церемоний, обязательных когда-то на русских свадьбах, я не увидел. Возможно, я просто опоздал на них посмотреть. Был оживленный сбор людей молодых, в основном знакомых друг другу. Я хотел проскочить в дом, увидеть Петю и других богатырей, чтобы сориентироваться в обстановке, но встретился с глазами невесты и так как она обрадовалась моему взгляду, я пробрался к ней и поздравил с новой судьбой, пожелал оставаться такой же красивой.

- Давно не видела тебя, слышала многое, даже мой Коля о тебе говорил.

Тут у нее вышла небольшая пауза, видно, обдумывала, как быть дальше, что говорить.

- Что болел долго, да, слышала. Значит, школу кончать здесь не будешь? Николай говорил, что думаешь поехать в Омск. Что, вызов уже есть?

- Есть вызов, есть допуск на экзамены, но они только в августе.

- Что надо бы еще. Прошу, не напивайся, - и тут она меня представила жениху. Тот сказал, что мы знакомы, и еще сыграем на первенство района. Сказал мимоходом, с улыбкой, я почему-то задумался над этими словами.

Этот, с виду неказистый, дом внутри оказался почти резиновым - непонятно, как вместились за столы, на подоконники, на стулья и чурки и доски на чурках столько веселых людей - наверное, более ста человек. Даже на низкой русской печке ворочался уже изрядно поддавший дед и молот что-то ему только понятное. Я понял, что ему не наливают то, что он хочет. Он протянул руку за моей кружкой, отпил пару глотков кислого квасу и отвел мою руку с кружкой.

- Ашибо, обобни тебя боб хаоши чеик..

- Здоровья и тебе, дед, ты уж потерпи нас немножко, всем танцевать надо. После первых стопок, на палец налитых кружек, на треть налитых стаканов разведенного спирта или самодельного, розового от брусники, ликера все активно принялись за винегрет - такой знакомый, но всегда какой-то новый, незаменимый на любом празднике.

После разгоряченного выступления секретаря райкома о заслугах каждого из молодоженов, когда уже подняли над столом для чек-тоста все емкости, кто-то робко крикнул: «Горько!». Невеста поставила рюмку на стол, поправила немыслимый по красоте головной убор, как тут же из разных мест начали взлетать тонкие и густые крики «Горько!». Первый, средний по длине поцелуй почему-то не удовлетворил присутствующих, требовали «по-настоящему», требовали повторить. Когда эти требования показались уже достаточно выполненными и неуместными, к потолку выпорхнули частушки, не однажды слышанные, но к этому случаю чуть исправленные. Общий смех со стоном почему-то вызвала давно всем известная частушка:

*Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй.*

*К тебе девочки придут,
Что-то с чем-то оторвут.*

Даже дед на печке простонал:

- Еноай зоогово! Аей, - требовал дед, и жених Коля передал ему неполный стакан разведенного спирта.
- Что поделаешь, душа просит.

Так как для танцев совершенно не было пространства - некуда ногу поставить, а разбушевавшиеся души требовали самоутверждения на деле, то, естественно, выбралась наружу общая песня, где требовалось налить еще бокалы и кого-то убеждали, что мы веселы просто, ей-богу, и симулянт тот, кто с нами не пьет.

Налили и выпили, немного поели горячей картошки с темным тушеным мясом, возможно, молодого лося, но песня уже закипала где-то внутри, просилась наружу и таки вырвалась в том углу, где сидели родители невесты и другие степенные гости. Наверное, каждый знает, как на диком берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой, но эта картина, умноженная на сотню прорезавшихся голосов, гудела с такой силой, что пронизывала нас самих, исполнителей, легким холодком вдоль всей спины. И мы так разошлись, что громогласно объявили всему миру, как беспредельно гром гремел и в дебрях буря бушевала! Это надо было слышать и видеть. Лица людей с горящими искорками в глубине глаз как бы превратились в торжественные и трагические театральные маски, было какое-то чудесное единство в выражении решительности этих лиц со звучанием стройного могучего хора. И я боялся, что следующий порыв этого протяжного выдоха приподымет потолок и крышу и вырвется в глубинное вечернее небо. Дело в том, что я боюсь и обожествляю любую стихию - бурное море, снежную лавину в горах, весеннюю реку, прорвавшую ледяной затор, но мне раньше никогда не было страшно от песни.

Меня мать водила в разные питерские церкви и соборы - я слышал песнопения, которые поднимали мою душу на незримых крыльях под самый купол. А эта - вырвавшаяся из глубин разгулявшихся языческих сердец русско-сибирская оратория - меня сковывала дикой силой, придавливала к земле, бросала в угол, почти не оставляя веры в то, что я тоже частица этого неумного потока. Но на душе все-таки появилась какая-то ясность. С этими ребятами можно работать. И я как-то по-новому увидел эту приисковую, в чем-то наивную, без серьезных запросов, молодежь. На девяносто процентов красивые люди и если в сердце есть место для вызревания хорошей песни, найдется там и место для хороших помыслов и хороших дел. Спасибо, Петя, что настоял на моем появлении здесь. Но.

Я смотрю на Петра, он смотрит на меня. Я смотрю на невесту и Колю. Я им показываю новый наручный будильник, тычу пальцем в циферблат и себе в галстук, показывая на окно. Петя кивает глазами. Я аккуратно выбираюсь из-за стола, пробираюсь к двери, где в передней на диване под кучей одежды отыскиваю свою суконную куртку и выхожу одеваться во двор. Сразу после меня вышел парень неопределенного возраста, как мне показалось, трезвый. Тот или не тот? Наплевать, мне все равно, кто он - или провокатор от милиции, или настоящий курьер от золотых дел воров-мастеров, ищущих мою крышу для связи с кировскими ворами.

- Постой, парень, дело есть, тебе привет от Желтухи. Наказ есть, - парень шагнул поближе ко мне.

- Не свисти, - ответил я резко, - нет наказа и нет Желтухи, пустышку тянешь.
- Мне сказали, что ты художник, привет от Костюнина-богомаза.
- Когда, откуда? Не тяни, выкладывай, где Богомаз?

Незаметно за спиной моего собеседника появился жених и два добрых молодца. Парень резко оглянулся, хотел было отскочить, но овладел собой, узнал. Значит, узнал. - На той неделе виделись в Красноярске.

- Николай, - обратился я к жениху, - товарищу негде заночевать, я не могу взять его в интернат, определите к себе и простите.

Я отсалютовал испанским жестом «Но пасаран!» и ушел в синеву пустынной улицы. Недалеко от интерната я встретил двоих незнакомых мужчин. Мне показалось, что они бегло, но внимательно рассмотрели меня.

В общежитии бодрствовал мой сосед по тумбочке Алешка-Ассорти.

- Где ты болтаешься, тут человек заходил, дважды, записку оставил вот.
- В записке было что-то вроде наказа: отведи А. в Ефимовское зимовье, сочтемся.
- Как он выглядел, этот, который заходил? - спросил я Алексея.
- Кубанку держал в руке, рубашка вельветовая с замком-молния, глаза при свете казались темными, даже черными. А что там, в Ефимовском зимовье?
- Возможно, мать-старушка, а ты чего не спросил?
- Я записку прочитал после ухода.
- Значит, завтра придет, - успокоил я Алексея и начал раздеваться.

Записку я сложил как была и положил в карман у пояса. Наивно работают ребята, как дети. Если у них хаза и эстафета на Ефимовском, зачем они меня наводят туда? Ну и дураки.

Уезжать надо. Учителя предметники пусть вздохнут. А зря они на меня обижались. Даже если мой ответ тянул на пятерку, ставили только тройку, и они были правы. Настоящих знаний у меня по предметам не было. В общем-то мне все давалось легко, но был какой-то протест, бессмысленный и глупый. Конечно, я мог воздержаться от рисунков, которые почти автоматически делал на всех уроках. Предметники иногда пытались меня застать врасплох: зададут вопрос, но я тут же отвечал, а они сердились, но вскоре словно стоворились и оставили меня в покое. Ставили тощую тройку в какой-то отчетной графе - и все в порядке, никаких неприятностей.

Старая учительница литературы Парасковья Николаевна все же решила сказать мне на прощание пару ласковых слов:

- Вы были эгоистически невнимательны к трудам педагогов. Я понимаю, вам скучно, особенно на моих уроках. Да, я не понимаю Маяковского и не люблю поэзию такого пошиба. Вы снисходительно улыбались, когда я пыталась организовать класс на обсуждение романа Горького «Мать». Думаю, что для торжества справедливости вам придется когда-нибудь добывать свой хлеб трудом учителя и Бог пошлет вам в класс двух-трех кретинов и пошляков и еще талантливый эгоиста. Может, тогда поймете, как неуютно было мне - осколку другого мира в вашей счастливой среде. Желаю вам счастья.

Наверное, она видела в моей растерянности и затуманенных глазах то, что хотела увидеть - раскаяние. Пока я искал наиболее убедительный ответ, она отвернулась и ушла. Да, мне было больно и стыдно. Физик Николай Алексеевич не упустил случая сказать:

- Ну, артист, подаешься за своей химерой? Давай. Я думаю, что получится, а жаль, что ты не полюбил точные науки. Да ладно, что теперь.

- Спасибо, однако и вы признаете власть прекрасного. Вы же делаетесь лириком, когда заря начинает проступать сквозь заросли ивняка над озером. А тут еще со свистом садится пара кряковых.

- Ладно, не трави душу.

Я на всякий случай, вдруг летом не увидимся, пытался сказать добрые слова всем, кого знал, кто со мной здоровался за руку эти годы. Хотел даже простить тех, кто доносил обо мне тайно и открыто - наверное, так устроен мир, так и надо. Возможно, идет непонятная мне селекция нового человека, удобного исполнителя единой воли, всегда готового улыбаться, готового повторить подвиг Павлика Морозова - мало ли бредовых теорий в веках проверялось на практике, - даже Бог-Отец позволил распять своего сына на кресте, однако за давностью лет его никто не упрекает за это. А я вот боюсь и не люблю сильных мира сего, унижающих и уничтожающих людей, которые мудрее и талантливее их. Ни о каком прощении речи быть не может. Это плохо. Плохо и то, что готов защитить драгера и его сына Петьку, которых подозревают в краже золота.

Возможно, и не зря подозревают. Золото воровали всегда и, пожалуй, будут воровать, если это будет выгодно и безнаказанно.

Выходит, я сочувствую и готов прикрыть расхитителей государственной собственности?

- -Это почему? - спросил бы следователь.

А я бы сказал, что из чувства мести - за государственные указы против моего народа, моей семьи, за меня лично, ограбленного среди бела дня самодовольными дураками. Следователь снисходительно улыбнется и спросит, а разве вам, как лютеранину, мать не говорила, что нужно научиться прощать и усмирять свое сердце во гневе?

Я бы на это сказал - жаль, что забыл имя, словами проповедника идей Христа -убей прищельца, наступившего на порог твоего дома, чтобы овладеть твоим домом, скотом и женой. Следователь, прижатый к стене этой цитатой, скажет, что здесь древний философ имел в виду войну, а не внутригосударственную раскладку хозяйственных мощностей при определенной социальной обстановке.

Нет, этот спор не имеет конца и не стоит мне переступать с одной чаши весов на другую и обратно. Есть вопросы, конкретные на сегодня и я сейчас не знаю, сдам ли я в милицию связного, того, кто, переночевав на диване в отделении в присутствии дежурного, сегодня будет искать как бы случайной встречи со мной. Есть еще кто-то, предлагающий ему крыше на Ефимовском зимовье. Но кто? А если это не связной, а милицкий провокатор, выясняющий мое отношение, мою причастность к событиям, в которых я не участвовал, о которых не знаю - как с ним быть? Пожалуй, будет правильно поставить ему знак, как предателю и сдать в милицию. Будет польза для всех. А, может, он слежку отводит на меня по наведению Богомаза, а сам по-настоящему играет с богатырями? То-то они вчера не замечали меня на свадьбе. Все так непросто. Кончать надо с этой игрой.

Перед тем, как пойти в столовую, я перевесил «финик» из рукава пальто в куртку. Рукав узковатый, манжеты должны оставаться открытыми - это не похоже на меня, не моя форма, но что поделаешь.

И провокатор вышел на меня в школьной ограде за столяркой, где обычно сокращали свой путь в столовую все жители интерната - это даже лучше, что здесь.

- Еще раз привет от Богомаза. А твои друзья вежливый народ, но документы все же проверили.

- Тише. Пароль! Не понимаешь? Кликуху, быстро!

- Альберт.

- А может, Альфонс?

- Адольф, - выдавил парень из себя и сделался бурым. - Вы же должны довести меня.

- На Ефимовский ходят без меня. Это на восьмом километре по той дороге, видишь, у горы? Привет твоим лягавым, на меня больше не выходи, - и я тряхнул правым рукавом, и на фоне моей ладони показалось серебряное лезвие ножа, - понял, никогда!

Жаль, не успею предупредить на Кировском Петьку - сына драгера, отпущенного следствием из КПЗ. Если красноярские воры сработали правильно, Петька может рвануть с банкой золота на Ефимовский, а там будет засада - при передаче банки провокатору он будет пойман с поличным. Позвонить на Кировский? Не годится. В столовой я отыскал одного из богатырей, Федю Попкова, и попросил немедленно найти Матвеева, и - ко мне. Великан Федька отсалютовал по-пионерски, но сказал «Хайль!». Меня немного насторожила поспешность, с которой он кинулся выполнять мою просьбу - значит, они играют с кем-то, эти богатыри, а я торчу для них в качестве громоотвода, направленного в сторону милиции.

Из столовой я зашел в золотоскупку: попросил продавщицу Тамару позвонить по недоступному никому телефону Николаю-жениху, чтобы пришел ко мне сразу. Я буду в изоляторе интерната, или лучше сюда, в магазин. И Николай пришел, правда, не один.

- При нем можно говорить, - сказал Николай, и мы зашли в складские помещения магазина. Я показал ему анонимную записку, которую он у меня взял и спрятал. Я сказал, что, по-моему, надо бы обложить Ефимовское зимовье. Там, возможно, запланирована передача металла кировскими ворами их красноярским заказчикам - их курьеру. Николай не удивился, даже глазом не моргнул, даже не сказал спасибо. Он хотел что-то спросить, но сказал: «Пока, общий привет!». И они ушли.

На золотую бону я купил мешочек самых дорогих конфет и пошел в интернат. За углом спортзала меня встретил Петя Матвеев. Он был, как обычно, улыбочив и весел, но чуть напряжен, ждал вопроса.

- Петя, - ласково начал я, - если это не туфта и у тебя есть наказ от Богомаза, о котором я не знаю, дуй немедленно на Кировскую дорогу. В районе Калифорнийского прииска, где брод через Удерей и соединяются зимник с новой дорогой, надо встретить товарища. Приметы я скажу немного позже. Он может быть вооружен - или охотничьей двустволкой или обрезами. Он может идти, скорее всего поздно вечером, на Ефимовское зимовье. Скажи, что на Ефимовском может быть засада. Банку с металлом у него возьми, скажи, что знаешь, как надо делать и что делать. Сам он пусть идет домой, а лучше, если уйдет на рыбалку в низовья Удерея, даже если есть подписка не отлучаться, пока красноярцы будут кружить здесь. После этого покажи ему эту бумажку - с одним словом - Адольф. Если спросит, кто послал, скажи, что его поделщик, если не поймет, скажи мое имя, это будет гарантией, что он уйдет и своим «пастухам» не даст сигнала тебе выстрелить в спину. Себя не называй никак. С места попроси его уйти первым. Оденься потеплее, может, придется торчать под елкой всю ночь.

Петр ушел и я видел, по его походке, что у него за спиной вырастают крылья. Неужели они работают все за моей спиной и переиграют свой вариант? Значит, не доверяют мне. Ну и пусть. Мне все это надоело. Конец. Последний ход.

С вечера я немного подремал с книжкой в руках. Никак не мог вникнуть в «О природе вещей» Лукреция Кара, но когда погасили в комнате свет, я попытался лежать с закрытыми глазами, но сон не приходил. Вереницей бежали разные мысли и мне все казалось, что я что-то сделал не так, что-то не додумал.

И у воров и у милиции могли быть свои планы, более умные - ведь это их работа, хлеб. Но все-таки в серой мгле я увидел, как Петька подзывает другого Петьку, очень перепуганного. О чем-то говорят. Один передает другому пару резиновых сапог и уходит прочь, оглядываясь. Но я все же выясняю, что это всего лишь подобие сна, заказанное моим потайным желанием и уверенностью, что так может быть, так я задумал! Я боюсь своих навязчивых дум, но они без моего согласия утверждают, что за моими делами одобрительно смотрит тот самый черный ангел, который приходит к закату, которого начинает бить дрожь, когда золотое созвездие заблестит на черном дне моего промывочного лотка. Из этих тяжелых грез я выхожу на рассвете с легкой головной болью и тяжестью на сердце. Лежу, жду, когда откроется столовая. Сумку с учебниками надо взять с собой, чтобы прямо пойти в школу - может, и Петька придет пораньше, а то я места себе не нахожу. Но Петька появился только на второй урок с опозданием, на меня даже не посмотрел. На большой перемене по пути в туалет, куда устремилась толпа заядлых куряк и мы, Петька небрежно сказал:

- Туфта, никого я не встретил.

- Плохо, - сказал я. - Я выхожу из игры и остальные все садятся. Металл взвешен. Основная игра от милиции. Где он у тебя?

- Здесь, в парте, если там не кирпич в упаковке, а действительно. золото.

- Нам это все равно. Комиссару Седельникову отдаем пакет в таком виде как получили. Надеюсь, ты не ковырялся? Нам надо опередить Комиссаровых ищек, выкупим себе доверие. Нам будут чистые паспорта, уедем, все начнем сначала, не век же здесь жить, оглядываясь.

Петр стоял молча. Уже убежали куряки, любопытных, желающих узнать, почему мы скучные, я отправлял в коридор нежными подзатыльниками.

Потом Петя сжал мой локоть. Это значило, что он согласен. В тот же день, прямо в обед, мы явились в длинный дом с голубыми ставнями, без свидетелей и понятых передали пакет, возможно, с кирпичом, а также с запиской: «Возьмите все. Отпустите Федора, всех.»

- Так-так, - сказал, чуть испугавшись, грозный комиссар дядя Федя и он даже как-то неловко поерзал, налитой, в тесноватой военной форме. - Не взорвется ваш кирпич? Кто передал? Смолокур?

- Возможно, смолокур. Я не знаю его. Это лысый, с похмелья, работал раньше у отца в заготовительном цехе.

Комиссар развязал пакет. Там была не банка, а четыре металлических коробки из-под китайского чая. Комиссар развязал клеенчатый мешочек, вынутый из коробки Его седые брови подскочили к седому бобрику, он круглыми глазами посмотрел на нас, его пальцы, крепко державшие саблю и карабин в гражданскую, слегка дрогнули.

Он задумался. Молча смотрел на нас. Не его ли строгие товарищи и крепкие парни в поисках золотых колец и именных часов за усердную и верную службу обшаривали наши бараки зимой тридцать второго года? - Не открывали? - спросил он нас.

- Нет, - ответили мы дружно, и я добавил от себя, что старик очень просил передать, говорил, судьбы невинных людей решаются, помогите, вот мы и зашли.

- Так-так, - сказал задумчиво дядя Федя.

Всех грозных начальников подавленная боязливая чернь называет ласково. И это устраивает любого, даже самого отъявленного негодяя, не то что старого служаку и отважного чекиста дядю Федю. Так я и сказал ему:

- Дядя Федя, нам должны прийти вызовы на экзамены из Омска и Красноярска. Мы спецы из Кировска. Комендант у нас гражданин Толстиков. Пусть нам даст открепления, хотя бы на экзамены, а то мы боимся, он может зажать наши вызовы.

- Не бойтесь, я позвоню районному, он «накачает» вашего Толстикова. Спасибо, ребята. Если что - ко мне.

Мы ушли. Долго шли молча. Переулками вышли на склон горы Горелой и еле заметной тропой поднялись на плоскую вершину, где был вырублен лес, откуда открывался синий простор невысоких, поросших тайгой горных хребтов Енисейского края Восточно-Сибирского плоскогорья, как написано на карте. У нас эти места называются Удереиской золотой тайгой.

Возможно, Петя думал об отце, возможно, уже убитом. Не будешь же спрашивать мужчину, отчего он плачет. Да и сам я молча прощался с семьей долгими годами изгнания, из которых ни одного дня не хотел бы пережить снова, даже самого счастливого дня - а ведь они были!

А вдруг за парой счастливых дней возвратятся те тысячи однообразных, голодных, унижительных дней. Нет, не надо ничего назад.

Я тоже, как Петя, смотрел вдаль. Я прощался с горами, за которыми убегают вдаль мои золотоносные речки, где мои корьевые шалаши и знакомые деревья с узорчатыми кронами, куда поднимался дым моих костров.

Понемногу отходили в прошлое еще недавно жгучие сомнения, пережитые в эти дни, отступали приступы страха перед неизвестностью. Когда на душе стало все ясно и совсем легко, и горизонт на севере загорелся розовым сиянием далекого полярного дня, мы спустились в поселок, где нехотя, для порядка, лаяли собаки и надрывалось алюминиевое горло радиорепродуктора над открытой танцплощадкой.

Глава XVI - ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ

- *Пожелай мне, мать, удачи!..*
- *В Омск на экзамены.*

- Как мы узнали, что Фришьюф Нансен танцевал кадрили с дочерьми купца Кытманова.
- Перед картинами Сурикова и Чорос-Гуркина.
- Рабочее место Каратанова.
- Дом в Омске, в который хотелось зайти всегда.
- "Я не люблю религию раба!"
- Постигение мудрости народной.
- Первые задания по живописи.
- Наука о "чистом" паспорте.
- "В любом народе есть две расы: умных и дураков".
- Мне снится свист черного дятла...
- Как мир избавить от вражды и злобы.

В доброй сказке, услышанной в детстве, было важное пожелание, а может, совет для размышления: если нашел перо Жар-птицы, обязан и поймать ее, красавицу. Почему-то эта притча запала мне в память и проявилась сверкающим цветным сном, и я проснулся в сладостном замешательстве - птица растаяла под потолком нашего барака прямо у меня на глазах, остался давно не беленный, с потрескавшимися слоями извести кусок потолка и на нем золотистый гаснущий круг на том месте, где исчезло сновидение.

- Бог с тобой, сынок, - мать с тревогой смотрела на меня, - ты что-то страшное увидел, так встрепнулся и даже нехорошо выразился.

- Нет, мама, наоборот, я видел Жар-птицу. Она ушла вот здесь, через потолок.

*Сверкнула пламенем Жар-птица,
Как символ счастья впереди,
Чтобы мгновенно раствориться,
Оставив боль в моей груди.
Мне в путь-дорогу утром рано,
По перламутру белых рос,
На зов мечты за синь-туманом,
Искать волшебное перо.
Так пожелай мне, мать, удачи,
Слезой мой путь благослови.
Душа моя стыдливо плачет
И просит клятвы на крови...*

Нет, это не экспромт того утра. Я эти строки вымучивал на берегу Ангары, на Мотыгинской пристани, где три дня ждал пароход из Богучан на Стрелку.

Мать сказала, что видела коменданта - он шел с ведрами от речки в свою приемную. Сейчас можно застать его на месте, пока не уехал на рыбалку и по другим участкам. Гражданин комендант товарищ Толстиков, вероятно, получил объяснение районного коменданта Барашкина, а, может быть, и многозначительный грозного звонок дяди Феди из НКВД - до того он был вежлив и внимателен. Его карие выпуклые глаза совсем не улыбались, но зато губы приняли форму постоянной улыбки, пусть немножко натянутой, но все же улыбки. Не каждый день такая благодать выпадает, как улыбка коменданта, который по своей должности обязан нести службу злой и надменной сторожевой собаки. - Разрешите, гражданин комендант, простите, может, рано?

- Заходи, что за церемонии, - и комендант по-свойски, доверительно застегнул самую важную пуговицу на брюках и подал мне сильную руку с короткими крестьянскими пальцами.

Я протянул ему вызов из училища и заверенную сельсоветом копию этого вызова.

- Все ясно, будем оформлять справку. Проходи, садись, а то стоишь, как бедный родственник. Мы бы все и без района решили. Да ладно, меня все же интересует, как этот старый хрен так вас с Петькой неожиданно полюбил?..

- Мы с Петром принесли в Центральную милицию находку, которая не должна принадлежать нам, а государству. Так что никаких особых подвигов за нами нет.

Спохватившись, что сказал что-то лишнее, я просил никому об этом не говорить - лишние расспросы.

- Железо! Даю слово, - комендант долго рылся в пачках разных незаполненных бланков в полупустом сейфе, что-то рассматривал, откладывал и кидал обратно в угол сейфа.

- Петру надо бы самому зайти за откреплением. Увидишь, передай ему, его подпись должна быть.

- Наконец он нашел нужный бланк и аккуратно заполнил его:

- Тут форма немного не такая, когда будете в НКВД, скажите, что другой формы нет, они должны сами понять, но вы все же объясните.

- Объясню обязательно! Разрешите идти, гражданин комендант?

- Что уж там! Успехов вам, товарищ Тови. Много слышал о вас. Жаль, как-то все не было времени познакомиться. Если найдется подборка Есенина, пришлите. Как говорится, не пропадет за собакой палка. Ну, всего хорошего.

И снова было легко на душе и радостно на сердце. Дело не только в этой справке, которая завершила семилетний этап моего незаслуженного бесправия и унижительной ссылки, а в том, что я открыл какие-то добрые чувства в незнакомом человеке. Я видел, как сквозь официальный мундир жандарма пробивается наружу добрая человеческая душа.

Казалось бы, пустяк - он сам вызвался позвонить в Мотыгино узнать о рейсе парохода и дозвонился, несмотря на нерабочее состояние телефонной линии. Получалось так, что по расписанию пароход будет в сторону Стрелки и Красноярска завтра, после обеда. Надо подаваться.

Рюкзак мой собран. Надо дожидаться с работы отца. Жаль, что Федора не увижу - он что-то строит на Вениаминовской косе Удерея, придет только в субботу. Пусть поймет - не обязательно прощаться, чтобы снова увидеться. Кто уходит, тому легче. Я сказал родителям, что все идет к лучшему. Приеду на место, обо всем напишу. Вена проводил меня до края леса. Метров через пятьдесят я оглянулся и махнул рукой. Вена стоял маленький, поднял обе руки мне в ответ, сделал пару шагов в мою сторону, закрыл ладошками глаза и остановился.

Я пошагал через горы по тропе, что идет по просеке телефонной линии на Центральный. Утром надо около складов Золотопродснаба поймать попутный грузовик, а там.

*Белый пароход и солнце над рекой,
И радостный гудок за поворотом ближним.
Прошлое прошло - уж не достать рукой,
И первый шаг - навстречу новой жизни!*

Но пароход почему-то опаздывал. Пассажиры с мешками и сундуками не ушли ночевать в деревню, а терпеливо ждали всю ночь - вдруг рано утром он, долгожданный, покажется за дальним мысом. Меня эти долгие часы неопределенности вполне устраивали, как ощущение абсолютной свободы, когда можешь просматривать снова и снова пережитые дни, мечтать о возможных событиях и встречах, которые в жизни не сбываются.

На второй день на пристани появился Алеша Моротин, сосед по бараку, рисующий, тоже подающий надежды. Оказывается, он тоже посылал рисунки, но постеснялся мне сказать об этом, получил вызов в тот же день, как и я, но не сказал мне - не был уверен, что родители отпустят его, старшего из выводка дружной большой семьи. Но его отпустили и открепление он взял на другой день после меня. Только справка у него была другая, на другом бланке, чему я тогда не придавал значения. Дело прошлое - я не очень обрадовался этой встрече. Не потому, что все делалось втихую за моей спиной, а за мной следовал осколок моего вчерашнего барачного мира, с окном на комендатуру, с общим туалетом на два барака. В глубоких снегах я пробивал лыжню всегда впереди, сколько хватало сил. Был всегда рад, когда со мной поднимались на вершину сопки мои младшие товарищи и менее подготовленные ровесники. Я не могу вспомнить, чтобы Алексей принимал в этих походах участие. Не могу вспомнить, чтобы мы вместе мыли золото или играли в одной команде. Значит, обходился без меня. Да, ладно. Каждый хозяин своего характера. Вдвоем все же будет лучше - дорога есть дорога, вокзалы, поезда. Один побежал за кипятком, другой сидит с рюкзаками.

Пришел ангарский пароходик, сменивший свое старое название «Инородец» на гордое имя Пушкина. На пристани Стрелка, где Ангара встречается с Енисеем, мы пересели на пароход «Владимир Маяковский». Здесь нам повезло. Этот пароход чуток опоздал, и мы успели на его палубу, а то сидеть бы нам недельку в Стрелке в ожидании его следующего рейса Красноярск - Енисейск - Красноярск. Переночевали мы, как и многие пассажиры, в узком коридоре на мешках, рядом с грохочущей машиной. Даже летом ночами на палубе бывает холодно. Там остались только лежащие пьяные под палубными скамейками и тепло одетые влюбленные. Утром, в поисках места, чтобы присесть, мы заглянули на всякий случай в третий класс, где встретились с двумя парнями и молодой женщиной, которые признали в нас художников.

- Вы тоже в Омск? На экзамены? - обрадованно спрашивал красивый юнец, с которого можно было писать портрет комсомольского поэта Александра Безыменского до того красив был его открытый лоб, а кудрявая шевелюра, готовая улететь, казалось, должна была приподнять своего владельца. Широкие цыганские бархатные штаны, украшенный металлическим орнаментом пояс, кремовая шелковая рубашка покроя апах - все это было сногшибательно. Второй парень был вроде нас с Алешкой, но старше лет на десять. Его провожала красавица жена до Омска. Ребята нас приняли очень ласково - угостили пирогами с яйцом и рисом, рассказывали истории об их древнем городе Енисейске, где на каждом доме надо бы поставить

памятную доску. В Енисейске формировались многие экспедиции на Север, на восток и на юг. Красноярский острог был построен енисейскими казаками в 1628 году. Когда основные рассказы стали иссякать, енисейские парни попросили нас показать домашние работы - этюды, которые мы везем в училище. У меня под крышкой этюдника было несколько картинок. И так как Алексей сильно застенялся и сделался серым, я открыл этюдник и поставил в ряд несколько живописных опытов, написанных масляными красками. И тут я сделал для себя тяжелое открытие - мои этюды были написаны по ранее известным сюжетам, хотя они и были сотворены с натуры. А главное, они не передавали характера мест, где были написаны - наших гор, быстрых рек, таежных заимок. Мой этюд с заросшим лесным озером парням понравился и они сказали:

- Здорово! Ты смотри, как придавил и размазал мастихином отраженье! Техника - великое дело.

Я действительно тогда боялся ставить перед собой сложные задачи. Я не мог заставить себя выйти на единоборство с высокой зеленой горой, поросшей разнолесьем не менее ста оттенков. В работе с натуры над заросшим озером я все-таки опирался на виденные работы и репродукции с картин Поленова и Серова. Я не слушал, что говорили товарищи, мне было жаль своих робких картинок, вроде я их, друзей своих неокрепших, бросил в уличную драку, не зная, чем вооружены ребята с заречной улицы. Я стал убирать работы.

- Постойте, дайте посмотреть как следует, - просила молодая жена Степана. - Вы давно пишете маслом? А на экзамене обязательно писать акварелью?

- Так сказано в условиях по экзаменам, скоро увидим, - и я стал снова убирать этюды.

- Степушка, - сказала молодая красавица, - если все так пишут, то нам с тобой ничего не светит.

- Напрасно вы так. Еще есть время подготовиться к экзаменам, напишем поста новку, потренируемся в рисунке. Давайте посмотрим ваши работы. Парни отмалчивались и это мне не понравилось. У нас так не играют. Разговаривать стало не о чем, и тут Алексей очень своевременно пригласил меня на палубу. Я положил на крышку чемодана, заменявшего нам стол в проходе между нарами, трех рублевую купюру, что по нашим неписаным таежным правилам означало - ставлю поллитра, ваш ход! Но ребята меня не поняли, растерялись, насупились.

- Возьмите деньги, уберите, - просил волосатик, - поллитра у нас есть, мы вам нальем, но работы у нас далеко упакованы.

- Пойдем, - сказал Алексей.

С трешкой вышла неловкость, не надо было вытаскивать ее вообще. Мы поднялись на палубу. Дул свежий встречный ветер. Над горизонтом расцветали облака. Надвигалась гроза.

- Что ты мучаешься? - одернул меня Алексей. - Пусть они мучаются, пижоны, посмотрим, что будет на экзаменах. Нет у них работ, а если есть, так слабые. А штаны-то бархатные, как у наших старателей.

- Видно, мода такая, - успокаивал я Алексея.

- Какая мода? - кипятился Алексей. - Репин говорил, что длинные волосы - это вывеска бездарности.

- Подожди, Алексей, вот если сдадим экзамены, то к зиме отпустим космы, как настоящие художники.

Лишь бы не завшиветь на студенческих харчах.

За нами поднялись на палубу енисейцы и потащили нас в свой третий класс.

- Нельзя же так! - упрекал нас кудрявый парень и его поддерживала красивая жена Степана. - Пойдемте, все на столе, пойдемте - нам же вместе жить, Бог даст, и работать.

- Идите, - сказал Алексей, - я приду.

И пока мы размещались в узком проходе, изливаясь во взаимной вежливости, Алексей притащил большой кусок свежеекопченного осетра, очень похожий на половинку соснового полена.

- Это что, у вас на Ангаре? - спросил Степан.

- Это у нас на Удерее, а на Ангаре еще больше попадают.

У ребят действительно оказалась водка и мы вскоре узнали, что в Енисейске четырнадцать церквей и монастырский комплекс, а в одной из келий жил известный декабрист. А Фритьоф Нансен танцевал кадрили с дочерьми купца Кытманова.

На это мы ответили, что у нас на Ангаре в селе Рыбном над речными просторами, над островами на высоченной скале, достигая крестом неба, стоит белокаменная церковь. Эту церковь построил, дай Бог памяти, французский военнопленный архитектор Сирано де Бержерак. И когда Чехов ехал на Сахалин со своим другом московским художником Левитаном, так тот Исаак Иосифович с этого места написал «Над вечным покоем». Ну говорят так, хотите - верьте, хотите - нет.

За три дня и ночи, пока старая колесная калоша молотила енисейские волны против сильного течения до Красноярска, мы узнали так много о городе Енисейске, что в течение года придется заглядывать в справочники - искать подтверждения или опровержения многим интересным фактам. Неожиданно сильную обиду мы нанесли енисейцам, сказав, что Енисейск никогда не был столицей енисейской губернии - столицей всегда был Красноярск.

Наш спор мог быть решен только в Красноярском краеведческом музее, куда мы первым делом и направились прямо с парохода. Музей совсем рядом с пристанью, на набережной Енисея. Мы сразу отыскивали зал, где висят одни только картины, и среди них картина Сурикова «Милосердный самаритянин». Я тогда не понимал, что меня тянет к этой картине. Тогда я не знал выдуманную нашими теоретиками формулировку - единство формы и содержания. В этой картине Сурикова, может быть, самой гуманной в его творчестве, средствами искусства выражено торжество постулата - человек человеку брат. Горькая истина, что путник в пустыне не даст капли воды - закон пустыни. Но милосердный самаритянин все же поделился со страждущим, брошенным умирать своим спутником, последней каплей живительной влаги. Выкрик - помощи ближнему, овладевает внимательным зрителем благодаря сильным средствам живописи и ее составными с такой удивительной силой, что по этой картине можно изучить эпоху и место на земле, где происходило действие, ставшее притчей. Я мог стоять и думать об уходящем в марево пустыни человеке, оставившем своего товарища умирать на знойном песке. Я невольно ставил себя в разные роли, переживал как мог за этих героев, но никак не мог представить свои действия, если бы оказался в этой чисто библейской ситуации. Было еще несколько картин в красноярской коллекции, которые вытягивали из меня душу. Так, картина алтайского художника Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» виделась мне недоступным праздником, куда я приглашен, но мне не дотянуться до этих изумрудных льдин на прозрачном горном озере, где в глубине утонули отражения гор с летящими туманами.

- Ребята, смотрите, в другой раз может не быть такого освещения, - советовал я своим друзьям, но они бегали, как угорелые, по всем залам, находили что-то поразительное и звали меня туда посмотреть настоящего шамана или каменные изваяния головы лошади из хакасских степей.

Была еще одна картина, ставшая мне на долгое время упреком: почему я так не написал нашу речку Удерей, такую же горную, украшенную елово-пихтовой тайгой, уходящую в синюю даль, которая уносила мои томительные мечты и воспоминания о милой Родине. В трудные годы Удерей дарил мне вкусных налимов и золотые россыпи. Правда, я так не умею писать, как написана картина «Река Мана», как на ней написана тайга. Нам сказали в музее, что автор картины художник Каратанов добрый человек, у него здесь, в музее, рабочее место. Очень хотелось посмотреть на настоящего художника на его рабочем месте, но с чем мы пойдем? Единственный предлог - показать работы - отпадал сам собой.

В музее мы узнали, что во дворе дома художника Сурикова во флигеле обитает художественная школа, основанная при его участии еще в начале века - вот куда нам надо сходить.

Но там никого не было - только на окнах гипсовые маски и отдельные детали - нос, ухо, глаз. В доме Сурикова жили уже не его родственники, а просто горожане. От них мы узнали, что они здесь, в историческом доме, ничего не переделывали, все комнаты целы, но мебель, возможно, уже другая.

С железнодорожного вокзала пришел наш гонец и сказал, что народу там - пушкой не разогнать, требуют дополнительных поездов. Утром обещают до Челябинска так называемый «пятьсот веселый» - поезд-чистильщик, составленный из вагонов-теплушек, можно доехать куда угодно за небольшую плату, а то и бесплатно.

- Парни, надо купить ведро для воды и найти этот поезд.

С вечера мы перебрались на вокзал, но этого веселого поезда не было, видно, его подадут утром только перед посадкой. С ночного вокзала нас выгнали уборщицы и вреднейший старик в форме железнодорожника. Дождя не было, но под утро было свежо.

К подаче «пятьсот веселого» мы ухитрились даже умыться и слегка позавтракать. Без особой драки мы забрались в вагон без нар, но там была большая куча соломы. К нам присоединился парень, его провожающие сестры и племянники накидали в вагон столько узлов и сумочек, что парень сразу заказал нашу помощь - посадить его в Омске по-человечески. Так этот Леня, житель омской слободы «Волчий хвост», стал нашим первым знакомым в городе, где нам предстояло так много - жить, учиться, утверждать свое место под солнцем.

Трехдневная жизнь на соломе на трясушемся полу дала нам добрый опыт. Когда мы приехали в Омск и нашли училище, нас направили в общежитие, где шел ремонт. Завхоз указал нам на сарай, под крышей которого был сеновал.

- Только не курите. Вещи свои прячьте под сено, если будете куда-то уходить. Работать будете на ремонте подвала - крошить кирпич и смешивать его с цементом, это на улице, а укладывать эту массу будете в подвале, как мастер покажет. Расчет каждый вечер. Лафа!

Мне эта простота не понравилась. Ни радио, ни лампочки Ильича - одна дорога в городской сад на танцплощадку. Был в этом дворе еще охраняемый склад военно-медицинского оборудования, там постоянно в будке горел свет, табунились и пили какие-то приходящие ханыги, но к нам они не заглядывали на сеновал, ничего не воровали.

Приходили ночевать на этот сеновал те, кто имел какое-то отношение к училищу, в основном те, кто не прошел по конкурсу в прошлом году. Они нас предупредили, что может появиться некто Леня и утащить у новичков все. Смелый и наглый. Лазает по всем общежитиям, вроде как приехал сдавать экзамены.

Когда не было работы по бетонированию подвала, мы уходили на длительные экскурсии - все надо было посмотреть, прежде всего художественный музей, в то время самую крупную коллекцию русского и западного искусства в Сибири. Неожиданной была встреча с картиной Дубовского «Родина». По каталогам и альбомам, изданным до революции, эта картина числилась за Русским музеем. Из пояснения экскурсовода стало понятно, что в начале двадцатых годов прошло перераспределение предметов искусства в пользу провинциальных музеев. Омское собрание развернуто для показа в бывшем доме губернатора, но впечатление такое, что здание было задумано как экспозиционный объем. Я так и не узнал, была ли у губернатора своя коллекция. Так как для меня вход в этот храм был бесплатным, я туда заходил часто, хотя и не нашел для себя предмета настоящей привязанности и восхищения. Портреты работы Зарянко и Неффа, несмотря на их феноменальное техническое мастерство, как-то не трогали меня, я чаще останавливался у портрета Леонида Андреева, написанного Репиным, как мне казалось, на одном дыхании в один четырехчасовой сеанс, без всяких предвзятостей - кому-то угодить. Написал как выдохнул!

Гордость музея и русского отдела - это пастельные работы Левитана. Есть одно из лучших морей Айвазовского и еще многое, что открывалось не сразу. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но то, что удивляло меня тогда и радовало как открытие, мне нравится и сейчас, словно я не вырос в понимании искусства за долгие годы труда. В свое оправдание могу выдать чуть перефразированный афоризм, что настоящему искусству все возрасты покорны, а далее уже как в опере. Так в Омске для меня нашелся дом, куда хотелось зайти всегда и каждый раз найти что-то новое, достойное долгого рассматривания.

Очень быстро приближалось время экзаменов. Наш сеновал с трудом давал приют всем молодым талантам, приехавшим из разных городов Сибири. Состав нашей группы изменился. Уехала жена Степана, погостив у тещи в Омске с недельку, а потом за ней подался и Степан, оценив и взвесив все по-взрослому, хладнокровно. Тот енисейский парень, чересчур кудрявый, просил называть его Ильей. Мне нравилось в нем многое - и смелость, и находчивость, и остроумная изворотливость в спорах, которые всегда встречаются в среде художников - такие они! время теряют в спорах, не догадываясь, что истина рождается в труде.

Оказалось, что у Ильи есть брат и живет он в общежитии медицинского института за Казачьим кладбищем, на линиях. Туда мы иногда заглядывали в гости. И вот, засидевшись однажды допоздна, мы пришли на свой сеновал уже ночью, закрыв за собой на засов калитку, что рядом с закрытыми воротами. Оказалось, что на сеновал набилось новичков чуть ли не под самую крышу, на моей куртке кто-то спал, на ощупь - крупный недоросль, пропахший карболкой и плохими папиросами. Кто-то меня потащил к себе, через чьи-то ноги, и почти невнятным шепотом сказал: это Ворюга-Ленька. Глаза уже привыкли к полутьме сеновала и я заметил, что спящий на моей куртке парень левым локтем прижимает внутренний карман. На мои просьбы подвинуться он не реагировал. Вывернуть эту руку за спину ничего не стоит, но как будет действовать мой напарник, я не знаю, а мои кивки и ужимки он не понимает. Пытаюсь показать на пальцах и жестами - вроде понял.

Только я схватил запястье его левой руки, как парень из спящего превратился в пружину, уловившую момент, чтобы раскрутиться, но мой напарник тут же прижал его ноги и начал их выкручивать в сторону открытого люка, из которого мы успели убрать короткую лестницу. Незнакомец орудовал головой, но я все же сумел парализовать его правую руку и придавить коленом его локоть в отрыв от бока.

- Отпусти, сука. - вполне сформировавшимся басом требовал парень и мне не понравился его тон, и я сильнее вывернул его левую руку за спину.

- Отпусти, гад! Убью! - уже хрипел возможный ворюга. Сейчас проверим, что он придерживал в кармане локтем.

- Не надо хамить, - ласково просил я, - сначала надо извиниться, а потом предста виться, как делают культурные люди, а ты культуру и не хавал, а уже плевательницу раскрыл!

- Не трогай карман, сука! - хрипел наш пленник, но я вытащил вместе с трещащим карманом все содержимое и крикнул Илье:

- Выкручивай! - и тут же поддал коленом, как в пустую бочку, в надутый бок незнакомца и он как-то легко исчез в люке, за что-то хватаясь, матерясь на лету.

- Стреляй его! - крикнул я, но это было, так сказать, для понту.

- Зарежу-у-у-у! - скачками выговаривая «у», перемахнул через ворота наш гость и по звукам дощатого тротуара можно было понять, что он уходит в сторону цирка и трамвайной остановки.

- Что вы наделали! - раздался чей-то перепуганный голос из-под крыши. Кто-то поддержал эту надрывную жалобу:

- Он же со своими урками поодиночке всех нас переколет. Кто-то уже более спокойно советовал:

- Вам лучше уехать в свой Енисейск.

- Бросьте хныкать, никого он не тронет, просто парашу тянет, никто за него свою душу не подставит, - успокаивал я ребят.

- Оказалось, что никто не спал, все слышали, как мы закрыли калитку, а когда мы поднимались на сеновал, все прикинулись спящими в ожидании - что будет? Где-то под крышей сверкнул свет фонаря.

- Дай-ка сюда, не бойся - отдам.

Пока мне передавали фонарь, я нащупал свой рюкзак в изголовье, но решил содержимое не проверять, но из бокового кармана из коробки с кистями вытащил нож. Он имел вид мастихина, необходимой принадлежности художника, но этот инструмент сохранил все грозные свойства «финика». Закрывшись спиной напарника, я решил посмотреть свои трофеи, на короткий срок высвечивая каждую бумажку. Были два паспорта молодых мужчин из города Кургана, студенческий билет на имя девушки из Омского ветеринарного института, справка Шабалинского поссовета Алтайского края, где значилось, что гражданка Анна Киселева все поставки и налоги выполнила, и были еще два чистых бланка студенческих билетов Омского художественного училища.

- Что ты нашел? - дрожащим голосом спросил Аркашка, бывший студент Омского художественного училища, пару лет отсутствовавший где-то и теперь обитающий под звездной крышей этого сеновала в надежде на лучшее будущее.

- Проверяю, не оставил ли вшей ваш знакомый на моей куртке. Вы что же не предупредили его, вы же знали его раньше?

Аркашка на четвереньках подполз ко мне и я его буквально ткнул мордой в ворованные документы.

- Понял, Аркадий Блинович? - отрывисто, лающим голосом печатал я его.

- Кочумай! - с блатным причмокиванием засвистел Аркашка: кое-чему научился за два года тюряги.

- Подумай до утра, Аркадий - или подорвешь за ним или со мной похилиаешь в ментовку и засветишь всю эту кодлу. Утром. Не забудь.

Аркадий молча заполз в свой угол.

- Вы его-то не блатуйте, - посоветовал кто-то из темноты, - человек только освободился, а вы его снова в милицию.

- Вы пойдете вместо него?

- В милицию пойду. От этого гада надо избавиться, в прошлом году всех обчистил, опять явился как домой. Вы не очень-то, он на самом деле опасный. Мы боялись, что он подколет вас.

- Ну и тряситесь. За меня не надо!

Все молчали. Я лежал с открытыми глазами, перебирая в памяти все детали неожиданных случайностей сегодня, невольно залетал на метле воспоминаний в прошлое, пытался заглянуть в завтра, куда я никак не хочу занести, как заразу, темные пятна прошлого. Но получается, что не откреститься ни от себя, ни от прожитых дней. Мое прошлое со мной и нельзя изменить то, что уже случилось.

Допустим, сегодня я виноват - выкинул человека. Так что же? Надо было уступить хаму, а завтра ему долго доказывать, что он поступает нехорошо - надо вернуть украденные документы пострадавшим людям, а потом смиренно ждать, когда кто-то неизвестный на трамвайной остановке всадит мне в толпе заточку в спину?

Нет, так не будет. Аркашка из трусости и боязни предаст его, покажет мне этого типа с расстояния где-нибудь в пивнушке сада «Строитель» или в «Аквариуме», где частенько кучкуются все эти мелкие флибустьеры. Покажет мне его и уйдет делать себе надежное долгоиграющее алиби.

Как там сказано в апостольском толковании заповеди Христа, - если я задумал отмщение, значит я его уже на пятьдесят процентов совершил. Значит, если я только подумал, как избавить моих добрых талантливых овечек от этого рыскающего по общежитиям волка, так я уже почти преступник?

Нет, братцы. Как сказал Есенин: я не люблю религию раба, покорного от века и до века!.. Только сам, только один, не хочу иметь в свидетелях моих рискованных помыслов даже моих добрых ангелов - ни черного, ни белого.

Я пытался перевести мои думы в залы художественного музея, к работам Крыжицкого и Берггольца - очень интересных, но все же мало известных художников. Я даже мысленно прошел по картинному ряду этого зала - и перешел в другой - к картине, почти миниатюре, художника Пимоненко, где все в серебре дождя - и улица, и одинокая женщина с черным зонтиком. Черный цвет, словно камертон, дает степень звучания и сверкания всем остальным цветам этой картины. Так мало всего, а выходит, цвета картины как бы решают все - и драматизм сюжета и чувства зрителя.

Интересно, как относятся к этой картине настоящие художники? А что скажет завтра дежурный по отделению милиции, когда я выложу на стол украденные этим мусором документы? Данные о нем у Аркадия, но он может струсить, возможно, он обработан этими шакалами в лагере.

Но и повезло мне сегодня, что не было Алексея - он гостит где-то на Волчьем хвосте, у того вагонного знакомого, тоже Лени. Он по доброте своей и честности мог бы написать домой, как мы тут кувыркаемся. Стоило ехать сюда в Омск с переполненной душой добрых надежд и планов, чтобы снова оказаться в тех же

кругах, от которых бегу уже четвертую неделю. Так стало жалко себя, что чуть не сломал стиснутый до скрежета зуб.

В семь часов, после радиосигнала с соседнего склада, я пригласил Аркадия:

- Пойдем за хлебом!

Такая конспирация его устраивала. Пока мы шли до дежурного магазина, где уже выстроилась большая толпа хмурых людей, Аркадий мне сказал все данные об этом сером волке. В милицию идти он не захотел. И не надо. Серый волк меня в лицо не знает, если Аркашка не покажет меня. Не покажет, побоится, не будет он его искать.

Дежурный райотдела был пунктуален: вначале допросил меня, какой у меня имеется иск, в какой мере я пострадавший, по каким делам я в Омске. У меня оказалась с собою копия вызова на экзамены - это хорошо. Но остальные документы, особенно справка комендатуры, у него вызвали какой-то нездоровый интерес. Он долго думал, потом достал бумагу и предложил мне все это изложить в форме заявления.

- Иначе мы не можем открыть дело.

Я выложил ему на стол выдернутые из кармана у «товарища» К. (он же - серый волк, ворюга и т.д.) чужие документы, украденные им, может быть, вчера и позавчера, положил и записку с данными о нем и даже фамилией, со слов Аркадия, указал места, где они, эти подонки, могут кучковаться. Я долго объяснял дежурному, почему я не знаю в лицо этого вора, но, видно, он не поверил мне - все выглядело нелепо и страшно, как в самой жизни.

- Вот вам вещественные доказательства, готовый преступник, теплый, берите, если хотите. Мне отдайте справку, мне идти в ваше управление, а пока надо на экзамены, простите за беспокойство. Очень жалею, что пришел к вам. Мог бы эти ксивы забросить в ваш почтовый ящик и не выслушивать ваших сомнений.

Дежурный вышел из-за стола, отдал мне справку, пытался улыбнуться:

- Спасибо. Извините, - и после некоторой паузы, когда я уже развернулся через левое плечо, чтобы выйти, спросил: - А где вас найти, если.

- В училище и в общежитии, там, где во дворе склад военно-медицинской техники.

Я высказался так, будто знал, что меня примут в училище. Не подумал. Напрасная уверенность. Мудрость народная учит нас: от сумы и тюрьмы не зарекайся! Не говори гоп, пока не перепрыгнул! А что в мою пользу? Назвался груздем - полезай в кузовок. Где же меня еще искать? А вдруг меня по этой справке не пропишут в Омске. Город областной, режимный. Что говорит народная мудрость? Закон - что дышло, куда повернул, туда и вышло! Боже мой, все так просто - повернул, и все!

По пути в общежитие я без очереди купил булку хлеба. И чего это народ толпится утром? Разве не бывает хлеба в магазине каждый день? А, может, гонит людей в очередь за хлебом какая-то тревога, предчувствие беды. Радио рассказывает о фактах в мире тенденциозно. Даже областная «Омская правда» о многом не пишет.

Наконец-то высохли полы в комнатах общежития и завхоз нашел нам новую работу. Доставать из сарая разобранные кровати, мыть их и таскать по этажам и комнатам. Ну, и тумбочки, и столы, и табуретки. Постельное белье раздавали по спискам и под расписку при предъявлении документа. Завхоз долго рассматривал мою справку от комендатуры и, вздохнув, вернул мне...

- Что вам не нравится в моей справке? - спросил я.

- Меня удивляет, как вы успели отмотать восемь лет бессрочной ссылки? Вам же нет еще восемнадцати?

Я засмеялся, неожиданно даже для себя, и представил, какие физиономии будут у чиновников паспортного отдела, когда увидят они этот шедевр. Завхоз оказался бывшим адвокатом, он мне объяснил все, как ребенку:

- Допустим, вы совершили преступление против Советской власти, сболтнули сгоряча что-то. Вам дали срок - три года лагерей, после этого вам дадут три года ссылки, например, в вашу тайгу. И вот вы выходите из ссылки на материк - вот с такой формой справки. Но, по вашей справке, вы отбыли восемь лет ссылки, значит, вы до этого должны были отсидеть в тюрьме и лагерях восемь лет. А восемь лет дают за политический террор, за шпионаж в пользу иностранного государства. Выходит, что вы осуждены были, когда вам было два года.

Что же я скажу чиновникам из паспортного отдела, если спросят, за что был осужден на 8 лет лагерей и восемь лет ссылки? Надо что-то придумать смешное.

На тридцать пять мест на первый курс к экзаменам были допущены сто двадцать юных дарований - дипломантов конкурсов, выпускников студий при Домах пионеров, выпускников курсов при дворцах культуры районов, были школьники-самоучки вроде меня, захваленные своими учителями - самоуверенных, уже не поддающихся никакой дрессировке. Был даже один колхозник из Курганской области.

Задание по живописи акварелью было чрезвычайно сложным - были поставлены на грязно-желтый вылинявший фон две пестрые утки на столе на белой скатерти. Если освещенную белую бумагу и белую скатерть принять за ноль, а черное за сто, то вся тональность этого натюрморта не превышает сорока

процентов - задача серая, почти что вялая. Для меня неинтересная. На листах бумаги, которую выдавали для экзаменов, был штамп училища. Это обстоятельство очень меня сковывало - испортишь лист и вылетай, новый лист не дадут. Листы были двух размеров - четверть и половина стандартного листа - по величине с развернутую газету. Я выбрал меньший стандарт, незачем рисовать уток в размер гусей. Большинство виденных мною портретов чуть меньше натуры. Я имел в виду искусство станковое, куда я примерял себя на дальнейшее светлое будущее.

Омские ребята принялись рисовать на половинных листах, но компоновали они как-то небрежно - не экономили ни красок, ни воды. Парни из Новосибирска начинали работать красками по довольно хорошо проработанному карандашом рисунку - их утки были величиной с индейку, но акварелью они владели виртуозно.

Признаться, я немного растерялся. Я привык заменять листы, когда не справлялся с сопротивлением материала, т.е. красок. Акварель - материал нежный и коварный, любит людей преданных и постоянных.

Мне стало казаться, что уток я нарисовал мелкими по отношению к четверти листа, но переделывать этот лист со штампом я не рискнул.

Разрешалось смотреть на работы товарищей, но не мешать, не вмешиваться в процесс. За моим плечом несколько раз останавливался круглолицый курносый омский мальчик, совсем еще семиклассник. Покраснев до ушей, он спросил:

- Почему ограничиваете себя в размере?

- Я пока раб натуры. Думаю, если по заданию утки - значит, надо делать уток. Наверное, по заданию экзаменов надо написать и перья, и глаза, - тихонько оправдывался я.

- Посмотрите мою работу, - чуть ли не в ухо прошептал розовый, как ранет, паренек, и мы пробрались к его мольберту на другой стороне зала. Там на столе были другие птицы - рыжая чепура и сизый сокол. А на листе у моего знакомого обе птицы были красные с зелеными тенями. Была в этой работе какая-то мальчишеская дурашливость.

- Такой лист можно и без натуры заляпать. Это революционные кони бывают красные, как бы точнее объяснить, - почти шепотом говорил я. - Предметный мир для художника должен быть всегда точкой опоры, даже если в творческих работах будет у него необходимость или желание витийствовать в сфере непонятного или просто подурочить глупого зрителя.

На наше собеседование отреагировал кто-то сзади:

- Он же дальтоник, а вы чего-то там ищите, чего-то гадаете.

Мы тихо разошлись. Мой лист показался мне каким-то запуганно серым, средненьким. Время еще есть. Этот заштампованный лист я замывать и затирать не буду. Напишу еще один, выставлю рядом, если получится живее, динамичнее. Все же цвет у меня занижен.

Часы, отпущенные на задания по живописи и рисунку, мне показались чересчур затянутыми. Многие занимались механическим затушевыванием теней вместо внимательной обработки формы.

Самым утомительным был день, когда работала приемная комиссия. Кроме педагогов в нее были приглашены профессиональные художники Омска.

Мы толкались в коридорах, слонялись во дворе. И вот прошел слух, что вывешены списки сдавших экзамены. Я не кинулся, сломя голову, к канцелярии, где на стене коридора висел приговор нам всем. Пришел самым последним. Был еще и второй список, как бы объясняющий, из чего складывается проходной балл. Там были оценки комиссии. Многие сдавали экзамены и по общеобразовательным предметам - и выходило так, что ученик, получивший четверки по специальным предметам, не был принят, так как по диктанту и решению задач по математике были двойки.

Получалось так, что многие хорошо подготовленные ребята из больших городов проигрывали конкурс из-за троек и двоек по предметам, которые в жизни ничего не решают. И нам всем это казалось несправедливой рутиной.

У меня была тройка по живописной утке, четверки по карандашным птицам и пятерки по композиции - эскиз на свободную тему. Я не помню, какой был сюжет, но композиция комиссии понравилась. Это меня устраивало, но не радовало. Я так и не понял, почему работы по живописи многих омских ребят имели пятерки, хотя в них, кроме красивых потеков и заливок акварельного материала ничего путного не было, прежде всего формы. Хорошо, что я тогда понял, что в оценках искусства нет абсолютной правды, тем более когда эта правда устанавливается большинством голосов комиссии, которая, в свою очередь, состоит из разновидностей крыловских персонажей. Повторяю, хорошо, что понял тогда, это помогло мне избежать многих тайных и явных переживаний, когда мои картины отклонялись комиссиями ответственных выставок, особенно тех, что отправлялись за «железный занавес». Там прежде всего требовались безупречные авторы, а потом уж картины, которые могли иметь успех ТАМ.

А пока надо пробиваться через толпу плачущих девочек и заскужавших мальчиков, попросить секретаря напечатать справку в двух экземплярах о том, что я принят в училище. Одну я отошлю на место ссылки родителей в комендатуру, другую предъявлю в соответствующие органы НКВД Омской области. Там в начале улицы Красный путь есть большое серо-коричневое здание, которое своим строгим видом навеивает скуку -туда мне предстоит визит.

Моим попутчиком оказался парень с такой же справкой, но ссылка его семьи была где-то в низовьях Оби. Мне не хочется называть его имя, пусть люди судят о нем по его картинам. Принято считать, что искусство и предательство несовместимы. Но мой напарник тогда заявил, что у него нет отца, он его не знает. А был отец, и был он расстрелян. И сынок знал, что отец не враг народа, но так хотелось сделать «чистую» карьеру! И впоследствии сделал, шагая через живых, менее умеющих вертеться товарищей по учебе и службе.

Мы с ним вместе постучали в толстую крышку квадратной дыры в стене коридора с соответствующей табличкой. Крышка открылась, и там в конце дыры показалось лицо и кусок фуражки с красным околышем. Мы туда просунули свои справки, где было сказано, что мы отпущены на экзамены в Омск, и еще справки о том, что мы сдали экзамены и приняты в Омское художественное училище. Наши бумажки были приняты и окошко захлопнулось. Мой попутчик не улыбался, а меня эта ситуация развеселила - вот возьмет чиновник документы, а забудет нам сказать, чтобы мы приходили завтра. Но нам не пришлось долго стоять, из стены вышел человек с нашими справками в руке, запер дверь на ключ и сказал в пустоту коридора:

- Следуйте за мной.

Слева двери, справа окна - решетки, железные двери, кнопки. Человек в голубой фуражке с красным околышем нажал на кнопку, дверь открылась, человек со справками вошел, дверь закрылась. Нам не хотелось ни думать, ни гадать, ни улыбаться. Мы стояли молча. Долго.

Но вот дверь открылась и мы оказались в большой комнате, где стоял навтыжку дежурный. Была еще приоткрытая дверь в кабинет, откуда вылетела четкая команда -входить по одному.

Я шагнул в кабинет и аккуратно закрыл за собой дверь, поприветствовал присутствующих и сказал, как учили на уроках военного дела, что такой-то сякой явился доложить вам, что приехал в Омск для продолжения учебы. Прошу разрешения на проживание в городе Омске и соответствующее оформление документов.

- Шустрый малый, - сказал седой военный, и только тогда я разглядел, что их было четверо, и все уже немолодые, и они прервали чаепитие, чтобы посмотреть в упор на меня.

- Как же это получается: по справке вы более семи лет пребывали в административной ссылке после отбывания наказания по политической статье? Статья-то уголовная, но ее давали в массовом порядке за антиколхозную пропаганду, - это он пояснял своим гостям, возможно, не очень знакомым с советской правовой практикой.

- Я не сидел, гражданин начальник, ссылку отбывал - да. Хотите, поясню?

- Любопытно! Ну-ка!

- Наша ссылка бессрочная, на всю жизнь. Значит, и нет закона и формы справки о ее пресечении. Но если бы ссылка, скажем, была бы на пять лет, то и в этом случае нет формы справки для детей. Но есть какой-то указ, по которому мы, спецпереселенцы, имеем право выехать на учебу с мест ссылки. Об этом знает даже наш участковый комендант гражданин Толстиков. У него не хватило смелости составить новую форму справки - все так просто.

- По вашей справке мы не можем дать вам паспорт, только временное удостоверение на основании статьи № 38 - это значит, без права проживания в столицах, областных центрах, режимных городах, приграничных районах.

Пожилой военный некоторое время смотрел на кусок сахара на краю стола и как-то тихо сказал:

- Вот с каким клеймом мы отправляем в жизнь молодого человека. Эта 38-я статья будет его преследовать всю жизнь, если мы не добьемся ее отмены вот для такой категории людей.

И тут я, видя сочувствие, задал такой простенький вопросик:

- Допустим, на меня напал грабитель и я, обороняясь, убил его заточкой, нет, лучше отверткой, но все равно превысил меру самозащиты. Засудили меня, дали 5 лет, а может, семь, отсидел, вышел из лагеря - так дадут мне чистый паспорт?

Тут неожиданно все повеселели и вполне дружелюбно смотрели на меня, а один наиболее веселый посоветовал:

- Не надо убивать. Схлопочите срок за мелкую кражу или злостное хулиганство - в клубе, в столовой - получите пару лет общего режима и вам чистый паспорт обеспечен.

- Нет-нет, это шутки, - срочно вмешался главный начальник, - скажите, как там в Енисейской тайге - тоже много спецпоселений? Как насчет золота, как жизнь вообще. Как вы там прижились? Говорите, не стесняйтесь.

- Вначале наши люди сильно умирали: от цинги, тифа, голода и тоски по воле. Сейчас - ничего, выжили, разрешили мыть золото всем, не голодаем. Пару лет были аресты, жили в страхе. Сейчас лучше, вот отпустили в училище на экзамены, много ли человеку надо?

- Скажите, вы лично, как вы себя чувствуете морально, вот, с этой справкой, с вашей участью, только откровенно, если сможете.

- Тогда подождите, вспомню. «Я не был вором и не назван вором, И нет на лбу позорного клейма. Но жизнь сама сложилась мне позором, Позором вся пронизана сама.»

*Возможно, свет горит в конце тоннеля,
Но как мне поле жизни перейти,
Когда метут свинцовые метели
И волчьи ямы всюду на пути...
Но есть надежда, есть шестое чувство,
Что воплотится, сбудется мечта:
Восторжествуют правда и искусство
И овладеет миром красота.*

Далее надо несколько аккордов на гитаре и дважды пропеть последнюю строчку чуточку по-другому:

«...И будет править миром красота, И будет править миром красота...»

Больше я читать не мог, кончился выдох, заклинило горло. Главный начальник встал, несколько раз хлопнул в ладоши, все последовали за ним, тоже встали.

- Приятно было познакомиться. Желаем успехов, будем надеяться на лучшее, как вы сказали. А чьи это стихи вы нам читали? И будет править миром красота! Это, конечно, символично.

- Я забыл автора, кто-то из друзей Гумилева.

Наступил какой-то предел. Мне захотелось уйти из кабинета. Это только их минутная расслабленность, за эти две последние строчки мой друг Веригин уже получил три года лагерей.

- Завтра получите удостоверение в том окошке, у сменного. Есть у нас тут поэт профессор Драверт, постарайтесь встретиться - он тоже из курляндских немцев, но русский. Капризный старик, но интересный человек. Я учился у него в автодорожном институте. Ну! Всего доброго.

Когда я уже выходил из этого большого здания с бесконечными кабинетами, меня взяло сомнение - попрощался ли я с моими слушателями? Не мог я не попрощаться, а вот в приемной никого не заметил - ни часового, ни моего попутчика.

Какие-то новые заботы, еще несформировавшиеся планы замаячили впереди. За чистый паспорт не стоит убивать даже этого ворюгу, но припугнуть его надо. После сданных в милицию документов он может насторожиться и уехать. Вот у него чистый паспорт, отсидит за очередную поездку в Омск и снова получит чистый паспорт.

Что же еще неотложное мне? За удостоверением завтра. Послать справку в комендатуру, что меня приняли. Оформить студенческий билет, чтобы записаться в Пушкинскую библиотеку. Написать письмо домой. С удостоверением сходить в райвоенкомат - пусть дадут приписное свидетельство. Что еще? Обедать



Студенты Омского художественного училища им. М. Врубеля, 1939 г. (стр. 129)

мы можем в столовой механического техникума - это рядом с нашими аудиториями, а вот с ужином надо что-то придумать. Был бы хлеб регулярно в продаже. Пока дадут стандартную стипендию - 32 рубля. Краски, бумагу, картоны, кисти можно получить по списку на складе, хоть сегодня.

Неожиданно для меня в училище оказалась такая богатая библиотека по искусству, что душу захватывало от редких изданий альбомов музейных коллекций чуть ли не со всего света! А какие книги, сколько и каких! Да я и не догадывался об их существовании.

В небольшом зале библиотеки были специальные столики для рассматривания репродукций и большеформатных альбомов.

Добрая старая хранительница библиотеки рассказывала, что в старом здании, на Тобольской, была

в специальном зале постоянная выставка художников-передвижников и группы «Мир искусства» - знак благосклонного отношения товарища Луначарского к созданию института Худпрома в Омске, первого учебного заведения такого профиля в Сибири. Оказывается, это собрание сейчас свернуто, нет свободного зала для экспозиции, но отдельные работы можно посмотреть, если сложатся хорошие отношения с кладовщицей Марией, которая выдает краски.

Занятия в училище по живописи и рисунку разочаровали меня с первого урока. По жребии, получившие с первого по пятый номера, могли занять места перед натурой после долгого ерзания табуретками и прикидки. По-доброму, нужна отдельная постановка для каждого пяти студентов. Выходило, что если мне один раз повезет с номером по жребии я могу нормально написать только одно задание из десяти за учебный год. Выходило так, что надо для себя ставить дополнительные задания. Выходы на натуру -рисовать деревья и лошадей - планировались только на конец года, на этюдный месяц.

Но в моем распоряжении все воскресенья. В театр - только в субботу вечером, если заинтересует название постановки. Вечерний рисунок в общежитии - два раза в неделю на весь вечер, остальные вечера - чтение по 2 часа. Поход в баню в пятницу после уроков.

-А в кино когда? - спрашивали товарищи, когда обсуждали общий план режима общежития. И решили, что раз в неделю, в воскресенье на первый восьмичасовой сеанс.

Но выдержать этот режим оказалось по силам далеко не всем, нарушал свой режим и я. В газете «Молодой большевик» было скромное извещение о вечере поэтов в автодорожном институте. Обещали встречу с Дравертом, Ерошиным и Мартыновым. Как не пойти?!

Петр Леопольдович Драверт еще в 1912 году, будучи в ссылке в Якутске, издал в этой стране снегов свой первый сборник стихов «Под небом Якутского края». Иван Евдокимович Ерошин - поэт ленинской «Искры», давно отошел от журнальных стихов, живет на Алтае, пишет в манере японской традиционной поэзии. Леонид Николаевич Мартынов был известен любителям литературы и искусства с самых молодых лет. Он представлял свои картины на выставках футуристов и очень рано начал печататься, словно не было ни могучих редакторов, ни цензуры -

*«Не обвиняй сибиряка, Что у него
в кармане нож, Ведь он на
русского похож, Как барс похож
на барсука...»*

Вульгарная социология усмотрела сепаратистские призывы - признания Сибири как особого края, своеобразной земли русской. Обвинения с него были сняты, как только Москва издала большой сборник его исторических поэм «Тобольский летописец», «Домотканая Венера». Выступили и более молодые поэты - студенты Омского педагогического института - Леонид Савчук и Марк Юдалевич и два паренька из нашего училища. Я с тех пор помню наизусть стихотворение Драверта «Вечерний костер». За полвека моей читательской практики мое отношение к этому шедевр остается по-прежнему восторженным. Мне, школьнику из далекого таежного поселка, было что слушать с открытым ртом, было чему удивляться и учиться.

В училище у нас бывали беседы с московскими искусствоведами, которые приезжали по заданию журналов «Творчество» и «Искусство» в омский коллектив художников. Наш директор как-то их перехватывал у художников и приводил к нам, к бурному восторгу юных художников. Наши гости знали лично ведущих советских художников, могли ответить на все вопросы, даже на такой сложный: есть ли коровы-натурщицы на даче у Кончаловского. Той же осенью была в Омске большая выставка работ художников Омской области, занявшая все залы художественного музея. Газеты отмечали высокий профессиональный уровень этой выставки и многих работ, назывались фамилии мастеров, поддерживались искания молодых авторов. Мне казалось, что все хорошо в искусстве и его отдаче в сердце народном - истинном назначении искусства.

На одном из общих собраний студентов художественного училища в те дни были истерики и ругань небольшой взбунтовавшейся группы молодых парней. Они кричали, что у нас в Сибири нет искусства, училище плохое, преподаватели не умеют и не знают, как уметь. Настоящее искусство творит в Союзе только один художник - Филонов. Единственная школа в Союзе - школа Филонова в Ленинграде. Каждому надо там побывать, посмотреть, послушать и нести во все края России в среду художников искру подлинного искусства.

Речам этих волосатиков противостояло выступление нашего заведующего учебной частью И.М.Давыденко. Он этот диспут выиграл, очень четко объяснив, кем и как используется депрессия в филоновском творчестве, рассказал об этом скромном человеке, ищущем художнике. Но все же искры смуты были заронены на восприимчивую почву. Даже во время занятий вспыхивали ссоры и споры.

У меня была большая книга - финский народный эпос «Калевала». Она была богато иллюстрирована работниками учеников Филонова - группой пуанталистов. Каждая группировка придумывала себе название как можно заковыристее.

Пуант - это точка. Пуанталисты - значит точечники. Ташисты - это пятнисты (от слова «таш» - пятно по-французски). Я думал не то с грустью, не то с легкой нехорошей радостью, что наши спорщики крикуны отыщут истину не в труде, а в спорах теряют время и молодость. Бог с ними. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Все это было забавой и как бы отвлекающей игрой от назревающих событий. Фашистские армии Гитлера с легкими победами гуляли по всей Европе, наши политики заигрывали с этим капризным великаном.

Газеты и радио тех дней, тех лет создавали для мировой общественности розовую дымовую завесу из вранья о выдающихся успехах нашей страны, о новой счастливой жизни общества. Наша непобедимая Красная Армия вступала в Бессарабию, освобождая молдаван, гагаузов, болгар и русских по просьбе нелегальной партии коммунистов от румынского ига. От ига поляков освобождать наших братьев гуцулов, мадьяр и украинцев двинулись наши войска в закарпатские области Польши. Словно соревнуясь с гитлеровцами, уже топтавшими Данию и Норвегию, наши армии вступили в Восточную Польшу, которую наша печать называла Западной Белоруссией. Без единого выстрела вступили наши армии в Литву, Латвию и Эстонию по приглашению своих новых правительств, пришедших к власти в результате интриг Коминтерна и после насильственных переворотов. Прилетел в Москву один из главных фашистских дипломатов Риббентроп для бесед с товарищем Сталиным. Не постеснялся сфотографироваться для газет товарищ Молотов в Берлине, с Гитлером. Судя по антифинской пропаганде нашей печати, было согласовано нападение, вернее, освобождение финского народа от собственного ига.

Теперь мы, изгнанные из своих домов, со своих земель на спецпоселения и лагеря ленинградские финны, поняли, что уже тогда началась подготовка к войне с Финляндией, которая должна вот-вот разразиться, а пока шла дипломатическая война, выдвигались фантастические обвинения против Финляндии - будто она с трехмиллионным населением и без серьезной военной промышленности собирается напасть на Советский Союз, завоевать русскую Карелию и Коми-зырянью до Урала.

И верили обыватели, накачивали себя воинским духом шапкозакидательского бреда.

То, что эта геббельсо-щербаковская брехня достигает цели, я убедился в Куйбышевском райвоенкомате Омска во время осенней призывной комиссии. Жив еще мой приятель (свидетель - Николай Иванович Бачинин из города Кемерово) - мы с ним рядом в адамовых костюмах, пользуя ладони вместо фиговых листьев, стояли перед комиссией из военных чинов и гражданских врачей-женщин в холодном зале по стойке «вольно» и отвечали на разные анкетные вопросы, хотя наши документы были у них под носом.

Веселое любопытство вызвало восклицание одной из женщин:

- Я-то думала, что финны как монголы черные, а этот даже белый, на русского похож.

Был еще совсем забавный вопрос - правда ли, что в Финляндии мужики и бабы ходят вместе в баню? Правда ли что в финских школах сдают экзамены по плаванию и лыжам?

Я попытался ответить побыстрее, так как было просто мерзко, что меня рассматривают в упор, коллективно и нагло.

- Я не из Финляндии, а из сибирской административной ссылки. Скрывать это считаю недопустимым. Я тоже слышал, что плавание и лыжи, и вообще спорт в школах поставлены хорошо. А что я знаю точно - при каждом финском доме есть баня, над озером или речкой, а общих бань, городских как у нас - у них нет, разве что на заводах и фабричных комбинатах, где работы пыльные. Я слышал, что в Северной Финляндии гость парится вместе с хозяином, а старшая дочь им потрет спины хвойным веником. Говорят, что так испытывают морально-этическое состояние гостя, если с ним собираются завести дело или поддерживать знакомство. Не знаю, куда мы, финны, отнесены по расовой теории Розенберга - думаю, что к монгольской расе. Я не знаю, похожи ли финны на русских или наоборот, но думаю, что русские и другие славяне не отнесены к высшей арийской расе. В любом народе есть две расы по моей теории - умных и дураков.

Все оживленно переглянулись и даже заулыбались. Председатель комиссии спросил меня, куда, к какой расе я себя причисляю?

- Вам должно быть виднее. Дурак ведь не знает, что он дурак и не верит, когда ему об этом говорят.

- Вас много в Сибири, финнов?

- Не знаю. Думаю, что все ленинградские финны живут здесь в Сибири. Есть и в Средней

Азии.

- На финском говорите?

- Да. неофициально. Только в семье.

- Еще на каком говорите?

- Русский знаю в объеме школы.

- Еще какие?

- На двойку немецкий, «а единицу - эстонский, давно нет практики.

- Это все очень хорошо, - замедленно говорил председатель, - это очень.

Он показал соседу мое временное удостоверение, где была статья, будь она неладна, номер 38.

- На лыжах хорошо ходите?

- Имею значок ГТО.

- Десятикилометровик за сколько ходите?

- Это первый разряд? Зачетной книжки не имею.

- В училище нравится?

- Это моя работа.

- На ворошиловского стрелка сдавали?

- Да. имею значок второй ступени.

- Охотник?

- Да, но своего ружья не имею.

- Почему?

- Не положено.

- А Родину защищать как: будешь или не собираешься?

- Вопрос запутан, ответить не могу. Но знаю, что защита СССР есть священной долг каждого гражданина. Если та самая статья позволяет мне быть гражданином СССР.

Председатель собрал все мои бумажки, показал на приоткрытую дверь, куда мои документы занес парень в гражданском.

В комнате был старик доктор-глазник со своими таблицами и окулярами и еще девочки помощницы.

- Разрешите мне одеться, что-то прохладно.

- Ради Бога, молодой человек, одевайтесь и зайдите обязательно, документы у меня.

Оказалось, что у меня совершенно слабый правый глаз - +4, но зато левый +0,8, почти единица.

- Вы стреляете с левого плеча?

- Да, на соревнованиях из винтовок. А в тайге стреляю навскидку с любого плеча, как удобнее, это с дробового по летящей мишени.

- А медведя приходилось стрелять?

- Приходилось, но никому не советую.

- Страшно?

- Да. Но больше жалко: сильно кричит и лезет в драку, приходится его добивать, иначе порвет.

- Скажите пожалуйста! У нас это дело редкое. Охотник. Надо же!..

Пока старый врач что-то писал в своей тетради, я прочитал вставленный вкладыш в моем приписном свидетельстве: годен, необучен, знает языки, спецрезерв, ограничен статьей 38.

Мне сделалось весело. 38 статья удостоверяла, что я ограничен: читай - дурак. И правда, говорят, что в искусстве место для гениальных и очень тупых, которые ничего не могут делать, а только рисовать. Спасибо, люди, я люблю вас, тупых и талантливых.

Что же вы, уважаемые члены комиссии, не заметили - а еще психолог среди вас! - что я вообще никуда не годен, мне ничего не надо, я ничего не хочу, ничего не люблю, я пережил свои желания, как говорил классик.

Это я наговорил невнимательной комиссии. На самом деле мне хочется отвести эту неизбежную, но никому не нужную войну. Я ее чувствую, мне иногда снится свист черного дятла, мальчишки из нашей деревни, которые не вернулись из Финляндии после уничтожения всех деревень на пограничной полосе. Наверное, уже совсем взрослые.

Впрочем, я о них знаю только со слов мамы и давно присланным фотографиям. Вот такие соседи.

Что такое спецрезерв, куда я не вполне годен? Статья 38. Неужели эта статья о моей неполноценности отведет мою кандидатуру от страшной опасности и школы диверсантов, куда меня не тянет совсем. Нет, я не боюсь. Наконец, какую родину я должен защищать? - ту, которую у меня отняли. Нет у меня родины. Есть большая безграничная окраина России - Сибирь, от Урала до Колымы с лагерями, спецпоселениями, зонами с колючей проволокой и без проволоки, откуда никуда не уйдешь.

По совету Пушкина я храню гордое терпение, не жалуюсь, буду работать, если бы знать, что от моего труда будет польза всем, даже моим недругам. Бог с ними, пусть живут. Но как избавить мир от вражды и злобы? Неужели прав распятый Сын Божий, что только добро и всепрощение могут сотворить вечный мир на земле?

Если ты можешь, искупивший страданиями и муками своими наши грехи и глупости, укажи нам еще раз путь праведный, дай нам разум, обрати наши сердца в единую веру на земле, веру в светлое царство братской любви и справедливости.

Я очнулся от того, что поймал себя на том, что читаю молитву с искренностью, на которую только способен. Я иду по серому деревянному тротуару, по редким золотым листьям на берег к великому потоку Иртыша, где отражается закат. Здесь в торжественном покое вечера я чувствую себя малой песчинкой мироздания, но милостью божьей наделен счастливой судьбой творца - создавай прекрасное:

*Есть надежда, есть шестое чувство,
Что воплотится, сбудется мечта:
Восторжествуют правда и искусство
И будет править миром красота!*

Глава XVII - ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Подъем в храм искусства.
- Хлеб и горчица - сладкое блюдо студента.
- Белый снег и красные зори.
- Куда можно сослать из ссылки?..
- "Вас же призвали как инструктора".
- Собеседование с черныш человеком.
- "Можете ли простить все обиды?"
- Подписка о тройной секретности.
- Финская зимняя "незнаменитая" война...
- Не могу молчать!

По углам светлых холлов и широких коридоров нашего училища стояли большие копии античных скульптур. Они создавали среду обнаженной возвышенности красоты. Это был остров устоявшегося в веках сгустка гармонии, что противостоял неустроенности и суете, что держалось и влачилося за стенами училища.

Проходя мимо этих великих изваяний, я чувствовал себя наследником чего-то очень важного, что принято называть расплывчатым термином - духовностью. С какого-то момента ясного озарения, а может с пологого незаметного подъема в храм искусства, я стал убеждаться, что не одним пониманием, а сознательным каторжным трудом я обязан участвовать в создании таких материальных ценностей, которые подобно чуду преобразуются в духовность, в веру человека в свое прекрасное начало, в восхищение Природой, что движется и сверкает рядом со мной.

По дороге из училища в общежитие все прекрасные видения, что возникали в моих мечтах, рассыпались, улетучивались, делались далекими и ничтожными, когда пробирался в столовую на углу Казачьего базара сквозь толпу серых мужиков со стеклянными банками на руках с водянистым желтым пивом. В зале столовой пиво не продавали и в зал с банками не пускали. Здесь был дословно трезвый смысл. Выпивохы не заказывали ни овсяных супов, ни рагу из ребер барана, ни дешевую пшеничную кашу, подслащенную фруктовым сиропом. Зато хлеб со столов и горчицу они сметали еще с утра, а нам, студентам, под вечер давали хлеба по кусочку на блюдо, и очень трудно было сберечь корочку до вечернего рисунка.

К этим надоевшим неустроенностям прибавились песчаные бураны, к которым привыкнуть невозможно. Эту часть свободной стихии полезной нельзя признать, какие бы испытания человек не одобрял, как опыт формирования характера.

Я ждал тихого снегопада, чтобы подавить в себе и в природе ощущение серости и примкнуть к какой-нибудь спортивной базе, где есть лыжи; говорят, где-то за сельхозакадемией есть кусок настоящего соснового бора. Где-то там должна быть лыжная база.

Расписание воскресного дня придется менять - надо ехать пару часов, чтобы почувствовать себя крылатым человеком. Здесь нет даже пологих холмов, но что-то придумать можно.

С приходом белого чистого снега и красных утренних зорь над заиндевелыми деревьями и заборами в мою жизнь вторгались газетные сообщения и отчеты радио о невозможности договориться мирным путем о переносе государственной границы между СССР и Финляндией.

«Обеспечим безопасность Ленинграда!» - настойчиво кричали дружным хором все советские газеты, убеждая читателей, что финская артиллерия собирается обстреливать Ленинград. Для пущей убедительности была обстреляна советская погранзаства. Финская сторона отвергла эту провокацию. За три дня до объявления войны самолеты Красной Армии бомбили заводы и жилые кварталы городов Котка и Лаппенранта, электростанции Иматры и Энсо.

После этого в спокойных торжественных тонах было объявлено начало освободительной войны - великой исторической миссии Красной Армии.

Надо отдать должное силе нашей пропаганды и доверчивости нашего народа - они достигали своей разрушительной цели.

Меня спрашивали:

- Ты что, шпионить к нам в Сибирь приехал?

И кто бы спрашивал! Девочки с третьего курса нашего училища. Казалось бы, должны уже кроме среднего образования и ума набраться. Что мне делать? Натянуто улыбаться - нельзя же дать пинка этим набитым дурам, с зубоскалами вроде Васи Коняшева и Гришки Веригина было проще. Обидно было, что как-то сразу от меня отошли многие хорошие ребята - поддались общей растерянности от этой нелепой войны.

С появлением быстро организованных госпиталей в школах и других общественных зданиях, с прибытием первых эшелонов с обмороженными и ранеными, с ограничением продажи хлеба, поднялась волна явно проявляемой ненависти не только к настоящим финнам, но и к нам, российским финнам, давно загнанным в спецпоселения и лагеря Сибири. Самым ярким проявлением этой бесцеремонности было появление в училище военного в сопровождении милиционера. Они без всякой наводки нашли меня и пригласили с собой, по какому-то делу - потом узнаешь! Вот повестка, все правильно. Я смотрел сразу на всех - до свидания - многие отводили глаза. Эх, вы. ничего не поняли.

Когда мы вышли на улицу, я спросил старшего лейтенанта - зачем эта комедия? Вы же перепугали весь курс.

- Начальству виднее, садитесь в машину.

И мы приехали на лыжную базу на северной окраине города. Там подгоняла обувь и крепления группа молодых мужчин. Мне они показались старыми усталыми людьми. На деле - это были нормальные, умеющие ходить на лыжах преподаватели физкультуры и военного дела техникумов и школ Омска. Эта группа называлась курсами спорт-инструкторов. По документам военкомата я выглядел специалистом лыжного дела. Вместе с заведующим базой и тем же старшим лейтенантом мы просмотрели десятки пар лыж. Все они хранились плохо - без колодок, выставленные пачками в угол кладовой.

- Как можно учить людей скользющему походному шагу на этих кривых пропеллерах? Давайте сначала приведем в порядок снаряжение. Распарим эти лыжи, загоним в колодки на пару недель, обработаем как следует скользкую поверхность, поставим крепления более простые и надежные, - с убежденностью знатока внес я предложение.

- Что ты, парень! Через две недели здесь должен стоять в строю на лыжах добровольческий батальон! Ваш батальон, вы что, не поняли? Вас же призвали, как инструктора.

У меня похолодело на душе, и я живо представил, как барахтаются в бессмысленной атаке омские парни в белых масках, утопая в глубоком снегу под огнем ДОТов, которыми напичканы сосновые гряды и серые скалы Карельского перешейка.

- Курсант, возьмите себя в руки! - почти ласково советовал военный, - Я вас понимаю, но война есть война, и мы что-то значим лишь в единой дисциплине, в отлаженном послушном механизме.

- С таким инвентарем мы подготовим смертников. я не могу. Я отказываюсь.

- Да что вы говорите. Вы же знаете о вашем священном долге - о гражданском долге.

- Я никому не должен, кроме отца и матери, и самого Бога, если он есть. Защита Отечества и захват чужих земель - вещи разные, а вы этой разницы не чувствуете, это от вашей великодержавной философии, почти по Гитлеру.

- Хватит, - прошептал старший лейтенант, - вы что, добиваетесь, чтобы вас судили по 58 статье?

Я молчал. Действительно, этот добрый парень может испугаться и отрапортовать о моем протесте.

- Я согласен наладить лыжи. кое-чему научить от своего опыта. Методики я не знаю. У меня нет даже разрядного удостоверения, я и армейскую подготовку не проходил.

- Я все понимаю. Вы правы, но завтра надо приступить к работе с курсами.

- А где же спортинструкторы обществ, институтов?

- Да вы с Луны что ли? Все давно на фронте. Вот, возьмите предписание для предъявления в училище, пусть оформят все - и подъемные. Это что, вся ваша зимняя одежда?

- Да, так точно!

- Утром в восемь ноль-ноль. - и старший лейтенант лихо откозырял, даже чуть по театральному, смешно.

Но утром в восемь ноль-ноль я не приехал в школу инструкторов, не приехал вообще. Получилось, как в веселом детективе: явились двое, опять двое, в гражданском, но в одинаковых хромовых сапогах и пригласили меня на собеседование. В их ладонях мелькнули аккуратные удостоверения и снова спрятались где-то внутри пальто. Я все же попросил показать удостоверение того, кто был синеглаз и чуть рыжеват. Он удивился и, как мне показалось, даже немного растерялся, но все же удостоверение показал на 2 секунды. Финская фамилия как-то стесняла и его, видимо наследного чекиста. Имя и отчество были русскими - значит местный уроженец, из добровольных государевых переселенцев конца прошлого века. Я решил вопросов не задавать.

Ехали на трамвае и молчали. Потом прошли через площадь и зашли в какую-то столовую без вывески, в подвальном этаже большого дома. Нам принесли по стакану какао и по паре мясных пирогов.

Чтобы как-то подавить волнение, я попросил принести еще стакан простой воды, не привык к сладкому. Голубоглазый в гражданском принес воду в стакане на белой тарелочке, видно он хорошо здесь ориентировался.

Первый вопрос мне задал черный человек, с черными глазами, в которых я не мог увидеть ни живого блеска, ни приглушенной подавленности. Видно, его зрачки, которых я не видел, им были отрегулированы так, что он смотрел вроде мимо меня, а вопрос задал мне. Я не сразу понял серьезность вопроса, и он повторил: устраивает ли меня такая жизнь, и хочу ли я вообще жить?

Можно было ответить сразу и легко: хочу, устраивает любая жизнь. Но я понял, что вопросы подготовлены с определенным смыслом, может даже с неожиданным тупиковым капканом для меня. Но я твердо знал, что надо улыбнуться. И я ответил, что жизнь человеку дается один раз и надо ее прожить так, чтобы не было мучительно. и т.д., чуть ли не по тексту популярного в те годы романа. И еще сказал, что жизнь дарована человеку Богом, как высший смысл бесконечности бытия. Человек может себя судить, но не может осудить и казнить - это только во власти Бога.

- Вы можете застрелить человека?

- Могу, - чуть растерявшись, ответил я, - но это будет ответной равносильной мерой на покушение на мою жизнь. и на честь.

Мне стало казаться, что я неправильно сижу по отношению к моим новым неожиданным знакомым. Я подвинул стул таким образом, чтобы освободить левую ногу из-за ножки стола - так, на всякий случай.

- А боитесь вы за свою жизнь?

- Боюсь, да. Но больше дорожу своей жизнью, могу даже испугаться за нее и сгоряча превысить меру необходимой обороны.

- Цените ли вы доверие к себе, готовы ли ответить доверием на доверие?

- Я не знаю, что такое доверие, думаю, что оно не предмет договора. Думаю, что доверие что-то естественное, как сама жизнь.

- Можете ли простить все обиды, нанесенные вашей семье, скажем, вашему народу, простить во имя чего-то очень важного.

- Светлого будущего? - перебил я своего, с проникающим взглядом, собеседника, - нет, простить я не могу. Простить злодеев только в компетенции Бога.

- Но вы же думаете о себе, как о подобии божьем, значит обязаны прощать врагов ваших, как сказано в заповеди.

- Тут мы с Богом расходимся. В заповеди сказано о моих врагах, что они не ведают, что творят - это не так. Все расправы с народом, бессмысленные расстрелы, гибель детей в сырых бараках - все это с ведома власть имущих, к сожалению, с молчаливого согласия большинства народа.

- Значит, вы это молчаливое большинство не уважаете?

- Я не уважаю софистику, как способ ведения спора и выяснения истины.

- Так, можно понять, что вы не уважаете ни власть, ни народ. то есть готовы поддержать жалкие остатки инакомыслящего сброда, с которыми боремся мы?..

- Вы можете делать выводы, какие угодно, без моей поддержки, только не пойму, зачем вам это надо?.. Вы наблюдали за повадками собак? Налетит этакий здоровяк на шавку малую, сшибает грудью, а потом дружбу предложит. со мной так не пойдет, - и я долго смотрел в мертвые глаза моего противника, пока он не отвел взгляд.

- Может, закажем по бифштексу? - услужливо-нежно предложил светлоглазый чекист, - а то смотрю, вы начинаете придирается друг к другу, а работать-то придется вместе.

- Что, лыжи в колодки насаживать?

- Да, без лыж нам не обойтись.

Бифштексы и белый хлеб появились, словно повар сквозь стену услышал просьбу моего собеседника. Я нащупал в кармане рубль с мелочью и демонстративно начал определять мою долю по оплате трапезы.

- Да не трясите вы своей стипендией, наш завтрак служебный, ешьте, не стесняйтесь.

За едой молчали. Из кухни пришел человек не поварской наружности и сказал, что приглашает Петр Иванович и почему-то показал пальцем в потолок.

Через кухню мы вышли в пустой холл, украшенный кадущкой и чахлой пальмой, потом был коридорчик, пахнувший хлоркой, и за ним уже большая рекреация, примыкающая к длинному коридору с крепкими, обитыми железом, дверьми. Двери эти выстроились в ровный ряд, уменьшаясь в перспективе коридора, и этот бесконечный коридор начал мне внушать страх - так, наверное, начинается дорога в ад, постепенно переходя в наклонный туннель, в конце которого полыхает красный огонь, куда надо бежать с заложенными за спину руками.

Наконец-то, идущий впереди меня черный человек, чуть пригнувшись, постучал пальцем в край двери.

- Войдите! - еле слышно сквозь железо поступило разрешение, и мы вошли: впереди черный человек, я и белый человек - он держался в двух шагах за мной.

Петр Иванович вышел из-за стола, поздоровался за руку со всеми. Я старался вспомнить, кого он напоминает, уж не встречались ли мы в кинофильме или в романе «Тихий Дон»? Френч, как у Сталина, стального цвета, глаза тоже стальные и стрижка бобрик - тоже. Руки, лицо и сама улыбка - розовые.

Черный человек сказал, что наш молодой гость что-то недопонимает, не доверяет нам. Розовая улыбка хозяина кабинета чуть погасла, он что-то прикидывал, мыслил и смотрел прямо мне в глаза. Возможно, я бы выдержал этот серый взгляд, но посчитал это единоборство сейчас неуместным и стал рассматривать скромное убранство кабинета.

Любознательный читатель, о длинной беседе в кабинете Петра Ивановича я рассказать не могу. Я дал подписку об этом, там же в этой расписке - подписке оговорены строгие и тяжелые условности. куда жив архив и не отменены сроки его тройной секретности, я чувствую себя хорошо - мне не надо испытывать свою сто раз поруганную откровенность, не объяснять никому, почему я струсил, что-то тяжело предал, от чего-то очень главного отказался, сделался жестоким от бессилия.

Исповедь - не допрос. Не обязательно отвечать точно, что и как было. По неписаным законам и условностям литературного жанра я могу передать свои полномочия моему лирическому герою, моему двойнику, с него, как с призрака, взятки гладки. Он подписки не давал, он не имеет моего имени, он волен действовать самостоятельно, согласно сложившейся ситуации. В самую тяжелую минуту он может поступить, как поступил бы я - в этом одном мы едины с ним, с моим вымышленным героем.

Через три недели он поедет с черным и белым человеком на войну в составе того лыжного батальона, которому я отказался помогать тропить дорогу в белый ад Карельского перешейка. никто не знал и теперь уже не узнает, почему этот батальон с хорошим названием - отдельный сибирский десантный - был брошен с ночного марша, как бы в разведку боем, на захват мостовой переправы на каком-то забытом Богом гидросооружении, тем самым выявив огневые точки финнов на скальных высотах за Тайбален-Йоки. Мостовую переправу, что идет по плотине, удержать до подхода танков, захватить плацдарм на том берегу. Часть этого плана удалось выполнить почти без потерь, - сгоряча не догадались, что мины могут быть под свежим снегом на подходах к плотине с той и другой стороны. Казалось странным, что противник быстро отступил, оставив подходы к плотине без боя. Видно, узнали название наступающей части.

Комбат доложил в дивизию, что приказ выполнен. Из дивизии приказали держать плацдарм, не углубляться, даже если противник отступил до новой линии огневых точек. Возможна работа нашей авиации на заречные высоты. Сверху не всегда все видно, могут ударить и по своим.

Действительно, появлялись несколько звеньев наших бомбардировщиков под прикрытием истребителей, но бомбили что-то где-то далеко. Слышался гул моторов подходящих танков, которым никак не развернуться для атаки даже за рекой, где батальон занимал перекресток дорог в сосновом лесу, засеянном Богом или чертом большими валунами, которые представляют непроходимый вал для танков.

Противник молчал, даже ночью не рискнул атаковать оставленные бревенчатые гнезда, которые землянками не назовешь.

Под утро было замечено, что из-под снега рядом с дорогой местами выступает вода черно-желтыми пятнами, местами вода переходит дорогу. Запросили плотину, что в расположении батальона, откуда вода, что быстро прибывает? Но под плотиной в реке вода была почти на прежнем уровне. Правда, выше плотины, на водохранилище, лед осел, дал продольные трещины.

Был приказ отыскать шлюз, затвор закрыть, если он не разрушен взрывом - это где-то выше по течению реки в тайге и скалах. Эта задача оказалась не по силам батальону. Снайперы выбили командиров и впереди идущих более сильных лыжников. Казалось, из-за каждого валуна бил автомат, даже отступать было некуда.

Когда стало ясно, что головное сооружение батальону не взять, мой драматический герой попросил связистов сообщить в дивизию, чтобы вывели из зоны затопления танки и пехоту, короче, чтобы отступили.

Начальник взвода связи выполнить приказ отказался. Пришлось под редкими очередями уже облевившихся автоматчиков отыскивать черного или белого, если они уцелели. Черный человек его понял, он

заставил связистов выполнить приказ, но подписал именем моего двойника. Жить хочет, понимает, что в том и другом случае расстреляют - сообщай или не сообщай обстановку. Именно эта приданная батальону тройка и виновата - не сумели организовать свою разведку на этом сооружении.

Что было с танками и рассыпавшейся вдоль дорог пехотой нетрудно догадаться. Снег, вода, мороз.

Вспоминаются строчки, кажется Долматовского, из газеты тех дней: «... Кровавую волну внесла в века холодная Тайбален-Иоки, смертельная свинцовая река.»

Пока не будут опубликованы все документы об этой страшной войне, мой герой будет молчать. Такова служба. Впрочем, он и так молчит. Военный трибунал решил и его судьбу, и судьбу его недавних знакомых.

Я бы не стал писать эту главу, так как она касается не только меня, но и более общих государственных замахов и ошибок или просто амбициозных глупостей. Не мне о них судить, хотя они решили мои взаимоотношения с обществом на всю оставшуюся жизнь.

Тогда я никак не думал, что меня рано ли, поздно ли не убьют - не вел дневников, не записывал адресов товарищей. А как пригодились бы.

По учебе на первом курсе я не особенно преуспел, все надеялся наверстать, догнать. Я тогда не понимал, что финская зимняя, по словам Твардовского, не знаменитая война была как бы полигоном для оценки сил Красной Армии перед долгой войной с германским фашизмом.

Боже ты мой, если бы знать! Чтобы наше будущее не выстрелило по нам из большой пушки, я рассказываю о наших прожитых в исканиях, пролетевших годах. Пусть эта глава, последняя о детстве и юности, будет как бы первой главой новой книги о большой счастливой жизни в эпоху Сталина - Берия, о голодных годах лагерного развитого социализма Хрущева, поднявшего славу Евтушенко и многих других смелых поэтов. Тихий протест Окуджавы вызвал к жизни голос Высоцкого и реформы Горбачева.

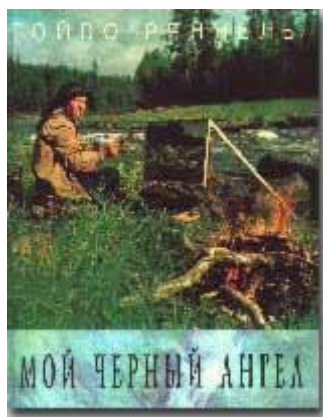
После жгучей откровенности Астафьева, казалось бы, где уж нам, малярам, братья за перо. Но поднимаются новые силы, готовые перекроить историю на свой лад, под свои партийные интересы и страшные, по исключительности, амбиции. Сегодня Лев Толстой сказал бы:

- Не могу молчать!

Его великий постулат не обеднеет, если я скажу:

- Не хочу молчать!

Примечание



Редактор данного файла сообщает, что этот файл формата DOC (MS Word) был получен путем распознавания исходного PDF документа. Цель такого процесса – исправление проблем оригинального файла.

В дальнейшем файл был частично отредактирован. Редакции включали только исправление ошибок, внесенных в ходе автоматического распознавания документа PDF. Весь текст и фото представлены в оригинале. Немного изменен внешний вид страниц. Добавлено оглавление.

В процессе распознавания число страниц было изменено, вероятно, за счет изменения размера шрифта. Для желающих есть и оригинальный файл PDF, скачать который можно с нашего сайта www.inkeri.ru.

Обращаем Ваше внимание на сайт Ряннеля Тойво Васильевича - www.ryanannel.ru.

Дата последней редакции этого документа – 22 августа 2010 года.